33-19
454-5

ЕВРАЗИЙСКИЙ ВРЕМЕННИК

непериодическое издание
под редакцией

ПЕТРА САВИЦКОГО, П. П. СУВЧИНСКОГО
И КН. Н. С. ТРУБЕЦКОГО

КНИГА ПЯТАЯ

7591

ЕВРАЗИЙСКОЕ
КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО
ПАРИЖ
1927

Copyright by editions «Eurasie» 1927
Все права сохранены за издательством

В системе исторического материализма — марксизма конечная цель, вдохновляющий импульс жизни и действия укоренены в сфере экономических отношений. И к этому импульсу мысль о людях, мотив любви и заботы присоединены лишь постольку, поскольку ссылкой на этот мотив могло быть усилено и укреплено начало злобы, начало разрушения, которое психологически и систематически является основой воинствующего материализма. Главенство начал зла и злобы — это неизбежное следствие отрыва от религиозной сущности мира. Но это же главенство, в жизненной обстановке, в известной мере и до известного момента, есть залог действенной силы, ибо реалистическое восприятие с непреложностью указывает, что зло, действительно, сильно в мире. И это же главенство исключает непредвзятое отношение к реальным явлениям, с точки зрения какой бы то ни было положительной цели, ибо нет собственно этой цели, и основным в материализме-марксизме является не стремление направить течение жизни к положительной цели, но стремление разрушить существующее. Именно потому, что движущая сила и конечные побуждения укоренены здесь в экономическую область, материализму-марксизму недоступен взгляд на эту область сверху и со стороны, без чего невозможно постижение ее природы; отсюда — парадоксальное сочетание в основах и судьбах исторического материализма-марксизма: его эмпирическая сила, при его эмпирической непрактичности, его «властная рука» — при неумении справиться с хозяйством и государством, попавшими под его власть... Потери и жертвы, несом[illegible] в период возобладания исторического материализма, могут быть искуплены тем обнаружением сути вещей, которое происходит в этот период. Став длительным, возобладание это обозначило бы собою ничто иное, как деградацию мира...

«Во имя» евразийское лежит вне экономической сферы. (Это не устраняет того, что экономика, как материальная сторона жизни, учитывается евразийским мировоззрением во всей огромности ее жизненного значения).

Евразийское «во имя» лежит, прежде всего, в повороте к религиозной сущности мира. Его сила и его возможности — в том, что не одно зло есть двигающая сила жизни. Евразийство обращено к России-Евразии, как многонародной личности, в материальных предусловиях ее существования, в ее культурной и религиозной природе.

В самой основе евразийства лежит социальность, мысль об устроении людей, об ответе их интересам. Зародившееся в эпоху и в среде величайших социальных движений, евразийство имеет заданием и отражает необходимости нашей «социологической», — т. е. обращенной к вопросам социального устроения, эпохи.

В развитии евразийства есть своя закономерность и ритмика. Евразийство уже установило те духовные сущности, от которых исходит, наметило и определило ту конкретную историческую среду, культурное призвание которой оно раскрывает и к которой оно обращается...

К настоящему времени назрела следующая задача: установить отношение к государству и хозяйству, исходя от установленных миросозерцательных основ, отношение, которое использовало бы ту возможность взгляда сверху и со стороны и той непредвзято-практической установки, которые заложены в сущности евразийства.

В русской действительности только две установки могут претендовать на имя системы: материализм-марксизмъ и евразийство. Ни внемарксистский социализм, ни либерализм космополитического типа, ни реставраторство системами не являются, не имея в себе того конструктивного принципа, который об'единял бы и иерархически распределял их отдельные положения.

Настоящая книга «Евразийского Временника» заключает в себе выписовки образа евразийского мира среди контуров, намечанных ранее, — и подходы к проблемам государства и хозяйства от основ миросозерцательной системы.

К ПОЗНАНИЮ СОВРЕМЕННОСТИ

1

Всякий внутренно значительный кризис, как в судьбах отдельных людей, так и в истории наций-государств, определяется нарушением хотя бы условной целостности в ощущении жизненного процесса. Кризис всегда раздвоение, раз'ятие. Правда, чувство целостной укрепленности и устойчивости в закономерностях жизни является ценностью, выражающей лишь высокие ступени духовного понимания, и обычно заменяется полусознательной способностью пребывания и удерживания в постоянно становящемся неустойчивом равновесии. Так что правильно говорить не о статике целостного миросозерцания, а о динамике жизненного равновесия. Угрозе срыва и падлома подвержены и наиболее налаженные, казалось бы устойчивые процессы жизни; все зависит от постоянно меняющегося сочетания внутренних сил и тяготений, их составляющих, ибо, в сущности, всякий процесс — является системой процессов.

Понятие кризиса по внутреннему существу своему — есть понятие событийное, ибо оно всегда подразумевает некое событие (факт), нарушающее нормальное течение процесса, резко переводящее одно процессуальное состояние — в другое, отмечая разрывы, концы и начала. Проблематика исторических кризисов, как и всяких иных, неизменно, роковым образом зажата между необходимостью оперирования причинными рядами, и признанием иррациональности случая. Но в сущности оба эти момента являются только разными аспектами одного и того же; именно поэтому

всякому жизненному процессу и его суб'ектам-действователям отвечает лишь *определенная* категория, лишь *определенный* тип случайностей (разумеется, речь идет о таких случаях, которые существенно определяют судьбу личности). Можно сказать, что каждый человек, каждая личность, будь то личность многосложная, как напр. нация, очерчена *своим* кругом возможных и ей свойственных случайностей; и таинственная роковая природа случая определяется каждый раз не столько *содержанием* факта случайности, сколько *роком* наступлений, не *качественным* моментом, а *временным*. Если признать, что каждая личность является как бы средой, средоточием для вскрытия лишь определенного типа случайностей, то обычное противоречие между генетически-причинной обусловленностью и бессмысленностью случая, тем самым, снимается. Ибо в понятии среды, условий уже заложен момент генезиса: подразумевая системное взаимоотношение целого ряда действующих элементов, оно включает в себя в том числе и соотношение временно-порядковое. Таким образом всякий исторический факт в *равной мере генетичен и случаен*.

В сложном можно всегда найти центрально-простое. Если при всей непрерывности исторического течения внутреннее существо всякого кризиса есть раз'единение-надлом, то можно всегда установить *критическое событие*, центральный момент перемены. Сделать это трудно, потому что движение прерванного процесса имеет свою инерцию, которая сосуществует, некоторое переходное время с началом движения нового. Но, тем не менее, поворотные факты безусловно существуют и ими определяются *исторические мутации*, те перемены, которые приводят к нарождению новых исторических видов.

2

Обращая только что высказанные соображения в сторону конкретной действительности русской революции — можно попытаться установить, прежде всего, какие именно факты в многосложности событий последнего десятилетия — имеют основание считаться центральными и пролагающими раздел между эпохами, а также уяснить, что в революции обусловлено

генетической связанностью с далеким прошлым и какие явления оказались неожиданным и «случайным» результатом *самой* революционной обстановки. Естественно, что «новое» и «будущее» нужно искать именно в явлениях последнего типа.

Для всех жизненно чутких и внутренно современных людей факт раздвоенности в ощущении современности не подлежит сомнению. Одна эпоха явно оборвалась, другая — зародилась; пока что, они сосуществуют, переплетаясь в сложной сети фактов и настроений, в реминесценциях и инерции. Но уже ясно, что массовый и средний тип русского миросозерцания (а может быть и не только русского) изменился. Устанавливаются новые системы культурных норм и ценностей; перед Россией раскрылись новые исторические перспективы, надломилась сама традиция жизненного распорядка. Однако, самый момент перелома все еще ускользает из сознания, будучи загроможден всею сложностью развертывающихся событий. Все еще упорно держится убеждение, что границей между «старым» и «новым» является мировая война; но вряд ли это справедливо. Война количественно многое уничтожила и переместила, но как единое событие, лишь растянувшееся на многие годы, она качественно должна быть целиком отнесена к прошлой эпохе. Вся сложнейшая сеть причин, опутавшая начало военных событий, идеи и лозунги войны, ее формы и непосредственные следствия, а главное весь психологический уклад военных лет, обусловивший необычайную приспособляемость жизни к разразившейся катастрофе — свидетельствуют, что летом 1914 г. произошла лишь внешняя трансформация Европы. Из мирной она стала военно-мобилизованной, но миросозерцательная инерция за весь период войны не изменилась. Величайшие жертвы и героический энтузиазм были не в состоянии обусловить непосредственных перемен в самом существе идей и мотивов европейской культуры. Последовавший за войной — «мир» определился, да и продолжает во многом определяться, тем же внутренним бессилием.

Ныне с полной очевидностью встает весь трагический смысл и историческое значение русской революции. Именно в ней нужно искать то, что не в силах была дать война — надлома эпохи. Как и всякий исторический кризис, русская революция в развертывании событий и своей образной сущности, определена, одновременно, и моментом исторической причинности и отмечена чертами неожиданности и случайности. Этим и обусловливается неизбежность двойного подхода к ней, обосновывающегося, кроме того,

уверенностью, что в каждом *итоге* уже наличествует элемент новой *заданности*.

За последнее время значение фактического начала революционных действий (февраль) начинает вовсе ускользать из сознания и памяти антибольшевицкой интеллигенции, при этом центр внимания перемещается на «октябрь». Большевицкий переворот стал синонимом революции. Психологически это понятно, ибо ужасы террора, провокации и гражданской войны затопили все впечатления революционного пролога. Между тем первый из *двух основных фактов* революции относится именно к прологу революции; с него, собственно, она и началась. Факт *падения самодержавия*, давно подготовляемый и стоящий в сложной исторической связи со всеми освободительными движениями прошлого, был пережит интеллигенцией может быть и экспансивно, но не глубоко. Легко одержав долгожданную победу, русская передовая общественность, в упоении от своей удачи, и не помыслила о *народном* восприятии этого события. Правопреемство Временного Правительства не подвергалось ни малейшему сомнению и критике. Лишь после разгона Учредительного Собрания и захвата власти партией большевиков поднялись крики и оскорбленные жалобы на узурпацию и политическое насилие. Именно эта смещенная точка зрения на сердцевинный факт революции и обусловила всю дальнейшую идеологическую и тактическую аберрацию противобольшевицкого движения. В первый эмоциональный, наступательный период революции народ, конечно, толковал события слепо, вместе с интеллигенцией, и союзно обрушился на самодержавие. Лишь к 20-му году, оставшаяся до того времени скрытой в разгуле страстей, историческая и государственно-правовая интуиция народа начинает снова сказываться, — правда, косвенно и загадочно. И выясняется, что по отношению к факту 2 марта 17-го года, народная интуиция и интеллигентская расценка радикально не совпадают друг с другом. Контр-большевицкая интеллигенция и круги бывшего правящего класса глубоко усвоили вросшее в их сознание убеждение, что белое движение явилось единственно законным продолжением традиции русского самодержавия (через Временное Правительство) и правопреемником всех государственно-юридических титулов Императорской России. Приняв догматически этот тезис, ничего не стоило после поражения белых пойти дальше и выработать систему новых положений, согласно которым ныне и утверждается, что традиция русской государственности и право законного преемства нахо-

дятся в свернутом состоянии в среде идейной антибольшевицкой эмиграции. Отсюда вся идеология «Зарубежной России» и *государствообразная* тактика борьбы с советской властью. Русское государство — это организованная под известными лозунгами эмиграция; Россия — лишь безличный об'ект насилия шайки захватчиков. Нужно признать, что государственная логика и этика были действительно на стороне белых; но в то же время теперь уже нельзя закрывать глаза и на то, что они не были исторически санкционированы, в силу чего, оставаясь героическим эпизодом революции, белое движение не может ни в какой степени претендовать на обладание полноты русской государственной традиционности.

Если вдуматься в смысл революционных событий во всем об'еме, то можно следующим образом формулировать народное толкование происшедшего. После свержения самодержавия традиция русской исторической власти была нарушена; русская государственность, идейно и фактически, оказывалась в раздвоении между «белыми» и «красными», при чем, обе сражавшиеся стороны, по отношению к действительной традиционности самодержавия, в сознании народа воспринимались одинаково, *как конкуренты и претенденты*. Мотив правопреемственной связи белого движения с самодержавием остался народом непонятым; ощущалась лишь непосредственно-персональная близость «белых» с царским прошлым; но те же люди, в иной обстановке, при нарушении всей миросозерцательной системы русской государственности и имущественном разгроме, импонировали очень мало. В результате и оказалось: непонимание претензии на юридическое правопреемство и эмоциональное отталкивание.

После долгой и мучительной борьбы, вопреки всем прогнозам и собственным ожиданиям, победили «красные». Произошел ли в данном случае интуитивный выбор народа, имеющий свою государственно-историческую логику, или же мы имеем дело с исторической случайностью, — в сущности безразлично. Вернее всего, в данном случае наличествовали оба начала. Важно другое: каково же было внутреннее отношение народа к этому событию. И здесь имеются все основания думать, что факт успеха красной армии и дальнейшее закрепление советской власти были восприняты им в непосредственной связи с событием крушения самодержавия. Для интеллигенции, как факт отречения последнего русского императора, так и стратегический успех большевиков были эпизодами: первый — положительным, второй — отрицательным. Революционная магистраль проводилась через головы этих

событий от февраля, через Временное Правительство к ..... грядущей русской демократии — для одних и от диктатуры Керенского — к..... неизвестному социалистическому будущему для других.

Апологеты белого движения, независимо от того, что в последнее время ими провозглашена идея «вождя царского корня», — в данном вопросе также неисторичны, как и их противники — демократы и социалисты, ибо в самом факте фанатичного и ничем не ограничиваемого утверждения прав «белых» — уже заключена, сознательно или бессознательно, недооценка юридического и психологического значения срыва самодержавного строя. Никаким героизмом, — если он не санкционирован и не «принят» историей — нельзя заменить традицию. Смысл и значительность акта отречения династии правильнее всего расценивается «крайне-правыми», но не желая вовсе «признавать» революции, они вследствии этого не в состоянии установить какую бы то ни было реальную линию преемства в будущее и осуждены на зловреднейшее самоокапывание возле этого факта.

В народном же сознании, повидимому, расценка событий определилась иначе. Вместе с концом самодержавия в государственном миросозерцании и психологии народа образовалась пустота, требовавшая соответствующего замещения. И замещение это явилось — в виде д в у п л а н о й системы интернационал-большевизма; и сочетаясь с ней, поднимая ее лозунги, в какой то мере даже отожествляясь, Россия, тем самым, формально положила основание своей новой государственно-исторической традиции, переключив инстанцию «октября», через все промежуточное — обратно, к моменту юридического упразднения самодержавия. Повидимому в масштабах историософской концепции интернационала, в сектантской психологии и организационном пафосе большевиков — народная стихия почувствовала ф о р м а л ь н у ю наличность нужных ей качеств государственности и власти и временно, не задумываясь над содержанием, установила неожиданную историческую преемственность — советского большевизма непосредственно от императорского самодержавия. Подобное констатирование отнюдь не обозначает, в какой бы то ни было мере, положительной расценки. Речь идет лишь о формальном подходе к тому явлению, которое без всякого сомнения полагает начало новой эпохи русской государственности и культуры (да и не только русской). И если в структуре советского строя и психологическом мотиве большевизма оказались действительно нужные России элементы, выведшие ее из состояния анархии и распада, то обязанность всех борющихся

идеологией и сущностью нынешней русской власти, принять их прежде всего к а к с р е д с т в а, без овладения которыми нельзя и думать о свержении коммунистов и будущем строительстве. Без этого, как свидетельствует опыт эмигрантской активности, противник ускользает, и борьба начинает вестись беспредметно, в пустоте ложно-патетической возбужденности и риторического морализма.

Если внутреннее сочувствие социалистической сущности советской власти подсказывает более умеренным социалистам, испуганным лишь максимализмом большевиков, тактику выжидания и обусловливает терпеливые надежды на эволюционность нынешнего русского строя, а слепая ненависть ко всему происходящему при советской власти и под коммунистической диктатурой определяет безрассудную тактику правых контр-революционеров (которая за последнее время начала называться, повидимому, для остроты, «революционной»), то внимательное формальное понимание всей современной советской обстановки, в тоже время проникнутое чувством современности и историчности — могло бы привести к созданию особого круга мыслей, утверждающего необходимость учета будущей российской государственности как с и с т е м ы с л е д с т в и й н ы н е ш н е г о с о в е т с к о г о с т р о я (консеквенционализм). Этот круг мыслей, желая быть по отношению к современной России минимально критическим (ибо все причины и грехи революции уже опознаны и обличены), в то же время искал бы наиболее органического подхода к всему происходящему и на ряду с эволюционной и нео-революционной (?) установками формулировал бы положение и приуготовлял бы психологически, реальную деятельность с л е д с т в е н н и к о в современного большевизма.

3

Верховно-правительственное возглавление советской России — составляет ныне специфическая государственно-партийная организация большевиков. Организация эта в основных чертах характеризуется следующим: она об'единяет людей преимущественно одинаковых и близких (уравненных) поколений*); она фанатично дисциплинирована и устанавливает для всех

*) Партийцы 18-го года и позднейших наборов, конечно, уже разновозрастны. Указание об единстве поколений относится к инициативной большевицкой группе эмигрантов, которая и по сей день составляет сановно-привилегированную часть советской администрации.

участников, однотипно и максималистично, двойную схему целей и действий. Создается как бы два миросозерцательных круга, один обнимающий другой, — большевизм, как внутренняя схема — и интернационал, как внешняя. Оставляя в стороне критику того содержания, которое ныне вложено коммунистической властью в это построение, можно так определить подобную государственную структуру: это партийное об'единение, соединяющее людей по признаку совпадения основных миросозерцательных норм (единство поколений), государство = подобно организованное, имеющее, кроме общности жизненного понимания, единый политический план и единую историческую интуицию. Организация эта определяет себя, явочным порядком, носительницей верховной власти и в сознании и ощущении современности, правит народом силою его исторической традиции. Так как партия связывает людей не только началами политики, но и общностью миросозерцания, то в результате, кроме политической диктатуры, осуществляется и диктатура обще-культурная.

Можно, конечно, в этом построении увидеть одни лишь отрицательные стороны революционного бесправия и насилия меньшинства. Но можно предположить, что в нем пытаются осуществиться и некие новые закономерности жизни, в частности новые принципы установления и осуществления власти. После перерождения принципов привилегированного наследничества и демократической «смесительности» *) (при которой власть являясь компетенцией всех, распыляется в массе ее фиктивных носителей) — прорывается к жизни и стремится стать жизненно-легальным принцип «выделительный», утверждающий право инициативного меньшинства подсекать сходящую на нет и разлагающуюся государственно-идеологическую традицию ближайшего прошлого, с тем, чтобы современно-новое и явочно-устанавливаемое переключать и связывать с какой либо, также оборванной, традицией далекого прошлого. Только что описанная схема установления власти и общего перераспределения жизненных сил, ныне реализуемая в советской России, является, конечно, непосредственным следствием лишь революционной обстановки и при том результатом чисто русских психологических факторов и исторических условий, которых коммунисты предвидеть не могли. Нужно очень продумать самый факт русской коммунистической партии в ее нынешнем виде и причины ее укрепления, для того чтобы найти хоть какое либо сообразное с действительностью об'яснение исторической «случайности» советской власти. Если даже все исторические революционные процессы прошлого считать генетически обуславливающими создание большевицкой партии, то все таки останется непонятной та легкость с которой русский народ признал «традиционность» новой власти и отдал свою судьбу на служение новым государственно-социальным принципам.

*) Термин К. Леонтьева.

Повидимому, в большевицкой революции разыгралась стихия, которой удалось захватить жизненные интересы народа. Думать, что таковой стихией было коммунистическое богоборчество и инстинкты революционного погрома, значит вовсе деградировать внутреннюю сущность народных масс. Если большевики и имели успех, в первоначальной стадии своего закрепления, путем всяческой демагогии, то не этим же определилась позднейшая консолидация советской государственности.

Пора оставить, внушенную чужестранным пониманием, точку зрения, согласно которой в структуре русского типа господствуют начала стихийной иррациональности и слепого размашистого «нутра». На самом деле, наиболее яркие социальные движения русской истории были обусловлены именно противоположным началом — стихией мистического рационализма, который определял и будил в народе массовую тягу к практическому действию. Старообрядчество, равно как и все типы русского мистического сектанства, будучи движениями мистически насыщенными, в то же время определялись характерным тяготением к рационалистическим схемам — символам и организационному практицизму в сфере жизненного строительства. Метафизический пафос подлинной русской религиозности всегда сковывается и зажимается в сухие схемы и образы, переводя параллельно внутренно-духовную энергию в ремесленно-деловую жизнеспособность. Это же противоречивое соединение фанатизма с практицизмом, сектантского бунта с организованностью—сказалось и в взаимопроникновении русского национального начала с партийно-организованным коммунизмом, что конечно не входило и не входит в расчеты руководителей революции. А между тем в этом именно сочетании нужно искать разгадку закрепления советской власти. Еще недавно можно было подходить к русской революции односторонне-обличительно, видя в ней долгожданное осуществление революционных планов западнической интеллигенции, внутренно ненавидевшей и непонимавшей существа народной России; можно было говорить о суб'ек-

те революционного действия (коммунисты) и пассивном об'екте его приложения (народ). Ныне обстоятельства изменились. Основная масса русского народа оказалась вовлеченной в процессы революции. Это не значит, что народ усвоил всю специфическую идеологию и психологию интеллигентов-революционеров. Вовлечение произошло не в смысле миросозерцательного подчинения, а в форме массового сопричастия к стихийным переменам жизненно-практического уклада и его санкционирования. Русская революция в народном понимании прежде всего стихийно-практична. Пусть большевицкий практицизм и «народоправство» советского строя во множестве случаев оказываются пустыми и мнимыми; самый формальный распорядок современной русской социально-государственной жизни отвечает, по-видимому, историческим требованиям русского народа, в смысле приложения его практических и организационных сил. Было бы величайшим «революционным» пристрастием отнести все послевоенное устроение России на счет государственного одарения и умелости коммунистической интеллигенции. Конечно, Россия была выведена из состояния анархии самим народом. Не видеть и не понимать, предвзято и упрямо, того организационного вдохновения и воинствующего практицизма, которым отданы все силы современной России — значит терять ключ в овладению историческим моментом. Подобное констатирование ни в малейшей мере не является слепой апологией революции, многосторонняя сущность которой весьма неожиданно и различно транспонируется в народном сознании, обращающем отрицательные принципы — в явления подлинной исторической ценности.

Пытаясь осознать, в основных чертах, природу нынешних советских партийных работников и вообще активного элемента современной России, следует прежде всего иметь в виду, что впервые после долгого периода вызваны к активной жизни подспудные, слежавшиеся и перегретые пласты народа, и что впервые во главе государства оказалась группа сектантов-фанатиков, идейных максималистов. Еще недавно идеологический максимализм и социальный активизм наиболее волевых элементов русской общественности и народа заставлял их выбрасываться из государственного аппарата, выпрягаться из социально-бюрократической упряжки прежнего строя и бежать на сторону, создавая различного вида оппозиционное сектантство. Ныне, повидимому, те же инстинкты начали действовать в обратном направлении, притягивая властных и волевых людей в центр, где они поглощаются

и использываются правительственно-административным аппаратом и компартией. Большевики, несомненно, овладели одним из наиболее чувствительных нервов русской социальной жизни — русскими «бегунами», бродячим элементом, впервые обратив их волевую устремленность в центр государственного дела. Общей центростремительностью социальных сил современной России определяется и факт грануляции революционной раны из середины. Потому и советское правительство, вопреки своей принципиальной обращенности против органического существа России, овладело логикой данного момента и ведет в отношении русской государственности, в общих линиях, правильную политику и тактику; потому и все проявления современного периферического повстанчества оказываются роковым образом запечатлены сепаратистскими тенденциями, идущими наперекор интересам русской державности; и потому наконец, бессмысленны и безумные планы об интервенции.*)

Было бы ошибочно заключить из всего только что высказанного примиренческую позицию в отношении к коммунистической власти. Борьба необходима, но она могла бы привести к должным результатам лишь при двух условиях: прежде всего следует усвоить новую психологию государствообразного русского сектантства — (большевиков) — понять центроустремленность современных социально-государственных процессов в России, отбирающих наиболее волевых людей и внушающих им уверенность и право почитать себя носителями и выразителями русской государственности, по примеру бывшего правящего класса; и, во вторых, навсегда погасив претензии

*) Всякая интервенция предполагает военное вмешательство со стороны, *с периферии* и имеет смысл только в том случае, если есть реальная возможность перехода *интервенции — в оккупацию*. Отстаивающие идею интервенции, повидимому, не отдают себе отчета в том, что при нынешних русских и международных условиях, всякая интервенция — привела бы к возобновлению гражданской войны. Это, прежде всего, — анти-этично и не патриотично. Территориально овладеть Россией никакими армиями невозможно. Большевики обладают величайшим Hinterland'ом и революционным жандармом Востока, которые позволяют им отступать как угодно вглубь Урала, Сибири и Азии. В результате — может возобновиться гражданская война, лишь с переменившимся расположением сторон: белые будут владеть центром, красные — окраинами. Но если из первой международобицы России удалось вынести свою цельность и государственную организованность в виде советской федерации, потому что в то время Европа была занята ликвидацией войны и была крайне обессилена в своих империалистических возможностях, то ослабление и дезор-

на установление линии государственного правопреемства, помимо этапа советского строя, понять себя *следственниками* советской государственности и революционерами лишь по отношению к ее атеистической и коммунистической подоснове. В соотношении подобных установок содержится, на первый взгляд, противоречие, которое, однако, необходимо сознательно принять, ибо в сочетании антипатриотической идеи коммунистического

ганизация России теперь, когда индустриально-капиталистическая энергия европейских государств более или менее восстановлена, могли бы привести к «китаизации» России, т. е. к долгой смуте, в которой внутреннее соревнование и борьба российских окраин, областей, армий и партий — поддерживались бы изнутри заграничными интригами и происками.

Кроме того, есть много оснований предположить, что тот сектантский пафос, который ныне уловлен и сосредоточен большевиками в узле советского организационизма, вновь переместится из центра в свое исконное место, на сторону, дезорганизуется, потеряет свой государственнический аспект и окажется непреодолимым врагом для всякой новой власти. Не овладеть этим узлом — значит упустить из рук всю организационно-державную энергию новой России, которая впервые получает свое оформление и находит свой тип реализации.

Если же предположить, что интервенция может послужить лишь сигналом для всеобщего восстания во имя принципов и целей интервенционистов, то нужно, в таком случае, иметь уверенность в жизненности авторитета и обаяния их главных руководителей. Но поскольку инициаторы идеи интервенции являются людьми прошлой эпохи, окончательно погашенной в памяти современных активно-действующих русских элементов, то вряд ли их имена что-нибудь скажут нынешней России. Не следует забывать, что недавняя великая война, не вошла в сознание русского народа, как война национальная, нужная и понятная. В связи с этим определился и общий народный индифферентизм к военной эпопее. Она не вызвала ни специфической военной романтики, ни культа героев войны, ни военно-народной эпики. Благополучное вступление России в период военных действий нужно отнести на счет того социального оздоровления, которое обусловило собою начавшийся столыпинский псевдо-ренессанс. Но этой ренессансной инерции хватило всего лишь на несколько лет, после которых военная выдержка должна была уже обусловливаться действительным здоровьем народа, его органическими силами и пониманием всей конъюнктуры. Поскольку вся обстановка войны осталась непонятной для народа, постольку и выдержку его оказалось возможным сорвать в определенный момент, — что и случилось. Непосредственно после полусознательных годов великой войны наступил слепяще-яркий в своем безумии и разнузданности период революционного распада, который непосредственно перешел в эпоху гражданской войны, польской кампании, большевицких походов в Азию и консолидации советского строя. По сравнению с идейно-тусклыми и внутренно мало понятными событиями германской войны, революционная эпопея врезалась в историю русского народа рядом фактов, запавших в самую глубину его совести, сознания и

интернационала с ощущением традиционности советского строя, налагает в сознании современной России не менее острый парадокс, могущий быть расторгнут лишь острием соответствующего, по эффективности сосредоточенных противоречий, замысла и тактического построения. Что же касается формально-государственной стороны большевицкой проблемы, то в этой части оценка положения должна быть формулируема точно и определенно: будущая русская государственность *уже задана* в государственности советской. И когда эмиграция пытается, за рубежом создать фикцию верховной власти и устанавливает из заграницы государственный статут Российской империи, то она этим самым не только делает ряд бесплодных поступков, но и воспитывает ошибочную психологию и ошибочное понимание действительности. Играя в вымышленное государство, люди начинают терять представление о том *реальном типе государственности*, который задан и уже развивается в России советской.

I

Со своей точки зрения русский коммунизм достиг больших пределов в смысле совершенства методов действия и разработанности своей культуры. Можно утверждать, что вся коммунистическая культурная конвенция

памяти. Создалась новая психология, новый язык, новый ритм жизни, новое чувство событий. Сменился главный состав поколения, который в революционные эпохи является с исключительной скоростью и перебоями. Можно сказать, что в настоящее время тот пласт людей, которому знакомы факты и деятели дореволюционной России окончательно засыпан новым пластом людей, для которых все прошлое, либо незнакомо, либо враждебно. Таким образом рассчитывать, чтобы возглавители интервенционных планов нашли бы себе сочувствие в широких массах России, вряд ли благоразумно. Думать же, что с трудом утрамбовавшиеся в новом быту элементы старой русской армии, рискнут наново водвориться, меняя свою новую сложившуюся жизнь на новые трудности гражданской войны, просто нелепо. Таким образом, с чисто социальной точки зрения интервенционная армия может быть встречена Россией, не как носительница русской государственной традиции, а как новый фактор псевдо-революционности, который должен будет отстаивать свои «права» силой и насилием. Между тем, конечно, интервенционная акция, подобно предшествующему ей белому движению, будет почитать себя непререкаемой носительницей всех титулов прошлого, что должно привести к неразрешимому и катастрофическому конфликту между *интервенционализмом* и *новым традиционализмом* советской государственности.

в существе своем является системой анти-культуры и организованным помрачением всякого подлинного миросозерцания, однако это не должно мешать формальному признанию что в советской политике есть черты большого стиля. Между тем, все что противопоставляется коммунистической системе миросозерцания и действий, отмечается характером необычайной элементарности и провинциальности. Иногда это определяется полным выпадением противосоветских деятелей из сферы понимания всего происходящего, иногда же вызывается беспомощным желанием приспособиться к «народности» современных русских процессов. Создался даже новый тип фальшивого, сусально-патриотического и псевдо-народного опрощения, сознательного «разкультуривания», при котором не может быть и речи об овладении передовыми течениями современности. Когда то народники «ходили в народ», имея перед собой воспаленно вымышленный образ русского мужика. Ныне появился новый тип эмигрантского опрощения—«хождение в Галлиполи», причем образ белого галлиполийца настолько же искусственен и лже-патетичен, насколько в свое время были во многом ложны и бутафорны представления о русском мужике в лаптях. В этих словах не следует превратно усматривать хотя бы и тени злонамеренного высмеивания. Вопрос «галлиполийства» конечно трагичен, но не безвыходен, так как перед военной частью эмиграции стоит очередная и существенная задача — усвоения того принципа наиболее эффективного сочетания начала милитаристического с началом политическим, которым советская власть пользуется самым широким образом, и которому в значительной степени обязана своим существованием красная армия. Разрешение этой сложной, но творчески-плодотворной проблемы «выравнивания по современности» могло бы вернуть военным контингентам эмиграции тот авторитет, который ныне, в связи с несоответствием их прежнего военного типа—с реальными обстоятельствами и требованиями наших дней, не без основания поддается оспариванию со стороны «прогрессивных» и «левых» кругов. Во всякомъ случае ни опрощением, ни эмигрантским государственническим самомнением коммунистического строя не подорвать. В соответствии с убеждением, что перед антикоммунистической частью России должна встать, с одной стороны — выработка плана советского следственничества, а с другой — задача революционной борьбы с миросозерцательными основами нынешнего русского марксизма — может быть установлена и двойная тактика действий: бдительное наблюдение за современной русской обстановкой и расчлененная расценка всех процессов и явлений — долж-

ны быть сочетаемы с созданием широкого самодовлеюще-ценного (не только негативно-противокоммунистического) социально-идейного д в и ж е н и я того именно типа, который не раз в прошлом выявлял всю социально-мистическую волю, и религиозно-конструктивные силы русского народа. Не в пространственных категориях следует определять деление России на коммунистическую и ново национальную. Проблема заключается в создании нового поля идейно-волевых тяготений. Полюсу большевицкой концентрации нужно противопоставить иной полюс, иной исход и иное сгущение подлинных исторических сил, которые ныне, наряду с коммунистическим фанатизмом, конечно, уже подняты и наличествуют в многоликом процессе революции.

Если рассматривать историю русской культуры с точки зрения ее национально-социальной динамики — то окажется, что характерной чертой русской жизни является подвижническое выхождение определенных групп передовых русских людей из общего русла социальной жизни, определяющееся идейным фанатизмом, зажиганием, в определенные исторические сроки, сектантским пафосом наиболее качественные элементы русской духовной социальной жизни. Под эту закономерность одинаково подойдут, как исход старообрядцев и бегство всевозможных сектантов-мистиков, так и контрправительственное обособление декабристов и горячечное, романтическое скитальчество революционеров — народников. Сколь ни разничны по своему сущностному содержанию все эти движения, в них можно найти аналогию по бытовой и этической качественности их участников, по характерной дружности, определившейся несомненным духовным под'емом, а также по привалку выпадения из оседлого состояния всех идейных участников этих движений, что всякий раз приводило к неповторимо-национальному явлению русского о р г а н и з о в а н н о г о с к и т а л ь ч е с т в а. При разных обстоятельствах и по разным поводам, какие то русские люди снимались со своих мест, порывали все исконные свои традиции и связи и становились о р г а н и з о в а н н о-б р о д я ч и м и.

Нужно вдуматься в моральную силу и социальную значительность подобных явлений. Порою думается, что бытовая оседлость и оседлое обывательство, которые в позднейшее время привели к гоголевским фантомам, к гротеску Щедрина, и жизненному разложению Чехова, с точки зрения духовно-социальной гигиены, являются менее благоприятными условиями русской жизни, нежели территориально нестабилизованное, но вместе с тем

внутренно-крепкое и исповеднически статичное, русское кочевье. Были движения в русской культуре, поражающие органической правдой своих устоев и устремлений, социальная значимость которых, однако, далеко не соответствовала заложенным возможностям. И если продумать роковую неудачу подобных движений, то окажется, что недостатком их явилась именно чрезмерная б ы т о в а я о с е д л о с т ь. Прежде всего, сюда относится славянофильство. По сравнению с декабризмом, идеологически подражательным и вторичным, несущим в себе зачатки и государственного обличительства и «подрывательства основ», славянофильство, искавшее устоев русского органического миросозерцания, выступает, как безусловная ценность русской духовной культуры. И, все таки, как исторический факт, как система событий и поступков — декабризм был ярче, образнее, героичнее, а главное — со своей точки зрения, эффективнее славянофильства. Будучи охранителями и самобытниками, деятели славянофильства оказались оседлыми обывателями, утратившими ту социальную взволнованность и энергию, которые в свое время подвигали охранителей—старообрядцев на героическое выхождение из жизни. Конечно, следует иметь в виду все различие исторической обстановки, но нельзя не признать, что во всем облике славянофильских деятелей и типе их работы отсутствовал тот сектантский ритм, наличие которого дает возможность сопоставлять между собою такие различные явления, как старообрядчество, сектантство, декабризм, народовольчество и нынешний большевизм. Социальная пассивность охранителей — славянофилов была симптоматичной и предупреждающей. Когда в 900-х годах понадобилось решительное оживление охранительно-творческих сил в среде поместного дворянства и правящего класса, отсутствие твердости и воли, сказавшееся уже в «эпоху великих реформ», привело к окончательному падению всей системы русской государственности. Столыпинский ренессанс, значение которого теперь стараются всячески преувеличить, при всей правильности намеченных им целей, обанкротился перед революцией, как раз именно, отсутствием целостного замысла и воли.*)

Стало очевидным, что в прежних формах борьба с коммунизмом бесплод-

*) Как известно, применение столыпинских земельных законов расширялось до самого начала войны. Но это происходило как бы по инерции. Власть в последние предвоенные годы потеряла ту волю, которая делает возможным политику «большого стиля» — замысел которой как ни как намечался в мероприятиях Столыпина.

на. До тех пор, пока в самой сердцевине интеллигенции и народа не зародятся вновь внутренние таинственные процессы сектантского исхода, которые вскружат, поднимут и организуют новых современных людей, до тех пор можно с решительностью сказать, ч т о у р у с с к и х к о м м у н и с т о в п р о т и в н и к о в н е т. Но создавая такое движение ни на минуту нельзя забывать, что и нынешние большевики — т о ж е русские сектанты, находящиеся лишь в пафосе воинствующего практицизма, а м и с т и к а и п р а к т и к а являются — в русском историческом типе — стихиями, переливающимися и обуславливающими друг друга. Без социологической и практической базы — все проявления русского мистицизма всегда сводились к беспомощному индивидуализму и анархизму. Если вспомнить, что все разновидности эпигонных мистических течений, определившихся в 900-х годах, были лишены всякого влечения к социальному д е л у, то станет очевидным, почему вся предреволюционная эпоха религиозного ренессанса оказалась абсолютно бесплодной в деле борьбы с наступающей материалистической революцией. Открыв для русского народа, в процессе грандиозного переворота, величайший социально-практический плацдарм, большевики, тем самым, коснулись той сферы социальной психологии русского народа, которая непосредственно связуется с сферой фанатично-религиозной, и, может быть, потому так легко и не задумываясь подчинились русские массы стихийной демагогии интернационал-большевизма, почуяв их религиозную природу, но не поняв их антирелигиозности, что она была брошена в обстановке величайшего с о ц и а л ь н о - п р а к т и ч е с к о г о п е р е у с т р о й с т в а и в о з б у ж д е н и я.

5

В порядке того же формального подхода к явлениям современной советской действительности, на ряду с выяснением скрытых социально-психологических процессов, изнутри способствовавших созданию и укреплению партийной государственности большевиков, следует отметить еще и тот факт, что в советской России, впервые и в грандиозных масштабах ставится опыт нового взаимоотношения в л а с т и и о с е д л о с т и.*)

*) Сравнительное рассмотрение социально-юридической ценности «демократии» и партийно-советской автократии в контекст данной статьи, как проблема специального политико-правового анализа, не входит.

Нужно признать, что в данном случае, перед лицом все разрастающегося кризиса идеи и факта оседлой государственности, лишь партийно-авторитарный строй большевицкого типа содержит в себе потенцию радикального разрешения этой проблемы социально-государственного переустройства. Как в эпоху феодально-владетельную, так и демократически-собственническую, — изживание которой за последнее время приняло столь решительный характер, — структура европейской государственности, в смысле взаимоотношений власти и оседлости,— разницы не представляет. В обоих случаях компетенция правительственно-административного возглавления связывается с наиболее оседлыми элементами общества; имущественно-цензовый принцип определяет привилегии территориально и имущественно прикрепленной части населения. Большевики устанавливают новый тип соотношения власти и оседлости, при котором носителями власти являются элементы наименее оседлые, принципиально кочевые. Партийная принадлежность и выслуги перед партией, единственно определяющие участие любого лица в правящей группе и регулирующие «табель о рангах», выносят всю государственно-административную организацию из непосредственной зависимости от статичных элементов наций, придавая ей характер над-территориальный и организованно кочевой. Тяготение к подобной схеме соотношения правящего возглавления и народа, пока еще бессознательно, определяется общей динамикой нынешней эпохи. Самый темп жизни и взаимопроникновение различных элементов и сторон жизненного процесса выбивают современные нации и государства из состояния статичной оседлости и замкнутого обособления. Усиление внутри-государственной динамики обусловливается усилением динамики межгосударственной. Идеологическая система коммунизма и интернационала, при всей ложности их духовного существа, имеют успех, ибо отвечают, превратно и мнимо, ритму и широте развертывания современной государственной и международной жизни. Повидимому, эпоха национально-государственной оседлости, когда каждая нация-государство замыкалась в себе и противупоставлялась прочим, начинает быстро изживаться. Наиболее совершенной формой государственной жизни кончающейся эпохи нужно считать форму державно-империалистических замирений, которая определяла действительно жизненную и плодотворную, для своего времени, систему сосуществования отдельных народов, разрешая трудную проблему взаимоотношения государственности и народности, путем подчинения начала национально-этнографического — принципу империалистического централизма.

Современная идеология национальных самоопределений ничего нового не дала, являясь лишь фиктивным разрешением наболевшей проблемы, и будучи в существе лишь лицемерным прикрытием прежних форм экономического империализма и этатизма. Этнографический момент, в обстановке современной европейской цивилизации, когда целый ряд понятий и норм повседневной жизни выходит за пределы национальных разграничений, в качестве признака разграничения и определения всей сложности мировой жизни в сущности сводится на нет. Это не значит что прав интернационал, зовущий во имя механического единства к денационализации и потере частных культурных ликов отдельных народов. Но стихийное тяготение к каким то единствам, об'единительным формам, к нахождению новых признаков и форм коллективного со-бытия — в грандиозном факте интернационал-коммунизма не могут быть не приняты в расчет. Было бы бесплодной и несвоевременной затеей велико-масштабному замыслу интернационала противупоставлять систему национальных самоопределений, в то же время, когда даже само понятие национальности, в передовом европейском сознании, в сущности уже мало что обозначает и представляется современному, «цивилизованному» человеку лишь досадным свойством натурального начала жизни, подлежащим всяческому преодолению.*) Понятие национальности, призванное определять оседло-об'единенный тип жизнедеятельности народов, уже невосстановимо в его прежнем смысле. Ценность же и значение современного шовинизма — соэквивалентна интернационалу, ибо в обоих случаях мировоззерцательная база--одинакова. Признавая всю современность и симптоматичность сверх-национальных и сверх-государственных тенденций воинствующего интернационала, а также подвижную безоседлость его фанатичных новобранцев — единственно сравнимых, по широте заданий и внутренней эффективности, могли бы стать принцип и замысел н о в о г о к у л ь т у р н о г о з о н и р о в а н и я, определяющего разграничение сфер различных культурных тяготений. В частности, по отношению к евразийской зоне, охваченной ныне с наибольшей силой деятельностью воинствующего интернационала, необходимо установление и развитие идеи диктата-

*) Современный шовинизм, который вопреки всем стараниям европейских идеологов Нац-гуманизма, не только существует но и весьма силен, является в сущности особой формой политической и даже экономической конкуренции, за которой не стоит реальное противоположение культурных типов и установок.

туры нового культурного типа, который по отношению ко всем сторонам жизни — проблемам наций, государственности и социально-частной жизни — утверждал бы себя, подобно коммунистическому интернационалу, верховным и всеопределяющим началом. А это, естественно, должно вести к организации известных поколений, являющихся выразителями и носителями новых культурных начал. Изменяя несостоятельное теоретическое рассуждение Бухарина о взаимоотношении партии и класса — можно сказать, что без партии в настоящее время нельзя организовать однотипного поколения и, следовательно, однотипного миросозерцания. Идеи — должны иметь аппарат прямых действий, — такова законная потребность времени, и не демократам и социал-гуманистам возмущаться этим фактом современного «насильничества», ибо их попустительством, вернее бессилием и ошибочностью заложенных в основу всех эгалитарных социологических систем, порождена современная страсть к твердому устроению и максимализму. Тезис дан — он в факте идейной и действенной диктатуры воинствующего интернационал-коммунизма. Антитезис, будучи полярным в основаниях, должен быть однотипным по методам и силе.

Говоря о культуре, нужно иметь в виду, прежде всего, перестановку миросозерцательных координат. Их перестановка определяется ныне, как живым тяготением, так и исторической необходимостью —вернуться к началам миросозерцания двупланного. Миросозерцание это, преодолевающее притяжение в бесконечность упором в инобытие, определяющееся чувством концов и ощущением смен и периодичности циклов,связанное с типичнейшими историософскими и этическими системами православия, по самой структуре своей и по всей совокупности сопутствующих ему идей и навыков, конечно в корне отличается от миросозерцаний однопланных бездонных перспектив, в которых устой в инобытие заменен иллюзорным потоком в безконечность. Лишь в таком миросозерцании, внутренно опустошенное ощущение времени, которым определяются все процессуально-эволюционные и прогрессистские системы жизни, заменяется погружением в истинный смысл исторического процесса, в коем эмпирическое и инобытное даны и нераздельно связаны в иррациональной логичности фактов и событий.

Злостная и влекущая к неизбежной катастрофе неправда материалистического коммунизма, равно как и всего «европеизма» вообще, заключается в том, что на базе современных социологических процессов, определяющихся

все уменьшающимся инстинктом оседлости в среде наиболее активного и «современного» элемента общества (интеллигенция и пролетариат) — они строят, якобы соответствующую, процессуальную (прогрессивную) систему миросозерцания. Между тем, правда заключалась бы в противупоставлении неизбежной социологической динамике — наново устанавливаемой статики веры. Кочевнические формы современной жизни необходимо изнутри укрепить религиозной стабильностью и ритуальной структурностью быта. Эзотерическое охранение должно быть прямо противоположно и пропорционально внешней подвижности. В этом противуположении нужно угадать и утвердить положительный смысл современной эпохи, которая раскрывается, прежде всего, под знаком великих социальных передвижений и переустройств. Лишь антирелигиозный скептицизм может почитать современные социальные движения целиком отданными во власть богоборчеству и нигилизму. Религиозное сознание, освящая материальность мира, по своему положительно учитывает и момент количественный. Не личным началом и не культом личности определяется современная эпоха; — она строится в человеческом материале, в массовых мобилизациях и коллизиях человеческих средоточий. В этом отношении Россия сильна именно тем, что в ней процессы современных социальных концентраций и размыканий протекают в среде еще органического, мало дифференцированного народного массива, в то время как в Европе аналогичные процессы надламывают хрупкую структуру индивидуалистической цивилизации.

Бесплодны, в то же время, и все попытки противупоставления материалистическому пафосу коммунизма — идеалистических концепций отвержения или деградации материальной стихии жизни. Религиозное миропонимание не гнушается веществом и освящает его. Но в эпоху материалистического безумия, когда люди начинают отрицать свой религиозный дар освящения вещества, они сами становятся косным историческим веществом, из коего можно и должно, с соответствующей твердостью, строить историю тем, кто от этого дара себя не отлучил и кто видит всю неизбежность и положенность этой стройки.

П. П. Гувчинский

Париж, 1925 г.

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ РЕВОЛЮЦИИ

1

«Что же будет дальше, профессор? От Вас, как от историка, мы ожидаем ответа. Когда это кончится?» — Такие вопросы приходилось мне часто слышать в начале большевицкого господства. От точных хронологических указаний я, разумеется, воздерживался; но, чтобы окончательно не уронить авторитета исторической науки в глазах вопрошающих, все-таки отвечал: «Да, лет через десять наладится». Названный срок, по своей продолжительности равно неприятный и мне и моим собеседникам, имеет за собой некоторые основания и до сих пор событиями еще не опровергнут. Впрочем, указывал я на него также и в силу внутреннего негодования на моих товарищей по науке. Те немногие из них, которые когда-то защищали идею исторических законов, упорно увиливали от конкретных прогнозов или несли явную чушь. Большинство с невозмутимым самодовольством и неприличным равнодушием к происходившему повторяли шаблонные фразы из школьных «методологий» и «философий истории» (составленных преимущественно по Риккерту), как-то: «Исторических законов не существует», «История не повторяется». А тем временем полуобразованные публицисты на свой страх искали аналогии между Керенским и... Сен-Жюстом (почему именно Сен-Жюстом? — но сам читал фельетон на эту тему) и на основании подобных аналогий пытались пророчествовать о... будущем Бонапарте. В конце концов появились пророки даже из мира естественно-научного, обратившиеся к аналогиям из жизни животных и растений (тоже сам читал). Увереннее всех строили схемы будущего, конечно, сами большевики. Но их построения были лишь неудачными попытками по ученому (ведь больше всего уважают «научность» именно большевики) выразить свои неясные желания и надежды. Путаница весьма понятная, если вспомнить, что элементарность не только большевицких, а и вообще социалистических теорий необходимо предполагает и соответственную элементарность сознания или, по выражению, кажется, Ленина, «физическую силу мысли».

История, конечно, не повторяется в смысле, напоминающем «повто-

рение» естественно-научных «законов»; и понимающий свое дело историк не ищет подобных этим «законам» отвлеченных формул. С другой стороны, внешняя аналогия — плохой метод, который давно пора предоставить теософскому скудоумию с его «астральными клише». Однако же, не случайно, в самом деле, историки пользуются «общими» понятиями, а среди них — и понятием революции. И не мнимо, а действительно «сходство» процессов, обозначаемых этим термином, — хотя бы в применении к таким «великим революциям», как английская (1640-1653-1660), французская (1789-1800-1815) и обе русские (1598-1610-1613, т. е. «Смута», и 1917 —). Перед нами, несомненно, явления однородные. Если же так, то можно определить природу революции и дать ее феноменологию.

В исторической действительности существуют «общие» процессы. Но они не являются особою, отвлеченною от нее сферою бытия, отвлеченными «законами», которые бы управляли ею, ограничивали свободу исторических суб'ектов и удачно выражались в условных суждениях. История — по преимуществу сфера непрерывности и свободы. Исторически-общее — единство множества. «Общий процесс» в истории можно уподобить развитию организма (например — человеческого) по отношению к каждому конкретному развивающемуся организму (например — данному человеку). Ведь нет ни отвлеченного организма ни отвлеченного развития, но всякое развитие осуществляется и существует только во всем множестве об'емлемых им индивидуальных организмов. Само собой разумеется, что «общее» развитие в истории так же не противоречит развитию «общего» (человечества), как развитие особи не противоречит развитию вида.

Развитие предполагает то, что развивается, т. е. суб'ект развития, в исторической же действительности обязательно — личность. Притом развитие не является каким то самобытием, но и есть сам развивающийся суб'ект (сама развивающаяся личность). В истории суб'ектами развития могут быть как индивидуумы, так и (в случае «общего» развития) коллективные или соборные, симфонические личности (например — группа, народ, культура,*) человечество). В допущении симфонических личностей нет еще никакого иностазирования отвлеченностей. Ибо не предполагаем, что симфоническая личность обладает бытием *вне* своих индивидуаций (на-

*) Во избежание неологизма сознательно употребляем в этой статье термин «культура» в двух смыслах. — Культура это, во первых, симфоническая личность (культуро-личность, культуро-суб'ект), что близко к пониманию культуры *Данилевским* и к словоупотреблению *Шпенглера*, и, во вторых, осуществленные возможности и продукты культуро-личности, как бы застывшие и от нее отрывающиеся, что совпадает с наиболее обычным словоупотреблением. Никаких особых трудностей из двусмысленности термина «культура» не проистекает, ибо значение его всегда ясно из контекста. К тому же продукты деятельности личности всегда органически с нею связаны.

пример, культура или народы — все составляющих их индивидуумов), хотя отрицаем отожествление симфонической личности с арифметическою суммою индивидуумов. Точно также, признавая себя личностью, которая осуществляется и существует во *всем* моем развитии, я этим отнюдь не утверждаю, будто существует мое отвлеченное, «пустое» «я» и будто оно воздействует причинно на любой момент моего развития.

Различие между индивидуальным и общим сводится таким образом на различие между индивидуумом и симфонической личностью, причем первый и есть свободная самоиндивидуализация второй, а вторая — и единство и согласованное множество индивидуумов сразу. Если же так, то необходимо допустить и дальнейшее. — Христианская культура, как симфоническая личность, осуществляет себя в ряде низших симфонических личностей (культуры евразийско-русская, европейски-католическая и др.), а эти низшие — в ряде народов, как народы — в последнем счете — в индивидуумах. Проявляет себя симфоническая личность в состояниях или действиях, одним из которых и будет революция.

Мы утверждаем реальное единство и личное бытие человечества и в нем — христанской культуры, ни мало не выступая в защиту так называемой «всемирно-исторической точки зрения» (уж одно название чего стоит!) и еще менее того становясь на сторону нелепой и пагубной для историка идеологии прогресса. В силу же единства самой личности необходимо допустить, что все «однородные» состояния ее не что иное, как раз'единенные в пространстве и времени проявления одного состояния. Таким образом, выражаясь парадоксально, нет революций, а есть одна многообразно проявляющаяся и все же всегда себе самой тожественная революция. Поэтому *в любой конкретной революции проявляет себя сама революция*, и мы, изучая, например, французскую, тем самым изучаем и всякую другую, ибо изучаем *самое революцию*. Оттого и не бессмысленны рассуждения о «революции вообще», попытки ее понимания и оценки. Современная номиналистическая мысль, впрочем, уже значительно подорванная, упрощает этот факт многоединого состояния. Она разлагает его на утверждение множества конкретных и абсолютно по существу своему раз'единенных революций и на утверждение повторяемости в них некоторого общего процесса, «революции вообще». Отсюда — позитивный социологизм или дурная безжизненная метафизика.

Но познать общий исторический процесс вовсе не значит формулировать нечто во всех конкретных обнаружениях его «повторяющееся», в частности — изобразить необходимый ход всякой революции. — Надо уловить существо и внутреннюю диалектику процесса. А эта диалектика, исчерпывая в истории свои возможности, выразима отнюдь не отвлеченно, но только путем исторического описания конкретных ее проявлений, весьма разнообразных и часто по видимости друг на друга не похожих. Притом для понимания существа процесса достаточно часто и одного только его проявления. Во всяком случае, нет нужды в педантическом подборе «аналогич-

ного» материала, во *внешнем* обобщении. Конечно, без общих слов и потому без *видимости* чего-то повторяющегося практически не обойтись. Но не следует никогда забывать, что эти общие слова и видимые повторения обладают чисто служебным, инструментальным значением.

2

Примерно с половины прошлого столетия постепенно возникло преобладающее значение доктрины исторического материализма, несравненно большее, чем обычно думают. Основная ее предпосылка, одинаково принимаемая как «материалистами», так и «идеалистами», заключается в понимании исторического процесса по образу процессов материально-механических. Исторический процесс мыслится, как сумма причинно взаимосвязанных процессов и — в конце концов — неизменных фактов. Притом о понятии и природе причинной связи просто не думают, вопрос же о том, что такое «сумма» или «система» либо остается совсем без ответа, либо получает ответ в отожествлении «системы» с естественно-научными «законами», толкуемыми так, как уже перестает их толковать само естествознание.

Зачатки материалистически-механистической доктрины даны уже в католических религиозно-философских учениях о Провидении (Боссюэ), затем в деизме. Здесь воля Божия уже понимается, как одна из слагающих, как один из «факторов» развития. И весьма показательна нелепость этого религиозного материализма: исходя из него пытаются опровергать исторический материализм современные богоискатели, которые вкривь и вкось рассуждают об истории, не понимая того, что предпосылки их не совместимы с ее существом.

Основная предпосылка исторического материализма с диалектическою необходимостью ведет к более ясному ее выражению. — Формальный материализм (т. е. материалистическая методология или понимание исторического бытия по типу материального) склоняет к постановке во главу угла материальной стороны жизни. Монизм вырождается в материализм. Основа исторического бытия усматривается в материальных, «хозяйственных» процессах, хотя, казалось бы, совершенно ясно, что нельзя отрицать самопроизвольное зарождение и в то же самое время выводить из материи что-либо, кроме материи же. Правда, в силу действительного единства исторического бытия можно познавать его по любому из его проявлений, в том числе и по «организации производства». Отсюда и возникает *видимая* вероподобность некоторых историко-материалистических об'яснений, которая была бы большею, если бы среди историков-материалистов нашлись люди с лучшим научным образованием и критическою трезвостью мысли, но которая всегда будет лишь видимою, ибо читатели, да и сами авторы не замечают очень просто-

го факта: подлинным предметом познания является у них не материальная сторона процесса, а сказывающаяся *и в ней* природа его. К сожалению, понимание этого затруднено психологически. По крайней мере, противники исторического материализма борятся с ним отвергая само единство исторического процесса. Материалисты их запугали, и они стремятся лишь к тому, чтобы доказать наличность и других, не материальных «факторов». Но предполагать «факторы», да еще множество их, значит, отвергая единство исторического бытия, понимать его по типу бытия материального, т. е. возвращаться к основной предпосылке исторического материализма и делаться плюралистом. Конечно, это уже некоторый прогресс, если марксист становится плюралистом. Однако от плюрализма до возрождения историзма еще очень далеко.

Подобно противнику исторического материализма защитник его раскрывает свой плюрализм. В связи с возводимыми в первооснову бытия хозяйственными отношениями он раз'единает симфоническую личность на телоподобные системы, тем отрицая ее, как личность. За основное тело он признает класс, т. е. наименее органическое из социальных единств, которое он к тому же до крайности элементаризирует. Как историю классовой борьбы начинает он разсматривать не только современность, а и прошлое, где и классов то никаких не было и приходится отожествлять с ними совсем не похожие на них сословия. Собственно говоря, непоследовательно останавливаться на классе. — Если нет общества, а есть только сумма классов, какие основания допускать существование самого класса? С точки зрения продуманного материализма и класс — только сумма индивидуумов. И разумно ли, отрицая такие симфонические личности, как народ, и даже индивидуальную личность, *верить* в симфоническую личность класса? А в'нее, несомненно, верят. — Историки-материалисты говорят и не могут не говорить о классовом *самосознании*, считая его конститутивным моментом в понятии класса, о классовых идеалах, классовой идеологии и т. п. Мало того — в начертании идеального будущего (!) общества они отожествляют класс (бывших пролетариев) с этим обществом. Бывшие люди становятся будущими: только настоящих людей нет.

Гипотеза классового строения общества и вздорное признание классовой борьбы за-существо истории очень симптоматичны, отражая действительное разложение современного западного общества, умирание в нем личного начала и упрощение общественных отношений. Богатое разнообразие личной жизни ниспадает в полуживотную сферу и упрощаясь сосредоточивается в элементарных стихиях зависти, жадности и ненависти. Бедность и богатство делаются основными, определяющими категориями социального бытия, идеал которого усматривается в равенстве, распространяемом и на сферу умственную. Ведь естественно и необходимо, что действительному упрощению общества соответствует упрощенное сознание, которое ни в прошлом ни в будущем не способно усмотреть ничего сложного. В. Н. Ильин

удачно подвел и атом и голову социалиста-материалиста под одно общее определение: и тот и другая — «маленькое, круглое и абсолютно не упругое тело». Впрочем, в социалистических теориях все еще живет старое, а частью сказывается даже проблематика реальной жизни. Эти теории идеалистичны. Они молчаливо и бессознательно признают симфонически-личное бытие, хотя бы за классом пролетариев. Они наделяют этот класс, если и не всеми, то многими добродетелями, в частности — добродетелями государственными. Иными словами, они отрицают себя самих, как впрочем, отрицает себя, т. е. погибает, и отражаемая ими действительность.

Не в материализации и механизации, как и не в сведении развития личности на перемены в пространстве и времени, — единственно правильный и опытом мастеров истории оправданный метод исторического знания. Разумеется, всякая историческая личность качествует по разному, и необходимо ее качествования различать. Но инотазировать их, т. е. считать их личностями либо — что еще хуже — «факторами», «причинами», столь же неправильно, как устанавливать причинные связи между разными психическими свойствами человека или — между его носом и пяткою. Всякая личность — как индивидуальная, так и симфоническая — одинаково живет и хозяйственною, и социальною, и политическою жизнью; и все это — ее качествования, *она сама*. В каждом из своих качествований она проявляет себя в *своей* специфичности, хотя и по разному. Их следует различать, особенно же тогда, когда личность в своем развитии уже вышла из стадии первичной «расплавленности» и не находится в стадии «расплавленности» революционной, т. е. тогда, когда налицо ограниченность проявлений личности в каждом из ее качествований и они противостоят друг другу, как особые сферы и окостеневшие традиционные формы, как прошлое ставшее костяком настоящего. Но никогда не следует за взаимопротивопоставленностью разных качествований забывать о их существенном единстве и ставить вопрос о их причинном взаимоотношении иначе, как в порядке методологического удобства. Эмпирически симфоническая личность выражает себя в разных своих качествованиях с неодинаковою полнотою и в зависимости от многого иногда больше в одном из них, иногда в другом: то по преимуществу политически, то по преимуществу экономически, религиозно, и т. д. Поэтому методологически важно всегда исходить из качествования, наиболее показательного именно в данный период развития. Для периода революции таким наиболее показательным качествованием является *политическое*, и по существу наиболее важное, ибо *политическое есть отнесенное к единству*. И если вообще историческое миросозерцание весьма пострадало от пренебрежительного отношения к проблемам политической истории, это особенно справедливо в области изучения революции.

Таким образом в основу истории мы кладем учение о личности, признавая, в частности, симфоническими личностями и народ и культуру. Раз симфоническая личность существует действительно, т. е. раз она поднимается над своим бытием в возможности, она необходимо обладает и формою своего личного бытия. Эту форму можно определить как систему взаимоотношений между актуализующими данную симфоническую личность индивидуумами, систему видимо выражающую их единство и отделяющую его от других подобных ему единств (от других «народов», «культур»).

И сама симфоническая личность и выражающая ее система пространственно и временно превышают эмпирическую индивидуальную личность. В эмпирической жизни всякой симфонической личности всегда наличествуют ее прошлое, как традиция, и ее будущее, как желания, надежды, цели. Но полнота симфонической личности, сама симфоничность или соборность ее, эмпирически не осуществима. Ведь осуществленность соборности предполагает, что всякий акт симфонической личности является свободным согласованием *всего* множества индивидуальных актов, которые «слагают» соборный и осуществляют в нем каждый свое. В полноте своей симфоническая личность выше пространственно-временных раз'единений, необходимости и свободы, небытия и бытия. Такая полнота достижима в Церкви, но не в эмпирии. В эмпирии же неизбежна неполнота соборности, ограниченность личности и ее свободы. Эмпирически неизбежны пассивность и угнетаемость одних, противление и насильничество других, соглашение и принуждение.

Начало принуждения или власти характеризует систему, которая выражает в эмпирии симфоническую личность. Ее сознание и воля для того, чтобы действительно быть, стремятся к эмпирическому выражению и находят себе такое в *правящем слое*. Он, разумеется, выражает волю и сознание симфонической личности несовершенно, о чем свидетельствует его противопоставленность остальному обществу и, стало быть, ограниченность. Ограниченно им понимаемую волю симфонической личности он осуществляет путем принуждения. Между ним и особенно тою «частью» его, которую принято называть государственною властью или правительством, с одной стороны, и «управляемыми» или «подданными», с другой, всегда существует некоторое натяжение, повторяющееся и во внутренних конфликтах всякого индивидуального сознания, например — в захватывающей индивидуума борьбе «эгоистических» (личных, сословных, классовых) мотивов с мотивами «государственными», «патриотическими» и т. п.

Политическому качествованию данной симфонической личности причастны в той или иной мере все составляющие ее индивидуумы, хотя бы в порядке пассивного послушания. Но только те, которые «политичны» наиболее сознательно и действенно, составляют правящий слой. Таким правящим слоем в России до революции было все так называемое интеллигентное общество, от правительства до самых крайних революционеров. Из правящего слоя органически вырастает правительство, которое эмпирически и выражает некоторый онтологический факт — реальное единство симфонической личности. По онтологическому корню своему всякая власть от Бога, ибо Бог творит всякую личность и индивидуума, и народ, и культуру. Но не следует смешивать онтологического происхождения власти с конкретною эмпирическою властью. Эмпирическое бытие есть греховное бытие; и не может быть эмпирическая власть совершенною, ибо все грешны, все до одного. Перенесение Божественности с принципа власти на ее эмпиричность, т. е. на конкретную историческую власть, равнозначно языческому обожению власти. При таком обожении приходится признавать власть неизменною и безошибочною, т. е. во имя даже окостеневшего прошлого отвергать всякую новизну, всякое развитие, т. е. отрицать самое жизнь.

Вполне понятно, что люди, переживавшие в революции отрицание самого принципа власти (вполне ли переживание, если многие из них продолжают его отрицать, не признавая большевиков властью на том основании, что они захватчики, и противопоставляя реальной народной, хотя бы и плохой власти нереальную мечту о власти, которой нет?) и дикое разрушение всякой старины, готовы даже преувеличенно подчеркивать Божественность власти и смешивать принцип с фактом. Мне кажется подобное умонастроение весьма опасным, тем более, что неимоверно понизилась и умственная культура. Читающая толпа не различает между созидающими свою ответственность философами, с одной стороны, и писателями, имеющими смелость выражать свои обывательские мысли в философских терминах, с другой. Еще меньше способна она разобраться в самих понятиях, которые требуют тонких различений, не всегда доступных и самим писателям. Поэтому совершенно справедливое, хотя и не новое оправдание Божественного начала власти и иерархии смешивается с оправданием данной конкретной власти и данной конкретной иерархии, т. е. в конечном счете определенных персон. Однако едва ли можно отфилософствовать факты и доказать Божественную необходимость подчиняться Распутину или Ленину и увязать недоучившуюся молодежь.

Божественному принципу иерархии надо противопоставить Божественный же принцип равенства. Если мечтать об абсолютной иерархии и абсолютном осуществлении власти, надо мечтать и об абсолютной демократии и об абсолютном равенстве. Если же мириться с неполнотой равенства и демократии, наибольшим приближением к которой был анархический период русской революции, справедливо и последовательно мириться и с проявлениями духа мятежа.

В совершенном бытии антиномии превозмогаются, не исключая друг друга, но сливаясь в гармоническое целое. Но не надо из боязни потрудиться или ошибиться отказываться от метафизических исканий, т. е. засорять

действительность эмпирическую дурною и пагубною метафизикою, наивно отожествлять эмпирическое с абсолютным. — Божественно начало власти и Божественна власть. Но если незакономерно обожается конкретная эмпирическая власть, — старина заедает новизну, живое останавливается и умирает. Божественно и начало борьбы со стариной. Но мятеж разрушает и старое и новое. Эмпирия несовершенна. Эмпирически нет власти без насилия и жизни без мятежа. И эмпирия может примирить старое с новым только путем половинчатости и довольно жалких компромиссов, вечно балансируя между тупым охранительством и диким новаторством. Конечно, возможны сравнительно мягкие формы борьбы между двумя принципами, возможны и желательны, но, к несчастию, редко осуществимы. Сама же борьба эмпирически неустранима. И вместо того, чтобы тешить себя розовенькими надеждами на идеальное самодержавие или идеальную демократию, надо осознать эту эмпирическую неустранимость. Если мы хотим создать государство без греха, мы должны победить эмпирию. Но тогда не будет уже *эмпирического* государства, а останется одна совершенная Церковь. Путь к этому известен. Только он, как христиански совершенное отношение к власти и миру, как христиански совершенная жизнь, равнозначен эмпирической гибели индивидуума, принесению им себя в жертву за мир. К этому пути относятся слова о повиновении «властям предержащим» (т. е. «существующим», а не «законным» только), о смирении и необходимости повиноваться Богу больше, чем человекам.

Симфоническая личность не обладает личным бытием, т. е. эмпирически еще или уже не существует, если нет в ней правящего слоя и правительства, если не выливается она в форму четкой государственности. Чем полнее ее личное бытие, чем сильнее ее личное самосознание, тем отчетливее и могущественнее ее государственная власть. Поэтому то в ранний, здоровый период истории данного народа и в периоды под'ема его самосознания государственная власть и внешне предстает как единая и даже единоличная. Напротив, «рассеяние» государственности всегда является симптомом временного угнетения или даже умирания народа. Подобное рассеяние мы наблюдали перед войной и наблюдаем еще и сейчас, одинаково и в монархиях и в так называемых демократиях. Совершенно напрасно из войны стараются извлечь аргументы в пользу последних. — Война далеко еще не закончилась; и пока в ней нет победителей: только побежденные. Процессы же, происходящие, с одной стороны, например, во Франции, с другой — в России, просто несравнимы. В России падение правящего слоя сопровождается созданием нового; во Франции продолжает свое бытие прежняя парламентская олигархия, и нового правящего слоя что-то незаметно. Не даром наиболее талантливые политики во Франции — люди весьма почтенного возраста.

Каким образом правящий слой и правительство познают и выражают волю народа? — Разумеется, не путем опроса и бесед. Ведь ни один акт государственной власти не является вполне понятным большинству народа,

а большинство таких актов остаются непонятными и даже неизвестными всем. Многие не понимают Версальского договора; человеку же, способному понять новый немецкий «Aufwertungsgesetz», смело можно доверять толкование Апокалипсиса. Не определима воля народа и чрез посредство выборного по четырехвостке парламента. Ведь парламент сам — часть правительства и рекрутируется даже не из всего правящего слоя, а из особой группы в нем — из среды профессионалов-парламентариев, профессоров и газетчиков. Парламент уже потому не в состоянии выражать волю народа, что народ вынужден выбирать не людей, а бумажки (партийные программы); бумажки же эти ничего конкретного (если не считать за таковое неопределенных посулов) в себе не содержат и в самых критических случаях (— война должны уступать место силе персон — членам парламента, находчивость и мудрость которых редко кому известна за пределами самого учреждения. К тому же мудрость коллегии обратно пропорциональна ее величине и несомненно понижает умственную деятельность всякого ее сочлена, что прекрасно выражено в словах римского императора: «senatores optimi viri, senatus mala bestia». С другой стороны, «scrutin de liste» и прямые выборы — вещи, друг друга исключающие; а что выйдет из разных реформ, мы еще увидим. Во всяком случае, западно-европейские рассуждения «solidarité» пока что философски убоги.

Не осуществляется связь правительства с народом и в партии. Партия и есть уже правящий слой. Ее идеология и программа вырабатываются в ней самой, сверху, а не снизу. Они могут оформлять желания народа лишь в том случае, если сама партия находится с ним в органической связи. Ведь и социалистическая теория вовсе не выражение классового самосознания пролетариата, а интеллигентская выдумка. — Интеллигенты выдумали и продолжают «совершенствовать» утопическую теорию. И совершенно неправильно называть «пролетарским самосознанием» хитроумные и отвлеченные построения интеллигентов или грошовую, а частью и забористую литературу полуинтеллигентов. Социалистические программы такое же средство ассимиляции правящим слоем подымающихся в него снизу, как и газеты. Факт одобрения социалистических программ многими рабочими нисколько не показателен. Напротив, очень показательно: *как* начинают жить и *что* начинают осуществлять эти рабочие, когда они переходят в ряды полуинтеллигенции или захватывают власть и принимаются за борьбу с капиталом (не с капиталистами). Социалистическое движение чистейшее самозванство, очень часто искреннее; но искренним самозванцем был и Лже-Димитрий. К тому же весьма вероятно, что рабочий класс в современном обществе примерно так же относится к современной культуре, как римские рабы относились к культуре эллинистической. Я хочу сказать, что западный «пролетариат» содержит в себе *возможности* иной новой культуры. Некоторые из этих возможностей «социалистами» улавливаются, но сейчас

же ими и искажаются в неудачных «переводах» на язык «буржуазной» культуры.

Действительность несравнимо сложнее, глубже и интереснее, чем те модные ныне особенно в России графики, да схемы, которыми пытаются ее изобразить. — «Народ», конечно, не метафора и не безразличность, не «первая материя». Он всегда определен некоторыми желаниями, стремлениями, идеями. Только все это приобретает действительность не в заявлениях толпы, массы, голосующего населения, не в ясных программах и формулах, а — в руководящих личностях. Личности осуществляют национальные возможности, не исчерпываемые и не выразимые до конца на языке отвлеченных понятий. Результат выборов с.-р. в Учредительное Собрание никакой народной воли не выражал, а Петр Великий, Ломоносов, Пушкин были подлинными выразителями народной воли и народного духа. Говоривший с надрывом провинциального трагика от имени народа какой-нибудь Керенский никогда ничего народного не выражал, а угнетавший от имени интернационала русских людей Ленин кое-что выразил, как, с другой стороны, и генерал Корнилов.

При нормальных условиях национальные возможности осуществляются чрез правящий слой, который органически вырастает из народа и в себе, как в микрокосме, выражает народный космос. Он осуществляет и оформляет возможности народа тем самым, что осуществляет свои собственные возможности. И если такое нормальное соотношение в общем существует (а по эмпирическому несовершенству оно может существовать только «в общем»),— мы говорим о «национальной» политике правительства, о «народности» того, либо иного государя, государственного деятеля, о «национальном» значении какой-нибудь группы, партии, интеллигенции и т. п. И правящий слой в целом и правительство остаются национальными до той поры, пока они находятся в реальном и органическом взаимообщении с народным материком. Но формы этого взаимообщения могут быть очень различными: оно одинаково возможно и в деспотии и в крайних формах демократии. Формы взаимообщения зависят от многих условий; и не в них, а в неисчерпываемой рациональными формулами органической связи заключается существо. Если нет органической связи, парламент выражает народную волю не лучше, чем самая себялюбивая олигархия и самый нелепый деспот; если такая связь есть, неограниченный монарх осуществит народные идеалы скорее и лучше, чем самый совершенный с технической стороны парламент. Выдвигая существо дела, я не хочу этим сказать, что формы взаимообщения безразличны, что они не подлежат совершенствованию и не обладают разною степенью практического удобства и прочности. Но целесообразность их стоит в зависимости от их органичности и народности. Органически связанный с местным самоуправлением и народный английский парламент становится органом искажения народной воли в бюрократической Франции. Учредительное собрание связывается с русским народным духом только

в поздом имени «учредилка». Необходимо отличать существо от формы и отказаться от веры в единоспасительность второй, тем более, что она чаще всего чужеродна и абстрактна. Нельзя смешивать основного процесса с его эпифеноменами. Так основным процессом современности является кризис власти, заключающийся в разрыве правящего слоя и правительства с народом и в оскудении первых двух. Благодаря же смешению основного процесса с эпифеноменами этот кризис власти считают кризисом монархии, кризисом парламентаризма и т. д., формою подменяя содержание. Поэтому ошибочно надеяться на исцеление больной монархии путем введения парламентаризма, привозимого из заграницы хотя бы и в пломбированном вагоне, или на исцеление немощной республики посредством диктатуры. Все подобные попытки — плод наивного рационализма, который верит в общеобязательную схему развития и, считая существом внешние формы, органических процессов не понимает.

Мы знаем уже, что в государственном бытии народа необходима категория господства-подчинения. В связи с этим стоит не устранимый никакими формами факт: рано или поздно правящий слой отрывается от народа и замыкается в себе. Замыкаясь же в себе и теряя органическую связь с народом, правящий слой перестает его понимать, быстро денационализируется и вырождается, хотя, по свойственной людям наивности, может до самой смерти своей считать себя выразителем народной стихии. Последнему весьма способствует усвоение чужеродного (у нас — «европеизация»), естественное при изживании своего. Ведь чужое конкретно лишь у себя на родине и осваивается только в абстрактной форме. А все абстрактное своею мнимою ясностью и безжизненною простотою особенно привлекательно для разлагающегося и потому рационалистического сознания. Абстрактное — космополитично и «социологично». Оно склоняет к утешительной вере в общеобязательный путь исторического развития и к признанию мнимого общего блага народным благом. И эта абстрактности глубже, чем думают современные наши интеллигенты, обвиняющие в абстрактности социалистов и кадетов. Ведь те же самые интеллигенты считают логический идиотизм «религиозно-философских» творений Льва Толстого глубокими исканиями, а его топорные иллюстрации к психологическим учебникам английских эмпиристов называют знанием человеческой души.

Чем далее, тем глубже пропасть между правящим слоем и народом. Переход из второго в первый все более связан с потерею национального лица и внешним приспособлением. А так как ассимилирующая сила правящего слоя тоже идет на убыль, он понижается в своем качестве, вырождаемый полуинтеллигенцией. Революционная недократия и революционное преуспеяние самоучек только завершают давний процесс, уже выдвинувший на пост обер-прокурора Святейшего Синода Н. П. Раева, в министры просвещения — генералов Ванновского и Глазова, в профессора — разных доморощенных «социологов».

От'единение правящего слоя является распадом или разложением самой симфонической народной личности. Но оно вместе с тем и саморазложение правящего слоя, которое высокопарно называют борьбою общества (и даже народа!) с властью. Правда, обе стороны — и «общество» и «власть» — ссылаются на народ и считают себя выразителями его воли. Но обе одинаково ошибаются или, по крайней мере, «преувеличивают». Их вражда — вражда внутренняя, семейная, до которой народу мало дела. Обе составляют один правящий слой, крестьян считают нейзанами и иногда даже осознают свое родство, хотя задним числом и по истечении долгого времени. Так и проэкты Сперанского заносятся в почетный ряд памятников борьбы с самодержавием или интеллигенты заказывают 14 декабря панихиду по... императоре Николае I. Нравы меняются, но существо дела, т. е. принадлежность интеллигенции к правящему слою, остается тем же.

В период своего возникновения правящий слой может быть и чужеродным — создающими государственную власть в Киевской Руси варягами или, если угодно, прибывшими в запломбированных вагонах большевиками, которые выводят Россию из анархии. Более или менее скоро такой правящий слой либо ассимилируется и перерождается в народный, либо — в случае неподверженности его ассимиляции — погибает и заменяется новым. В период своего расцвета правящий слой не является ни сословным ни классовым, как ни сословна государственная власть Франции при Генрихе IV и Ришелье, даже при Людовике XIV. Но отрыв и самозамыкание правящего слоя, действительно, делают его сословным или сливают с каким нибудь сословием или классом. Это еще не денационализирует правящего слоя. Однако вместе с прогрессирующим вырождением национальное, народное все больше и больше отступает на задний план, оставляя безжизненные абстрактные схемы, с легкостью заполняемые инозем ным содержанием. Дольше всего национальное сохраняется в области духовной культуры — в самых зрелых, но и самых поздних плодах развития. Расцвет литературы и науки чаще всего предвозвещает конец осознающей себя в саморазложении культуры. Литераторы и ученые притязают на роль вождей в обетованную землю; и до сих пор таких пустомель, как Вольтер, принято считать предшественниками революции. На самом деле Вольтеры и Руссо более всего отражают и осмысляют умирающее прошлое, как в свое время Бомануар осмыслял уже умиравший феодальный быт.

Для вырождающегося правящего слоя характерна его оторванность от народа, т. е. в частности абстрактность, денационализованность, и превращение его в замкнутую социальную группу, в «сословие» или «класс». В то время как правящий слой вырождаясь становится сословием, само сословие утрачивает свой органический характер: освобождается от своих обязанностей, безответственно сохраняя свои права и привилегии. Если заменить реальные привилегии сословия, которое уже не обладает или даже никогда по настоящему не обладало (как у нас в России, где «сословность» конституирована «Жалованной Грамотой») сознанием своих обязанностей, своей «функциональности», вожделениями на привилегии, — мы и получим то, что называется «классом», элементарнейшим и характерным для умирающей культуры об'единением.

Итак вырождаясь правящий слой распадается на слабеющее и глупеющее правительство и на будирующую интеллигенцию, которая, вероятно, себя так называет под влиянием ассоциации по контрасту. Но разрыв правящего слоя с народом выражается еще и в том, что внизу, в «управляемых» остается лишь слепая государственная стихия. Все, что подымается в правящий слой, перестает быть народным, либо ассимилируясь, либо погибая. Правящий слой роковым образом слабеет, стихийная же государственная мощь низов может при благоприятных условиях снести загнившую верхушку, но для того, чтобы создать или ассимилировать новый правящий слой, во всяком случае, нуждается в длительном периоде времени. Такой благоприятный исход предполагает, что процесс разложения не уничтожил живых сил симфонической личности, что он был либо поверхностным процессом, либо реакцией здорового организма на какую нибудь заразную болезнь.

Длительный процесс вырождения правящего слоя, уничтожения его национальною государственною стихиею и создания нового правящего слоя я и называю *революцией*. Она мне представляется опасною болезнью симфонической личности, могущею привести не к новой государственности, а к смерти, к превращению народа в простой этнографический материал. Во всяком случае, революция — явление неприятное и гнусное, но, к несчастью, время от времени неизбежное. *Революция — факт политической истории* и подлежит изучению именно с этой точки зрения. Но, расплавляя народную жизнь, революция об'емлет все ее сферы. Она разрушает исторически сложившиеся перегородки между собственно-политическим, социальным, экономическим, бытовым и т. д., являя всю расплавленную ею народную жизнь в аспекте политического бытия. В эпоху революции политикой становится не только писание бумаг, а и выпечка хлеба. Утвердившееся деление революций на политические и социальные еще хуже, чем деление их на буржуазные и социалистические. Иллюзию «социально-экономического» процесса создают, с одной стороны, обусловленное умиранием европейской культуры непонимание государственности, как формы симфонически-личного бытия, а с другой стороны — тот факт, что революция захватывает все сферы жизни и обостряет конфликт между бедными и богатыми. Но первые могут и не исповедовать религии Карла Маркса.

4

Первая фаза революции должна быть определена, как вырождение и гибель старого правящего слоя. Это по существу и имеется в виду, когда

историки декламируют о «старом режиме». Однако они незакономерно суживают проблему. Именно — под «старым режимом» разумеют частью старые формы государственности (ср. выше) и связанный с ними общественный строй, частью — персональный состав правительства. Правящий слой в целом не опознается. Поэтому борьбу интеллигенции с правительством рассматривают как борьбу «народа» с властью (извозчики и красноярцы, избивающие «студентов», к «народу», конечно, не причисляются). Идеологию этой интеллигенции (просветительную философию XVIII в., русскую публицистику) признают выражением чаяний народа. Сама же интеллигенция наивно верит, что измышленные или заимствованные ею идейки формулируют идеалы народа и что народ не отожествляет ее с правительством и не пользуется ею только как временным орудием.

Предполагают, будто народ чрез посредство своего «авангарда» — интеллигенции мощно (интеллигент очень любит считать себя «мощным») разрушает «твердыни» старой власти и приступает к творческому созидательному труду (главным образом в порядке составления резолюций), но здесь почему-то озверевший и, конечно, темный народ отстраняет мудрых мужей совета и ввергается в анархию. На самом деле никто так, как это обычно изображается, старой власти не разрушает. — Правящий слой и правительство, как орган его, погибают в *саморазложении*; и *одно из проявлений этого саморазложения — борьба интеллигенции с правительством*. Революционная идеология интеллигенции — продукт разложения старой государственной идеологии, худосочный плод истощенной почвы. Она — такое же самоопределение правящего слоя, как и идеология правительства. Умиранием *всего* правящего слоя об'ясняются удручающая элементарность и безжизненность всяких предреволюционных и революционных проектов, программ, теорий и «философий». И ничтожность интеллигентской идеологии находит себе блестящее подтверждение в государственной негодности интеллигенции, когда она «революционно» захватывает власть. Долгий парламент, французские национальные собрания в эпоху революции, русские учредительное собрание и временное правительство стоят убедительными и укоризненными примерами.

Конечно, даже в саморазложении правящий слой до некоторой степени может выражать народную волю и обнаруживать некоторые специфические национальные черты, только не лучшие и политически наиболее ничтожные. — Власть не отдает себе отчета в серьезности начавшейся войны, а общество этой войне сочувствует. Дипломатическая одаренность русского человека вырождается в лицемерие государя со своими министрами. На место старца, как носителя религиозного идеала, выдвигается в литературе — красный старец (Лука у Горького), при дворе — Распутин. Разумеется, в борьбе интеллигенции с правительством с обеих сторон ставятся и национально важные задачи; но эти проблемы ставятся либо отрицательно либо абстрактно. Так интеллигенция была права в протестах своих против не-

дело обрусительной политики, правительство — в борьбе с политиканством молодежи. Но мало конкретного и национально важного в русском империализме или в «оппозиции Его Величества» и парламентаризме на английский манер. Забота о меньшом брате, народолюбие, мечты о справедливом общественном строе — вещи прекрасные, мечты о благе всего человечества — еще лучше. И то и другое интимно связано с русским народным характером. Но вера в осуществимость абстрактной мечты не свидетельствует о чутье к конкретному. От кадетской программы далеко до русской действительности, что и подтверждено ходом событий, а от «снов Веры Павловны» т.е. социалистических программ, еще дальше до какой-бы то ни было действительности, что даже в подтверждении не нуждается.

Подчеркивая, что отличительною чертою революции является *саморазложение всего* правящего слоя, мы не отрицаем, что по существу именно народ заменяет этот слой новым. *Народ* уничтожает весь правящий слой, как таковой, и делает это с мудрою постепенностью — сначала устраняя правительство, потом — обезглавленную себя интеллигенцию. Только это не активное уничтожение, а — отказ в поддержке тому, кто явно сам себя губит. Но народ уничтожает старую государственность и в себе самом и в то же время ищет новых людей, выдвигая их из своих недр или подбирая подходящих, хотя бы и во многом стеснительных людей из старой правящей среды с тем, чтобы потом их или переработать или за миновавшею надобностью устранить.

Революционный процесс сказывается прежде всего исчезновением у правящего слоя *воли к власти*. Оборотная сторона этого — непонимание действительных нужд и задач государства и утрата пафоса государственности (потому то неуравновешенные публицисты и предаются ему: здоровый человек своего здоровья не замечает). Колебания правительственной политики, смена направлений и министерств не причины, а грозные симптомы начавшегося процесса. И наивно задним числом напрягать друг на друга бесконечные «если бы»! Во время французской революции вздыхали о великом короле или, за ненахождением его, о великом министре. — Как раз ни тот ни другой появиться не могли. Не менее трудно было найти соответствующего кандидата и в России перед революцией. Казавшиеся такими скоро свою полную непригодность обнаружили. Требовавшее ответственного министерства общество могло предложить только будущее временное правительство. И трудно сказать, кто был более неправ: упорствовавшая власть или наступавшее на нее общество. Безволие и изветшенная косность правящего слоя являются как бы органическими свойствами всех к нему принадлежащих. Ибо именно он вырождается, а не царствующая династия только и не министры или начальники департаментов, как известно, назначенные не на племя.

«Краса русской революции» низвергла правительство, «краса русской интеллигенции» приняла ему на смену, но воли к власти не обнаружила.

Восклицание Мирабо и «решимость» депутатов третьего сословия (уложивших уже, впрочем, на всякий случай свои вещи) не обнаружили комического бессилия Конституанты только потому, что не нашлось.... матроса Железняка. Очень скоро те же депутаты ничего не могли поделать с наводнившими Версаль пьяными бабами. Мудрость же первой революционной власти достаточно иллюстрируется нужною лишь любителям ораторского искусства «декларациею прав человека и гражданина», которую, конечно, во всех отношениях превзошла «декларация прав солдата». Всем известно, что «феодальные права» были отменены не Конституантою, а бунтом, результаты которого собрания всячески старались урезать, и что мир с немцами был заключен не «временным правительством».

У правящего слоя в эпоху революции так же нет чутья государственности, как и у власти. Именно потому он находится к власти в состоянии радикальной оппозиции и не сознает этой оппозиции, как симптома погибели, и не видит в своем распаде на партии, группы, котерии своего собственного разложения. Становясь у власти, он обнаруживает то же безволие (абулию), что и сама павшая власть. Он не в состоянии властвовать и может свидетельствовать о своем существовании лишь самым простым и недейственным способом — упражнением в красноречии. И остатки правящего слоя, известные под именем эмиграции, своими взаимными распрями, «пафосом» *отвлеченной* государственности и «красноречием» показывают, что они ничему научиться не могут, ибо те, которые способны научиться и переродиться, остались в России или являются в эмиграции элементами для нее не характерными и случайными.

Здоровая государственная власть сознает абсолютное значение государственности и народно-государственных задач, сознает органически, инстинктивно. Она может сменивать абсолютность принципа с незакономерно абсолютируемою формою и ошибочно представлять себе свои задачи. Но она верит в себя и верит в государство. Этой веры нет у власти умирающей и у умирающего правящего слоя. Нас не должны обманывать «официальные» заверения. Верили ли подлинно в помазанничество государи составители его манифестов? Он сам в последние месяцы своей жизни явил высокий образец религиозно-нравственного характера и жертвенного патриотизма. Но если помазанник Божий ставит эмпирическое благо народа выше своего долга перед помазавшим его Богом, он не понимает своего царского долга. Царь, отрекающийся от царства за себя и за своего сына, отрицает таинство помазания. И те же самые соображения справедливы помимо религиозного толкования власти. — Правительство, которое заявляет, что готово уйти по первому требованию народа, не понимает ни того, что такое народ, ни того, что такое народная власть. Благо народа может совсем не совпадать с тем, что «человек из народа» под своим благом разумеет. Оно выразимо и осуществимо только чрез правящий слой и правительство и отнюдь не совпадает с благополучием житейским. И что это за «народ», по воле

котораго временное правительство соглашалось «уйти»? Чем определялась народная воля? «совдепами», газетами, мятежной толпой? или всеобщим, прямым, равным и тайным голосованием, которое как раз не прямое, а в революционные времена во всяком случае не тайное и не всеобщее? Я думаю, что готовность временного правительства уйти не риторика, а факт. Но этим оно обличало свою негодность, и именно поэтому народ дал ему власть, предпочтя другое, по природе своей несомненно более государственное. Я помню время, когда Юденич стоял у предместий Петербурга. — Большевики не сдавались. Они готовы были вести бой на улицах. Скажут: им нечего было терять. — Может быть, но, как бы то ни было, они обнаружили волю к власти и понимание того, что такое власть именем народа. Не даром русские рабочие и русские крестьяне считают, что власть перешла к ним, и не придают значение хлесткой формуле: «не власть пролетариата, а власть над пролетариатом».

Полным непониманием существа власти отличаются и предреволюционные политически-литературные течения. — Религиозный смысл власти отрицается. Природу ее усматривают в насилии и обмане или в господстве одной социальной группы над другими; или, наконец, — в достойной Феокрита идиллии: в свободном и мирном соглашении всех. И добро бы предполагалось что-нибудь конкретное! А то радикальная русская интеллигенция, ревнуя лаврам «теоретиков» XVIII в., планировала будущее по Мейгеру, если не по кн. Кропоткину.*)

Погибнув в центре, старая государственность пыталась воссоздать себя на окраинах. Так же, как подобные образования в эпоху французской революции, «новые» правительства явили полное свое бессилие. Это было, собственно говоря, не чем иным, как завершением начавшегося в центре процесса — окончательною гибелью старой власти. Не случайно во главе новообразований появлялись старые политики, бюрократы, генералы, интеллигенты. Действовавшие тут же «новые» люди выходили из той же «интеллигенции» и отличались, только меньшим образованием, неизвестностью и несерьезностью своих фамилий (Бич, Рябовол, Петлюра).

Умирание старой государственности совершается и в самой народной стихии. Но здесь — если революция не оказывается болезнью к смерти — не умирает само существо государственности, воля к власти. «Революционный народ» отвергает старые формы прежде всего пассивно — все более ускользая от подчинения (ср. дезертирство в армии и его развитие). Но он и активно разрушает старое бунтами и противопоставляет старому новое си-

*) Традиция планирования русского будущего по тем или иным европейским «теоретикам» идет от XVIII-го века. Эту же склонность выражают многие из декабристов. Декабристы, в целом, все сплавляют сложное и не лишенное своеобразия явление. Но все-таки, что некоторые из них стоят в «генеалогической линии» нашей «беспочвенной» и западопоклонической интеллигенции.

мочинные власти. Вместе с политическими формами народ потрясает и разрушает свой социально-экономический и религиозно-нравственный уклад, расплавляя все в одном бурном революционном потоке. Народ ищет новую власть, ищет себя самого на пути самых смелых и диких экспериментов и активного сомнения. Он потрясает основы всего, чтобы найти несомненное и уже не колеблющееся и на нем утвердиться. И в этом раскрывается последний, религиозный смысл революции, ибо революция здорового народа всегда в истоках своих религиозна, всегда ищет *правды* и за *правду* принимает ложь, хотя — вынужден заметить во избежание дурацких лжетолкований моей мысли — весь ее взволнованный поток греховен и мерзок.

Революция раскрывает природу народа в ее расплавленном состоянии. А «ближайшая к природе власть», говорил Платон, есть власть сильного». —Понятно, что в разрушительной борьбе стихий новая государственность может утвердить себя лишь актами элементарного и жесточайшего насилия.

5

Чтобы революция наступила, мало одного разложения правящего слоя. Мертвый труп может долго плавать и колебаться на волнах, точно живой. Необходимо еще, чтобы последний суб'ект государственности, народ был здоровым, ибо именно здоровый организм наиболее бурно реагирует на болезнь. Но если народ в существе своем здоров, он—хотя бы и смутно сознает значение государственности. Поэтому для того, чтобы он отверг свою историческую власть, необходимо, чтобы она не только явно показывала свою негодность, но и еще угрожала самому государственному бытию народа, посягала на святое святых его личного самосознания. В самом разрушении старой государственности народ выступает на защиту государственности. И этим об'ясняется связь всякой революции с войной (в Англии — с тридцатилетней и с отношениями к Ирландии и Шотландии, во Франции — с «grande peur» и европейскими войнами, в России XVI-XVII в. — со шведской, польской и с борьбой за огосударствление окраины). Принято обвинять русский народ в негосударственности за устройство революции во время войны и молчаливо признавать государственность французов за устройство войны во время революции. Глубокомысленно замечают, что Россия не могла сразу разрешить две проблемы: и внешнюю и внутреннюю. Все это — абстрактные рассуждения. Уж если говорить о разных «если бы», так надо будет сказать, что, не будь войны, не было бы революции и что во всяком случае революции не случилось бы при благополучном окончании войны, т.е. при «разрешении» внешней задачи. Когда французский министр успокаивал парламент заявлением, что у победителей—«большевизма» (понимай — революции) быть не может, он, пожалуй, был и прав, а если и ошибался, так только в том, что считал французов победителями.

В России вырождение правительства (для очень немногих) стало ясным со времени неудачной японской войны. Тем не менее до революции дело не дошло*). Революция наступила лишь тогда, когда наивно почитаемая народною война с Германией явила полное бессилие власти и поставила на край гибели само государственное бытие России. Но и здесь народ не сразу разуверился в своей государственности. Он долго верил в свое правительство и в «народность» его политики, предполагая, будто вина лежит на отдельных лицах. Так появилась характерная для революции и подтверждающая наше понимание ее (ср. историю Англии и Франции) мысль об измене. — Отчего окопы немцев удобнее и благоустроеннее? — Измена. Отчего не хватает снарядов и приходится отражать атаки палками? — Измена. Разве не повесили «изменника» Мясоедова? Разве не с изменою борется Дума?

Нет никакой необходимости в том, чтобы измена действительно существовала. Обыкновенно ее даже и не бывает. Николай II отечеству своему не изменял. Подозрение в измене — первое яркое выражение смутного еще сознания того, что власть никуда не годится. Оно обусловлено трогательною привязанностью к старым формам политического бытия, к династии и государю и бессознательным страхом перед неизбежностью революции. *Измена — эвфемизм революции, быстро превращающийся в ее маниу.* Потребность в этом эвфемизме не исчезает и с появлением новой, революционной власти. Ее положение несравнимо труднее, чем положение старой власти. У нее нет исторической санкции, и она еще должна доказать свою способность управлять, перейти от посулов и обещаний к делу. Как власть наиболее близкая к своему началу и природе, она должна быть властью силы, чтобы народ почувствовал ее твердую и жестокую руку. Она должна либо быстрыми, но едва ли возможными в период уже начавшегося развала успехами оправдаться от переносимых на нее подозрений, либо эти подозрения насильственно подавить. Ведь очень скоро обнаруживается, что она — порождение того же правящего слоя. И понятие измены расширяется. — В том ли беда старой власти, что народная воля выполнялась плохими людьми? Не в том ли, что они выполняли не народную, а *свою* волю? Но не повторяется ли то же самое снова? Никто не знает точно, что такое народная воля и каково ее содержание; но старые определения ее кажутся подозрительными. И уже невозможно определить подлинную власть по ее идеалам, программам и словам. Даже обещание ограбить богатых, например — налогом в 90%, к доверию не располагает, скорее наоборот. Подлинную власть можно определить только по ее природе — по неискоренимой воле к власти.

---

*) Одним из типичных проявлений русского европеизма и самообольщении является распространенное различение революций на „хорошие" и „худые". К числу хороших революций относят бунты и конституционные реформы 1905 г. Последовательно было бы в этот же разряд отнести и период временного правительства.

Если те же самые, пока ничем, кроме красноречия себя не показавшие люди говорят о необходимости Дарданелл или верности союзникам, потерявшим производившую для офицерства шампанское вино провинцию (речь Брусилова солдатам), — так еще вопрос, способны ли они осуществить свои намерения? Да и соответствуют ли эти намерения нуждам государства и народа? Не обман ли это, не измена ли, которую можно назвать также «интересами буржуазии»? Они говорят об интересах России. Но способны ли и желают ли они эти интересы понимать? Солдату-мужику ясно, что министр, прежде бывший адвокатом по делам о политических преступниках, говорит о какой-то отвлеченной России и что настоящая ему, адвокату, может быть и неизвестна. И мужик опровергает интеллигента великолепным сарказмом: «Мы тамбовские». Адвокат все-таки пытается доказать ему важность отечества в порядке целесообразности, т. е. в порядке отрицания за государством абсолютного значения. Надо, заливается адвокат, умирать за землю, чтобы потом справедливо поделить ее между трудящимися. — Новый сарказм: «А на что мне земля, если меня убьют?» Надо сознаться, что у русскаго мужика было больше государственного смысла, чем у правительства, преступно отбиравшего на убой лучшие элементы армии. И мог ли солдат поверить тому, что это бессильное правительство, которое на словах готово отказаться от власти, а на деле за нее держится, уступая всякому, кто на него прикрикнет, исполнит свое обещание и справедливо поделит землю? До той поры, пока здесь воюешь, оставшиеся в тылу давнут хорошенько на правителей и поделят всю землю между собою.

Таким образом первая фаза революции с необходимостью переходит во *вторую* — в *период так называемой анархии*. «Так называемая» анархия... Исчезают саморазлагаясь историческая власть и правящий слой, поскольку он в самой «анархии» не перерождается в новый или не сливается с ним. Гибнут старые формы государственности и старое политическое миросозерцание, являя свое несоответствие народной стихии. Все становится сомнительным, и везде инстинктивная жизнь вытесняет сознательную. Но за всем этим протекает бурный и творческий процесс — *активное стремление государственной стихии себя осуществить, искание нового правящего слоя и новой власти, болезненное и медлительное их нарождение.*

Вместе с исчезновением государственного единства раскрывается эгоизм слагающих государственное тело единств. «Федерализм» действительно враг будущей государственности, к которой стремится революционный народ. Но в политических новообразованиях, т. е. в завершающемся на окраинах разложении старой государственности, живет идея государства. Если она не может осуществиться, так потому, что старое еще не отделилось

от нового и нет осуществителей, как *нового* правящего слоя, который бы уловил новое. В этих «новообразованиях» живет идея целого. Их эгоизм, выражающийся в самостийности, следует отнести, с одной стороны, на долю никуда не годных руководителей, «могикан» умирающей государственности, с другой — на долю здорового инстинкта масс, чувствующих, что большое целое может быть только органическим целым и предполагает некоторую самостоятельность своих органов. И если «федерализм» в специфическом смысле (Вандея, Донское правительство, Украина, Кубанская рада и т. д.) враг революции и государственного единства, федеративный строй, как выражение органичности целого, может оказаться для больного государства наилучшим решением проблемы. Этого не поняли делившие Францию на департаменты ученики Ришелье. Большевики-интернационалисты оказались восприимчивее к идее организма, чем националисты.

Не случайно с началом французской революции связаны падение национальной обособленности провинций и закончившиеся дешевым фейерверком празднества федерации братания. Но и у нас в России не следует умалять значения, какое имела идея «единой и неделимой» в первый период революции и в эпоху борьбы белых армий с большевиками. Легкомысленно пущенная в оборот ложь, будто я где-то являл «в белое знамя», не мешает мне положительно оценить патриотическое одушевление, которое, думаю, одинаково(?) руководило обоими участниками белого движения и не умеющим понимать напечатанное молодым автором и не сознающим ответственности своей роли бра датым редактором. Одушевлявшая многих в белой армии идея единства России оказалась недейственною не потому, что она была ложною, а потому, что она была абстрактною и не обладала соответствующею формою своего осуществления, ибо старые формы тогда уже умерли, а новых еще не народилось. Эта идея конкретизировалась лишь в патриотических настроениях и героических подвигах, к сожалению, не согласованных и не оправданных теоретически. Теоретическую сторону взял на себя «мозг» белого движения, оказавшийся на поверку совсем не мозгом, а остатками старой интеллигенции и бюрократии и «Осваго».

Еще в более скрытом состоянии живет государственная идея в эгоизме социальных групп. Несомненно, что писаки, сводившие в начале французской революции ее задачу к проблеме «третьего сословия», подразумевали под ним французский народ, хотя сами себе в том отчета и не отдавали. Во всяком случае, так понимала слова Сийеса — степень отчетливости понимания и здесь является вопросом второстепенным — сама «буржуазия». Равным образом и в так называемой пролетарской идеологии, поскольку, по крайней мере, с нею связываются действительные стремления рабочих, больше патриотизма, чем в программе компартии. Но, разумеется, очень большое несчастье, что довольно узколобые («долихокефалы») и малообразованные идеологи социализма, сами будучи продуктами и отбросами старой разлагавшейся государственности, всячески отрицали и вытравляли идеи патриотизма и

государственного единства. Еще большее несчастье, что темная рабочая масса под влиянием сомнения и отчаяния во всем старом легко и жадно усвоила «социализм» из пятикопеечной и заборной литературы, а сама была слишком непонятлива и косноязычна. Но все это не исключает государственности и патриотизма даже в социалистах, даже в большевиках. Говорят, что Троцкий болезненно переживал национальное унижение Брестского мира. И хотя я не особенно высокого мнения об этом «свистуне» и не стану сопоставлять его патриотизма с патриотизмом ген. Врангеля, вероятность рассказа я допускаю с охотою. Учение об идеях, как об идеологической надстройке, просто глупо. Но, с другой стороны, не очень разумно и принимать всякую фразу за выражение идеи. Заключая мир с немцами, большевики думали, будто они руководятся *только* интересами мирового пролетариата, фактически же осуществляли практическое задание русской государственности и руководились именно им. Они думали, будто, производя реквизиции, борясь со свободою торговли и т.п., они вводят социализм, и даже уверили в этом некоторых «экономистов» из агрономов, доныне еще изучающих русскую революцию, как неудавшийся марксистский эксперимент. На самом деле большевики выполняли необходимые в тот момент для самого существования Государства Российского задачи, которые по своей примитивности совпадали с социалистическими идеалами. Такое толкование аналогично воззрениям исторического материализма на роль личности, с тою однако существенною разницею что не рабочий класс, а само Российское Государство расставляло личности-пешки, и что дело идет не о личностях вообще, а о доктринерах.

Если в сословном, классовом, групповом эгоизме скрывается и даже до известной степени управляет им идея общегосударственная, то еще сильнее сказывается в нем сама стихия государственности, обнаруживаясь в стремлении к самоорганизации, в борьбе за власть и т. д. Она выливается здесь в самые элементарные формы, но зато легко превозмогает сословную или классовую ограниченность. Она проявляется под чужими и неподходящими именами. Стремление к государственному единству предстает как мечта о социалистическом, пролетарском, рабоче-крестьянском государстве. Необозримы разнообразие и число всех этих вновь возникающих групп, из которых всякая притязает стать кристаллизационным центром новой государственности и большинство из которых быстро погибают во взаимной борьбе. Для революционной «анархии» характерно не то, что не признается власть, а то, что *всякий признает себя властью и считает себя ее носителем*. Государственность распыляется, индивидуализируется. Каждый осознает ее в себе, как активное начало власти. Революционная анархия — как бы доведенный до своего предела, но утративший начало иерархии феодальный строй, не анархія, а *панархия*. И сколь бы эгоистичен индивидуум ни был, в его притязании на самоутверждение и власть живет стихия государственности. Не даром умный грек называл человека «животным политическим».

Всем этим не отрицается, что в революционной анархии всплывают всякие эгоизмы. Так и должно быть в момент гибели старых форм государственности и нарождения новых. Эгоистические стремления и есть проявления умирающей старины, которая изживает себя в гибели своей государственности. С другой стороны, этот эгоизм является как бы методом испытания государственной стихии в среде, повидимому ее потерявшей. Это — действенное «gnothi seauton» народа, его страшный эксперимент над самим собой. Существо революции в том, что все соки старой государственности собираются в один гнойный нарыв, обособляющийся от здоровых тканей (ремиз saccata) — в старый правящий слой, а здоровые ткани остаются без государственных соков. Нарыв лопается и заливает все гноем, а здоровые ткани должны нейтрализовать этот гной и выдавить из себя новый сок, что не может обойтись без повышения температуры и острых страданий. Хорошим средством представляется дренаж рапа — отводящий во вне в виде эмиграции. Плирома народной жизни осталась вне старой государственности и вынуждена, если не хочет погибнуть, в самый краткий срок заменить старые, создававшиеся десятилетиями старые формы новыми... В насильнике сочетаются сама стихия государственности, как активное властвование, и его эгоистическое самоутверждение, законные грани которого определяются лишь путем борьбы всех против всех. Но и насильнику импонирует реальная, жестокая сила. В признании ее стихия государственности раскрывает другой свой аспект — аспект подчинения.

Итак воля народа к новой государственности обнаруживается прежде всего, как появление на поверхности народной жизни слоя насильников, честолюбцев и фанатиков. Это и можно обозначить, как *третью фазу революции*. Государственность, утратив историческую и религиозную санкцию, проявляется в виде грубой, но потому именно импонирующей силы, снова разделяя народ на «управляющих» и «управляемых». Это разделение становится даже более резким, чем прежде, так как реальное и непосредственное властвование усиливается за счет опосредствованного и формально не определимого властвования интеллигенции. Ту среду, которая является преимущественным питомником новых носителей власти, составляют старые активные враги дореволюционной власти — революционеры типа злостных завистников, экспроприаторов и авантюристов, революционеры-фанатики и, в значительной мере, деклассированные и уголовные элементы, говоря вообще — наименее морально-ценные люди, носители грубой стихии насилия, по московской терминологии XVI-XVII в. — «воры».

У революционного правящего слоя, почти совпадающего с новым правительством, нет ни государственного опыта, ни новых государственных идей, ибо идеи интеллигентов-революционеров — старые, еще до-революционные идеи, отвлеченные, бесплодные и уже, казалось бы, доказавшие свою нежизненность. Между тем для нового государства мало еще одной воли, хотя бы и самой непреклонной. — Всякий политический акт нуждается, если и не в осмыслении, то, по крайней мере, в примитивном идеологическом обосновании. Та, либо иная идеология необходима, как внешняя форма государственного сознания и утешительное средство для оправдания конкретных политических актов. Особенно же необходима идеология в эпоху революции, когда все разрушено сомнением и остро желание хоть за что-нибудь ухватиться. Конечно, идеологии в разной степени, хотя всегда очень несовершенно, отражают народное миросозерцание; перед революцией и во время ее они чаще всего это миросозерцание искажают. Кроме того они больше отражают прошлое, только проецируя его в будущее, да еще упрощая и прибранивая. Настоящему нужны конкретные задачи и решения, которые часто с одинаковым успехом ставятся и решаются противоположными идеологиями. Как определение же будущих задач, идеология возможна лишь в самом общем и не обязывающем виде. Здесь всякая конкретизация ее, всякое превращение ее в обязательный принцип поведения опасны, свидетельствуя либо о старческом маразме либо о младенческом недомыслии.

Здоровая государственность живет не схематическою, до деталей разработанною идеологией и не вытекающими из нее «реформами» и «планами», а злобою дня сего, хотя злоба эта всегда идеологически осмысляется. Вреден для себя и для других всякий идеолог—будь он «философом» XVIII в., толстовцем или социалистом — если он превращает свою жизнь в планомерное осуществление своей идеологии, т. е. если он становится доктринером, если идеология из обоснования его конкретной деятельности превращается в жесткую программу. То же самое справедливо и для власти. Зло якобинцев и коммунистов не столько в ложности и ограниченности их идеологии, сколько в их доктринерстве и *потому* в неспособности к развитию. И всякая идеология, которой отведена будет такая же роль, как в России коммунизму, будет губительна и смешна. Повторяю, без идеологии не может быть власти, особенно власти революционной. Но, признавая необходимость идеологии, надо сознавать ее относительность, т. е. поскромнее оценивать свои умственные способности и таланты. Худо или хорошо, но идеология пытается выразить абсолютные основания культуры, народа, государства, старается наметить культурно-национальные идеалы и миссию. Эти цели, к которым устремлена всякая идеология, *должны* быть у всякого государства. Назовем их хотя бы словом *«идейность»*. Однако во всякой идеологии идейность находит себе лишь несовершенное, ограниченное и ограниченностью своею опасное выражение; совсем же вне идеологии идейность не уловима. Поэтому, во-первых, нельзя смешивать идейности с идеологией, а во-вторых — не должно абсолютировать вторую, что является абсолютизацией ее ограниченности, но должно сознавать абсолютность несовершенно конкретизируемых ею идей. К сожалению, именно этого никак не могут понять ни революционеры, вроде якобинцев или коммунистов, ни контр-революционеры, вроде наших реставраторов в эмиграции.

В эпоху революции нет еще никакой новой идеологии — только старорежимные. Это прежде всего идеология прежней власти, за которую хватаются все испугавшиеся революции и обреченные на гибель в борьбе или в эмиграции. Эта идеология надолго скомпрометирована и бессильна. За нею выдвигаются оппозиционные идеологии прежнего правящего слоя. По существу они однородны с первою и так же, как она и выдвигавший их правящий слой, обречены на умирание. Из них лишь нечто сможет впоследствии ожить, но нечто оживет и из старой правительственной идеологии, ибо всякая идеология отражает идейность. Во всяком случае, однако, оппозиционные идеологии именно в силу своей оппозиционности и чрезвычайной простоты (ведь сочиняли их люди, мало знакомые с государственной машиной) пользуются некоторым кредитом, и тем большим и более длительным, чем они радикальнее и проще. Особняком надо поставить одну из них — самую элементарную и радикальную. Как раз она наиболее соответствует элементарному сознанию бушующих масс и не многим более сложному сознанию правящего слоя. По своей радикальности она способна удовлетворить и революционера-разбойника и даже уголовного преступника, который сотрется от старого мира, но сохранил свою преступность. Наконец, она может быть идеологией фанатиков и хотя и мнимо, но по видимости абсолютно оправдать обуревающий их пафос борьбы и разрушения, который они считают пафосом творчества. Она естественнее, скорее и легче связывается с необходимыми примитивными оказательствами государственной силы. В своей убогой простоте она не видит всей сложности социально-политической жизни, которая к тому же упрощена в революционном процессе, и не располагает к нерешительности и колебаниям.

Natura non facit saltum.—Процесс нахождения революционной власти протекает хотя и бурно, но последовательно. — На смену павшему правительству поднимаются прежде всего оппозиционные слои прежней правящей среды, притом даже сменяя друг друга в порядке возрастающего радикализма. Безвольные и бессильные, новые временные правители за неспособностью управлять начинают излагать свою идеологию. Они иногда искренно верят, что произносимые ими речи, провозглашаемые ими прокламации и резолюции, сочиняемые ими законы имеют какое-то значение. Они верят в силу слова, своего жиденького слова, а патриотический подвиг свой измеряют количеством часов, отнятых у сна, или числом пустых бутылочек от потребляемого возбуждающего средства. Они убеждены, что управляют, а на самом деле послушно идут за влекущею их стихией, которая в конце-концов их уничтожает. Она же выносит на смену им уже охарактеризованную

нами революционную власть, фанатиков, насильников и злодеев. Это власть дела, приносящая с собою свою примитивную идеологию, которая, устраняя все другие, устраняет до поры до времени и все идеологические споры, ибо сама она столь элементарна, что не может вызвать не только споров, а и мысли. Впоследствии такая идеология все более и более будет обнаруживать свою вредоносность, своею абстрактностью и косностью мешая жизни. Революционная власть будет совершать разумные и полезные акты лишь тогда, когда необходимые, конкретные меры случайно совпадут с идеологическими предпосылками, что вместе с усложнением жизни будет встречаться все реже, или когда практика власти разойдется с ее идеологией, что будет быстро учащаться. Но на первое время идеология новой власти достаточно удобна, особенно же потому, что основным ядром нового правительства являются фанатики — «святые», якобинцы, коммунисты. В фанатизме вождей вновь приоткрывается религиозная природа революции; и фанатизм вождей сплачивает революционный правящий слой, из которого выходят Кромвели, Дантоны и Ленины.

8

Силою естественного внутреннего развития революционная «анархия» приводит к созданию революционного правящего слоя*), носителя и выразителя государственной стихии в ее примитивнейших обнаружениях, идеологически же — ничтожнейшего эпигона худшей из старых интеллигентских идеологий. Но для того, чтобы революционная власть могла утвердиться, нужны не только сознание народом ее необходимости и некоторая идеология, одушевляющая ее и в известной мере близкая массам. Нужна еще простая и жесткая организация или *партия*, появление которой и свидетельствует о жизнеспособности нового правящего слоя. Эта организация не может быть собственно-государственною. Ведь государственные органы, старые, которые уцелели и только переименованы, а то остались и без переименования, или новые по типу старых, сами по себе не обладают ни санкцией ни силою. Они должны еще врасти в жизнь и себя оправдать. Они бессильны пред лицом народной стихии, от имени которой хотят говорить, пред мятежной толпой и даже самочинными организациями. Править только с ними и чрез них значит идти за бушующей толпой, пытаясь увлечь ее личным обаянием или ловко обмануть. Ни то ни другое длительно невозможно (Дантон). Поэтому существенно необходимою представляется самоорганизация правящего слоя, которая бы давала ему возможность проводить и, если нужно, навязывать свою волю.

Такая организация осуществима в виде военной диктатуры и партийной армии (Кромвель). Она осуществима и в виде стройной военно-подобной партии. В такие партии организовались якобинцы и коммунисты; и подобная же партия, вероятно, потребуется после преодоления коммунизма. При этом не важно, существуют ли зачатки такой партии еще до революции в виде какой нибудь подпольной и даже эмигрантской организации или она возникает в процессе революционной анархии. Важно, что она в тот или иной момент становится организацией правящего слоя и костяком новой государственности. Она сосуществует с фактически ей подчиненными общегосударственными учреждениями, непрерывно меняющими свой облик и врастающими в жизнь. Эти учреждения бессильны, если они не опираются на партию; но для партии они — необходимое орудие управления, тот государственный аппарат, без которого она не может властвовать и которого не может создать из себя. В государственном аппарате находит себе место старая административная техника; и в нем же по преимуществу происходит перерождение элементов старой государственности. Существование общегосударственных органов подчеркивает связь нового правящего слоя с народом и внешне выражает народность революции.

Дуализм тиранической партии и государственного аппарата представляется необходимым во всякой «удачной» революции. Напротив, акт необходимости, чтобы аппарат этот существовал в виде представительных учреждений, что, впрочем, естественно там, где они уже существовали, и наиболее соответствует общенародности революции и несколько наивному отожествлению общенародного акта с актом всеобщего голосования. Практически самым нецелесообразным является возможное сохранение традиционных форм и преобразование их лишь в меру настоятельных конкретных потребностей (ср. Англию); хуже — абстрактные выдумки и хуже всего, если эти выдумки сочетаются с подражательным воспроизведением чужого, неизбежно мешающим конкретно-органическому. В этом отношении надо предпочесть русский революционный процесс французскому и благодарить судьбу за умственную убогость и невежество большевиков, которые свели их пататорский пыл на любовь к иностранным и заученным словам и на изобретение сравнительно безвредных по своей абстрактной схоластичности схем; в абстрактные схемы могло проникнуть конкретно-жизненное содержание. Да и сама наивная вера в способность «пролетариата» к творчеству совершенно нового заставляет не воспроизводить буржуазное, а искать. Так были нащупаны реально-важные проблемы: конечно, *идеи* «федеративности» и «советской системы» скрывают в себе богатые возможности будущего национального развития, тогда как «учредительное собрание» и «парламент», хотя бы и под славяно-славянофильским именем «Думы», могут ему лишь мешать. Особенно опасным в период окончательного падения коммунизма

*) Революционный правящий слой мы отличаем от нового правящего слоя, как временный и переходный в том смысле, что идеология и идеологически неисправимая часть его к концу революции исчезают, и в том, что являющаяся основою будущего нового слоя часть его находится в периоде образования и становления.

может оказаться «учредительное собрание», ибо — найдется ли второй Железняк?

Как бы то ни было, в государственном аппарате идеология и воля правящей партии конкретизируются и потому очень часто с великою пользою для государства и народа превращаются в нечто совершенно противоположное исходному замыслу или импульсу. С другой стороны, чрез него же главным образом конкретные нужды жизни заставляют партию на них отвечать и к ним приспособляться, властно перерождая ее идеологию и часто превращая ее в несоответствующую содержанию вывеску. Наконец, в государственном аппарате, который по персональному своему составу частично совпадает с партией, происходит амальгама нового со старым. Живя и действуя по мудрому примеру «болота» во французском конвенте, старые люди невольно ассимилируются с новыми, как и обратно. И те и другие перерождаются в правящий слой ближайшего будущего, который рано или поздно заменит собою революционный правящий слой и сделается основанием новой, после-революционной государственности.

То-же самое нарождение нового совершается и во всей народной массе, понемногу застывающей и приобретающей некоторые очертания. Но настоящие люди будущего не те, которые «благородно» бегут заграницу или выбрасываются туда силою вещей, а те, которые пядь за пядью отдают старое, приспособляются и подчиняются силе, все время меняясь внутренно и через год-два уже не узнавая в себе прежних «борцов» за погибшее. Сентиментально-риторическая Европа сооружает бездарные памятники и зажигает газовые лампадки (и экономно, и неугасимо, и — последнее слово техники) на мнимых могилах «неизвестного солдата». Может быть, потомство вспомнит о «неизвестном обывателе». Он не рисковал жизнью в контрреволюционных вспышках, хотя, когда приходилось, умел умирать за контрреволюционную риторику других, находившихся в безопасности, и умирать мученически и со скромным героизмом: так, как умер император Николай II. Этот обыватель испил до дна чашу унижений, видел крушение всех своих надежд, гибель близких и... не озлобился. Он приспособился ко всему и все же сохранил нить, связывающую его с больною народной душой, и как то принял ее искания. Зато он войдет в новую жизнь, создаваемую его смиренным терпением, его трудом, слезами и кровью. Его героизма не замечают, потому что офранцузившиеся русские люди считают героями только «рыцарей без страха и упрека». Его оплевывают за малодушие и подлость перед людьми. Но есть еще подлость и малодушие перед своим народом и Богом. Их у него не было. Он остался верным Правде, и потому он мог ее распознать за тою грязью, которою она была покрыта. Лицемерные же обличители, лицемерные потому, что теперь уже не угрожают ему своим Шемякиным судом, а уверяют (конечно, с высоты своего нравственного величия) будто понимают его положение, эти обличители Правды видеть не хотят.

Исключительного значения процесс начинается и в самой партии, лишь только она укрепит и обеспечит свою власть. — Под влиянием государственного аппарата и непосредственных воздействий жизни партия вынуждена конкретизировать свою идеологию. И хотя она понимает эту задачу извращенно, хотя ее «теоретики» мечутся, как угорелые, в хаосе все новых и новых дистинкций, понятий, терминов, — партийная идеология неудержимо вырождается в бессодержательную фразеологию, ибо для всякого доктринерства конкретность равнозначна гибели. Сталкиваясь с жизнью, интеллигентская идеология оказывается бессильною ответить на простейшие вопросы: их-то она как раз и не предусмотрела, о них-то и не подумала. Если же эти доктринеры пытаются что-нибудь свое осуществить, — получается либо противоположное, либо глупость, либо пустая вывеска.

Историк не должен уподобляться быку на известных испанских развлечениях и простно бросаться на красную тряпку. Красной тряпкой покрываются весьма различные предметы. — В политике революционной власти надо различать — выполнение ею конкретных и жизненных государственных задач, фразеологию и — только на третьем и последнем месте — партийно идеологическую политику. Ее губительности не следует ни преуменьшать ни преувеличивать. И в начале партийного господства идеологическая окраска (вывеска) актов власти ярче и крикливее, но сами акты отличаются большею жизненностью: дело сводится к простому переводу государственно-необходимого на язык якобинцев или коммунистов. Напротив, вместе с усложнением жизни лексический материал этих примитивных наречий все более обнаруживает свою скудость и все чаще появляются менее яркие, но зато и более вредоносные попытки осуществить меры, диктуемые только идеологией. Так все реквизиции, борьба со свободною торговлею, «советизация» и т. д. в первый период большевицкой революции диктовались *государственной* необходимостью, хотя и понимались и объяснялись как введение коммунизма. Это, конечно, касается только организационного ядра мероприятий. Проводились же они совершенно недено, так что в процессе их осуществления большое количество благ просто пропадало. Дешево революция никогда не обходится. Даже Коминтерн не без успеха выполнял функции русского министерства иностранных дел, которое в прежнем виде при временном бессилии России было бы абсолютно недейственным. Зато борьба с «Нэном» и, в значительной мере, «плановое хозяйство» являются чистыми и потому вредными продуктами абстрактной идеологии. Но это уже признак ее разложения, за которым стоит и разложение самой партии. Рецидив коммунистического пафоса такой же симптом близкого конца, как «эбертизм» и последний террор Робеспьера. Фанатики уже нуждаются в действенном оправдании своей идеологии. Они, значит, уже усумнились в ней, но, как люди малообразованные и малоразвитые, нуждаются в эксперименте. Оттого то симптомом близкого конца и является борьба на «идеологическом фронте». Социально-хозяйственная сторона жизни аргумен-

тирует быстрым, убедительным и для доктринера образом — нищетой и голодом. Здесь есть не одолимые ни для какой идеологии границы экспериментирования. Последствия идеологического коверкания техники и медицины улавливаются уже не столь легко и скоро. Для того же, чтобы оценить значение чистых наук, особенно же наук гуманитарных, не только для философов-коммунистов, а и для многих старо-режимных инженеров и физиологов требуется лет 10-15. Философ и замнарком Покровский додумался пока только до важности хронологии. Таким образом именно в борьбе с «буржуазными» религией и наукой, в походе на церковь и предрассудки «буржуазной нравственности» могут перед концом своим всласть позабавиться идеологи.

Надо понять весь внутренний трагизм постепенно проникающейся государственными идеями и навыками партии. — «Славные вожди» связаны своею собственной безответственной болтовней. Они бы и рады многое взять обратно, а тут еще «Госиздат» печатает полные собрания их сочинений. Да и как от всего отказаться? Чем жить несчастному доктринеру, если только идеология маячит еще в зияющей пустоте его душонки? С другой стороны, от всего отказываться неудобно и опасно потому, что снизу прут молодые товарищи. За этими товарищами нет уж никакого государственного опыта, и они еще менее развиты и образованы, чем «вожди». Зато они уверовали в пламенные слова «вождей», когда те еще были одушевлены «истинами» коммунизма, и теперь кричат о компромиссах и измене.

Партия не остается неизменною. В нее быстро вливаются новые элементы. Из новоприходцев одни искренно разделяют ее идеологию, но раньше недостаточно верили в ее осуществимость или боялись; другие — чуят за совершающимся какую то правду или надеются что-то изменить; третьи—просто стремятся себя уберечь или преуспеть. Как ни сильны партийная дисциплина и тиранния кондовых коммунистов, увеличение партии опаснее для нее, чем увеличение числа братьев для монастыря или ордена. Весь этот человеческий материал переработать невозможно, да еще переработать в духе идеологии, которая отражает не новое, а старое и уже осужденное жизнью. С затиханием революции и укреплением партии слабеет и гаснет пафос борьбы и опасности, скрепляющий дисциплину. Идеология, как мы знаем, становится фразеологией, а на фразах далеко не уедешь.

В партии тоже свое болото, незаметное сначала, как тина на дне глубокого колодца. Это болото — «существует» в ожидании своего часа. А час его пробьет, когда измотаются и начнут разлагаться партийные верхи. Растущее бессилие верхов, грызня, а иногда и взаимоуничтожение «вождей» заставляют их искать себе точку опоры на зыбкой почве двух сливающихся болот. Это открывает возможность для активного выступления «болотных людей», которые по самой природе своей прячутся за спины борющихся,

стараются идти наверняка и не рисковать. Поэтому и победа болота еще не ведет к немедленной отмене фразеологии.

9

Уже давно, и не без некоторого основания поговаривают и пописывают *о большевицком термидоре*. Но так же, как на мирного обывателя наибольшее впечатление производят не стратегические передвижения, а выстрелы из пушки, так же и любители истории считают началом новой эры термидорианский «денек», аналогий которому в русской действительности, к сожалению, не видать. Но 9 термидора является лишь ярким эпизодом, к тому же совсем не существенным в процессе перерождения якобинской власти. — К этому времени террор сделал все, что мог: обосновал революционную власть и вполне использовал партию. Ни внешнею ни внутреннею мотивированностью он уже не обладал. Террор сыграл свою роль и не было никакой нужды в новых жертвах. Робеспьер так же спокойно мог пойти на ослабление террора, как под давлением общественного мнения пошли на это победители термидора. В конце концов не столь уже существенно, как закончится террор: путем кровавого переворота или путем постепенного смягчения. Мне кажется, что товарищ Джугашвили был прав, восставая против физического взаимоуничтожения. Трудно, конечно, сказать, не ослабляет ли обеспеченность коммунистической жизни партийную дисциплину и не обнадеживает ли болота на большую активность. Но вероятно и здесь, как везде: чем меньше крови, тем скорее и безболезненнее наступает лизис.

Робеспьер защищал террор, как орудие известной идеологии, которую он пытался навязать пользуясь политической необходимостью террора. С нею приходилось временно мириться, даже тем, кто ее не разделял, потому, что приходится мириться с некоторыми неприятными свойствами незаменимого палача. И если его «политика» представляет собой апогей революционного доктринерства, далеко оставляющий позади не только бертистов, а и наших коммунистов, его казнь является ярким заключительным актом, «coup de théâtre», не обладающим, впрочем, имманентною необходимостью в революционном процессе, хотя, может быть, и таинственным для нации Корнеля.

Господство Робеспьера столь же завершает одну фазу революции, сколь начинает другую, и в этом отношении 9 термидор вовсе не кажется датою. Насильственно осуществляя свою старо-режимную идеологию, Робеспьер ведет политику *личного* своего интереса и самолюбия. Он *начинает* ряд «термидорианцев», достигающий вершины в беспринципной и циничной фигуре Барра. То, что Робеспьер считает свой личный интерес интересом государственным и религиозным, дела нисколько не меняет. Таких же «слу-

жителей идеи» мы находим и сейчас среди изживающих интеллигентские идеологии революционеров слева и справа, ибо многие правые по доктринерской своей природе те же «большевики» с вывороченной только на изнанку идеологией. Недавно мы читали кощунства о «православном мече» и даже о том, что Христос рекомендовал квалифицированную смертную казнь. Автор должен считать себя снисходительнее Христа, так как, предполагаем, ограничится пулей или веревкой в воздаяние за «тот состав настроений и деяний, за который евангельское милосердие определило, как наименьшее, утопление с жерновом на шее». Узнаем маленьких Робеспьерчиков, росту и карьере которых мешает только маленькое же обстоятельство: «бодливой корове Бог рог не дает».

«Подобно Хроносу революция пожирает своих детей». — Красноречивый Вернь улавливал весьма существенную сторону революционного процесса, но он воспринимал ее слишком внешне — со стороны личной судьбы, индивидуальной жизни и смерти. На самом деле физическое уничтожение революцией своих вождей лишь одно из возможных проявлений их политической гибели. Важно не то, что Эбер, Робеспьер, Сен-Жюст складывают голову на гильотине, а то, что они оказываются ненужными, — сыгравшими свою маленькую роль, но все еще претенциозными актерами, живыми мертвецами, назойливыми и вредными прожектерами. И даже не в отдельных людях дело, а в общем процессе, людьми осуществляемом.

Возникновение тиранической партии и воссоздание государственного аппарата являются единственно возможным переходом от революционной «анархии» к новой государственности. Захватывающая власть партия неизбежно связывает собирающуюся в ней волю к власти с идеологией дореволюционных революционеров. Содержание этой идеологии до *некоторой степени отражает народную стихию*, преимущественно — с ее революционно-отрицательной и разрушительной стороны. — Отрицание всего старого (за исключением одной из старых идеологий), «пораженческие» настроения эмиграции, которые не раз выливались в желания всяких неудач возглавляемому пока большевиками *Русскому* Государству (война с Польшей, восстание в Грузии, большевицкая политика в Китае, вопрос о «признании» и мн. др.), оспаривание (вовсе не об'ективное) всяких признаков экономического и политического под'ема, все это — типичные свойства «революционера», как существа, отрицающего действительность во имя будущего, которого не будет, или прошлого, которого не было. Эти свойства характерны для «революционера», в какую бы краску он ни был выкрашен: в красную или в белую. И, право, маниакальная надежда на иностранную интервенцию если чем и отличается от готовности пожертвовать Россией в пользу коммунизма, так только меньшею продуманностью и еще тем, что укрепившиеся в России *вынуждены* защищать ее интересы и неизбежно национализируются, а эмигранты-интервентисты столь же неизбежно денационализируются и связаны не с живою Россией, а с архаической и бессильной мечтой. Для

революционного процесса в целом указанные свойства у белых столь же «существенны», как контр-революционная деятельность одного моего случайного петербургского знакомца: на вопрос любого приезжего, как пройти на такую то улицу, он всегда указывал обратное направление, чем и подрывал по мере сил советскую власть. В положительной своей части всякая революционная идеология (значит, и контр-революционная, т. е. отрицающая *факт* революции), в лучшем случае, отражает лишь *некоторые жизненные идеи народа*, но в такой абстрактной форме, что они остаются неосуществимыми. Сама же по себе революционная идеология отвлеченна, бессодержательна и, поскольку ее пытаются осуществить, неисчерпимо вредна.

Поэтому, когда революционный правящий слой выполнит свою задачу, т. е. когда он своим утверждением в качестве фактической признанной власти закрепит отрицание старого правящего слоя и сделает восстановление его невозможным, — он явно обнаруживает беспомогательный и условный смысл своего бытия. Он жил бессознательною волею к власти и сознательным отрицанием всего старого, хотя и воображал, будто живет сознательно-творческою волею к будущему. Лишь только отрицание становится уже ненужным доктринерством, как оказывается, что положительного то, собственно, не было и нет. С идеологией Руссо или марксиста можно жить только в мансарде, а никак не в нормальном государстве. *Сама жизнь требует преодоления старых идеологий*. Она уходит от них, и партийная идеология должна засохнуть.

Так революция переходит в новую, четвертую фазу. — Выдвигаются люди, потерявшие свою идеологию, а с нею и скромный запас своей совести. На место воров-идеологов приходит просто-воры. У правящего слоя остается лишь голая власть, смысла которой она понять уже не может. Да и власть новой формации воров держится уже не напряженною волею к ней, а — создавшеюся революционною традицией, окрепшим государственным аппаратом и начинающей разлагаться партийной организацией. «Правители» живут изо дня в день, заботясь о себе и — по необходимости и в видах самосохранения выполняя государственно-настоятельные задачи. Идей и идеологии у них по существу уже нет; зато есть «палаты неудобь сказуемые», наворованное и накопленное добро и государственные навыки.

«Да, широконько размахнулись! — На Ленина. А теперь назад не поворотить,—нет». Примерно ту же мысль, что и выраженная в этих словах одним мужичком-шлиссельбургского уезда в 1919 г., высказывал и один пленный офицер во время наступления Юденича на Петербург. Он прямо кипел от ненависти к белым: «Оставьте! Сначала надо разогнать этих предателей и изменников. Большевиков мы и сами переварим». Оба отнюдь не были коммунистами, и я не склонен об'яснять их позицию каким-нибудь личным или классовым эгоизмом. Победа же красных над белыми, которые в военном отношении стояли, во всяком случае, не ниже и настроены были не ме-

нее патриотически, показывает, что народ стоял за большевиков и что приведенные сейчас слова характерны. Он стоял за них не потому, что отрицал великую Россию, за которую самоотверженно проливали свою кровь и отдавали свою жизнь герои белых армий, но потому, что не видел за героическим патриотизмом белых национально-государственной идеи и не хотел ни спрятавшихся за белыми знаменами идеологов старого ни самолюбивых, но ничтожных, на миг вынесенных революционным водоворотом на поверхность политических авантюристов. Не белых героев и мучеников осуждал русский народ, а тех, кто притязал на руководство ими, губил их и пытался погубить новую Россию, да и теперь еще пытается. Однако, защищая большевиков, русский народ не коммунизм защищал. Ведь дикие расправы крестьян с коммунистами и, позже, упорное пассивное сопротивление именно «идеологическим» мерам слишком значительны, чтобы допускать сочувствие коммунистической программе. Коммунизм сознавался широкими слоями русского народа, как неизбежное временное зло, неизбежное потому, что народ сознавал настоятельную необходимость сильной власти, а кроме большевиков-коммунистов не было годных кандидатов. «Мы подаем за большевиков: их больше». Эта мотивировка голосования в Учредительное Собрание вовсе не так глупа и наивна, как думали интеллигенты, не понимавшие народного юмора. А лозунг: «мы за большевиков, но против коммунизма» и действительно мудрая, хотя и преждевременно появившаяся формула.

Описывая после-термидорианский период французской революции, «эпоху директории», историки обычно подчеркивают растущее равнодушие общества к политическим вопросам, усталость от политики. Точно в нормальное время политикою все страстно увлечены, и точно не всегда она является уделом сравнительно небольшой группы. «Страна устала от революции и политики». — Однако армии этой «усталой страны» одерживают все новые победы, генералы начинают вести свою и довольно энергичную политику и становятся государственными людьми и дипломатами, наступает оживление экономической жизни. Историки обстоятельно рассказывают о балах, о похождениях и нарядах гражданок Тальен и Богарнэ. А разве это не признак оживления? Что значит вообще заинтересованность общества политикой? — Любовь поговорить на общие философски-политические темы? Но всю бесплодность и нереальность подобных разговоров достаточно уяснили говоруны и доктринеры в национальных собраниях, клубах и на площадях. Едва ли разумный и деловой человек в современной России будет склонен обсуждать партийные программы, социалистические теории и прочие отвлеченности и называть политическою деятельностью,

то, что понимали под этим именем дореволюционные студенты, дореволюционное интеллигентное общество или завсегдатаи салонов XVIII в. Если все это волнует еще эмиграцию, так на то она и эмиграция, т. е. пережиток погибшего прошлого. В период революционного под'ема и революционной борьбы политика затрагивала жизненные интересы каждого; при всем доктринерстве политиков деятельность их была конкретною, воспринималась как таковая, может быть, как раз благодаря их доктринерству. Нельзя не интересоваться обороной страны, кровавыми расправами, которые угрожают всякому реформами в «мировом масштабе», оказывающими свое воздействие не на мир, а именно на обывателя. Но идеология повыветрилась, ничего «мирового» больше не придумаешь; наступили серые будни революции. Кому они могут быть интересными? Кого может увлекать техническая работа специалистов, кроме них самих? Разумеется, жизненные задачи народа все еще стоят перед ним. Но они детализировались. Революция переходит в стадию своей конкретизации, в стадию медленного органического развития, которое всегда неприметно и для большинства не интересно.

Революционный правящий слой за исключением своей уже ни на что негодной верхушки переходит, как и страна, к серой повседневной работе. Воля и сознание народа получают возможность своего нормального и постоянного оформления в кристаллизующемся правящем слое, а «верхушка» ничем удивить не может и не хочет. У нея нет прежней воли к власти — волевая и государственная стихия народа нашла себе (говорю о Франции) иную точку приложения там, где встают наиболее жизненные проблемы. — Армия собирает в себе государственность и волю народа. В армию переливается все живое и действенное; и в ней же порождается новая идеология (Ош, Наполеон). Так же ранее все концентрировалось в конвенте и якобинской партии. А победами армии интересуется даже гражданка Богарнэ. Дело тут совсем не в усталости. «Усталая страна» дала и внешний и внутренний блеск империи, создала Code Napoléon и великолепную администрацию, смогла вынести напряжение непрерывных войн до 1815 г. и не погибнуть. Чувство усталости специфично для начального периода революции и для эмиграции. Здесь же дело не в усталости, а в иной точке приложения государственной стихии. Странно, что историки, вселившие даже в бедную головку шестнадцатилетней гимназистки положение: «Наполеоновская армия была сильна духом организованной демократии», понимают армию примерно так же, как понимая ее Аракчеев. Если бы народ от революции «уставал», не следовал бы за революцией период национального и государственного расцвета (колониальная империя Англии, империя Наполеона).

«Аполитизм» широких слоев об'ясняется, с одной стороны, тем, что государственная стихия, входя в свое нормальное русло, концентрируется в правящем слое и—там, где есть к тому данные—утекает в армию, а с другой стороны тем, что народ чувствует свою революцию уже обеспеченной.

Он уже обладает новым правящим слоем — теми, которые переродились за время революции и частью приняли на себя бремя жизни и незаметной, но тяжелой и конкретной деятельности в болоте государственного аппарата, и теми членами партии, которые очухались от своего доктринерства или носили только личину его в целях самосохранения и тоже сидели в болоте. Однако этот правящий слой не может уже возглавляться «вождями революции», которые безнадежно себя скомпрометировали и среди которых очень немногие обладают таким чутьем реальности, как Кромвель, Дантон и, несмотря на весь свой тупой фанатизм, Ленин. К тому же часть нового правящего слоя — говорим о Франции — находится в армии; и проблема заключается в амальгаме этой части с годною частью революционного правящего слоя, т. е. в консолидации нового правящего слоя.

Таким образом встает последняя проблема революции. — *Народ должен найти свое настоящее правительство*, которое бы в тесной связи с правящим слоем взяло в свои руки выпадающую из рук его главарей власть и покончив с революционным доктринерством, осмыслило новую государственность и само появление свое во главе ее *ясными и конкретно действенными идеями*. Этих идей создать революция не может: революция является так сказать формальным процессом. Национально-жизненные и абсолютно обоснованные идеи коренятся в глубине народного сознания; и революция, потрясая его и разрушая их искажения в идеологиях, может лишь способствовать их нахождению, принципиально мыслимому и без всякой революции. Поэтому *новая национально-государственная идеология возобновляет связь с прошлым и возвращает народ на его историческую дорогу*, с которой он сошел в эпоху революции, иногда же и задолго до нее.

Конечно, намечаемый процесс может и не совершиться или совершиться только в малой степени. Большие трудности лежат не только на пути к нахождению национально-государственной идеологии. Труден и самый переход к новой власти. Кто сможет его совершить? какие, пока еще неизвестные лица? И какая сила даст последний решающий толчок в грудь или в спину заколебавшемуся уже революционному правительству?

11

Не выходя за пределы феноменологического исследования, можно только в общих чертах наметить сферу проблем, с которыми связаны новые национально-государственные идеи. — Прежде всего должен быть упорядочен хаос политических отношений, в котором старое перемешалось с новым, а новое частью случайно и ненужно, частью намечает существенное, но неудачно выражено и фрагментарно. Эту задачу не совсем правильно, хотя и высокопарно принято называть «закреплением завоеваний революции». И она шире того, что в нормальных условиях об'емлется понятием «политического». Ведь в революции вся жизнь, все ее сферы и стороны предстают как «политическое». А потому консолидация революции распространяется и на так называемые социально-экономические отношения, которые вместе с застыванием народной стихии снова обособляются и могут быть противопоставляемы политическим в специфическом смысле этого слова.

К определению и утверждению политического и социально-хозяйственного строя стремилась и революционная власть. Но, во первых, она писала свои законы и кодексы на поверхности несущегося потока или случайно и несистематически санкционировала то, что само собою росло и крепло. А во вторых, она пыталась на место создающегося скелета подсунуть непрочную и никому не нужную сеть своей идеологии. У нее не было положительных задач. Не следует, однако, понимать проблему новой власти превратно. — Ее задача не в том, чтобы создать какой-то незыблемый строй, а в том, чтобы найти его основания и открыть путь органическому развитию, из за остановки которого взрыв и произошла сама революция. Поэтому политические и социальные формы могут еще много разменяться. Еще не миновало время исканий — миновало лишь время экспериментов и фантастики и стало возможным воссоединение нового с традиционным, прошедшим через огонь революции.

Политическое самосознание и самоопределение народа не может быть только внутренним: оно должно направиться и во вне — быть самоопределением народа в его отношении к другим народам-государствам. Поэтому-то всякая революция теснейшим образом связана с международными войнами и потрясениями. Революция начинается с войны или завершается войнами; иногда же — и то и другое. И новая национально-государственная идеология всегда так или иначе распространяется на сферу международных отношений. На одно из оснований этого — на обострение национально-государственного сознания — мы уже указали. Есть и другое, более глубокое. — Всякий народ входит, как живой организм и орган, в некоторое большее, неудачно называемое между-народным единство, которое является высшею симфоническою личностью. Так народы-народности России слагаются в народ-культуру, которая до революции называлась Россиею и которую правильнее назвать Россией-Евразией. Такою же симфоническою личностью является Европа, состоящая их ряда народов-государств. Однако не только евразийско-европейское, но и европейское единство еще не актуализовалось до степени личного бытия, не вылилось в форму государственности, как Евразия. Единство (даже только европейское) выражается здесь лишь как неустойчивая система союзов, антант и коалиций, как священные союзы и лиги наций, немногим больше связывающие друг с другом европейские народы, чем любой из них с Бразилией. Тем не менее это единство, эта симфоническая личность известною эмпирическою реальностью все же обладает. И естественно, что оно сказывается в эпохи революций. А. Сорель очень хорошо показал, что французская революция была, собственно говоря, об-

щеевропейским процессом, во Франции достигшим лишь своего кульминационного пункта. Аналогично отношение между английской революцией и обще-европейским реформационным процессом, который и заканчивается английскою революциею и тридцатилетнею войною. Несколько иначе обстоит дело с русскою революциею, что об'ясняется противостоянием «Европа — Евразия». Будучи государственным перерождением Евразии, которое обусловлено натиском на нее со стороны Европы, русская революция есть вместе с тем и реакция России на ее европеизацию, и саморазложение европейской культуры, принявшее особенно острые формы именно в России.

Таким образом во «внешнем» и «внутреннем» самоопределении народа проблема заключается не только в установлении форм его политического и «международного» бытия и не только в раскрытии специфических ценностей его государственности и культуры. Для полного обоснования народных идей требуется еще и постижение их как *особой*, возложенной Богом именно на данный народ *миссии*, которая обладает ценностью для *других народов* и *абсолютною ценностью*, являясь вместе с тем индивидуализацией и конкретизацией общечеловеческой и Божьей идеи. Само собой разумеется, что все это опознается людьми, особенно же в эпохи революций и самими революционерами, очень несовершенно и абстрактно. Отсюда — искажения основных идей, такие искажения, как шовинизм, национализм, империализм и т. п. Но даже революционеры почерпают последнее основание своей идеологии и своего пафоса в абсолютно-значимых идеях. Так и французы мечтали облагодетельствовать человечество своим просвещением и большевики соединяли с этим похвальным, хотя и наивно-гордым стремлением идею о жертвенной миссии русского народа.

В целом развития христианской культуры эпоха возрождения — реформации представляется мне временем, в которое обнаружилась конкретно еретичность и обреченность католически-романской культуры. Европа начала устраиваться на земле без Бога и ополчилась на свою религиозную основу. Религиозная же стихия, чрез немецких мистиков, Николая Кузанского, Эригену, ирло-скотское и раннее галльское монашество связанная с традицией вселенского Православия, смогла себя выразить только в ущербной и тоже еретической форме германского протестантизма. Схватившись за оружия века сего и теснимый католически-мирскою и романскою культурою он попытался в Англии пересоздать европейскую культуру на истинных основаниях, которых не понимал сам. Не успев в этом, он взялся за устройство новой жизни на девственной почве Америки. А между тем в самой Европе последовал второй революционный взрыв, который был связан с попыткою все более омирщавшейся католически-романской культуры устроить свое земное царство с помощью, казалось бы, уже осужденных опытом XVII века способов. Начало XIX века увидело новую борьбу за осуществление наивной и еще бессознательной грешной мечты Карла Великого; начало XX-го стоит перед страшным призраком гибели культуры, гибели, которой

не предчувствовали наши отцы и деды, с головою уйдшие в схоластику Канта и «научного» материализма. Французская революция, которую и теперь еще многие считают «хорошей» и благотворной для человечества, принесла свои самые зрелые плоды — социалистический интернационал и общеевропейскую войну. И это было столкновением европейской католической культуры с православною культурою, которое разыгралось в сердце России. Ведь денационализировавшийся русский правящий слой и был «Европою в Евразии».

Всем этим революция не превращается в «творческий» процесс. Революция — одна из форм исторического процесса, «творческого» до нее и после нее. Ничего нового революция, как таковая, не приносит; новое приносит сам исторический процесс, который в эпоху революции замедляется и почти что топчется на месте. Но именно потому, что в эпоху революции суб'ект развития как бы разлагается и плавится, революция во многих отношениях лучше раскрывает его природу и его взаимопротиворечивые тенденции, не столь резко и обнаженно выступающие в периоды мирного развития. В момент смерти старого и рождения нового обнажается и сама природа симфонической личности и абсолютные основания ее бытия. Каков смысл революции и при каких условиях она наступает?

— Симфоническая личность подходит к осуществлению трудней-ших и основных своих задач, которые требуют ее предельного напряжения и связаны с самим существованием ее или, вернее, с существованием данной ее формы, данной симфонической личности, менялей, чем она в целом, но именно *ее* индивидуализирующей. Ведь всякая культура и всякий народ представляют в целом своего развития некоторый ряд сменяющих друг друга симфонических личностей; в этом смысле симфоническая личность должна быть уподобляема не индивидууму, а роду. Так следует различать Киевскую Русь от Руси Северо-восточной и Московской и далее от России императорской, которая начинается со Смуты, и новой нарождающейся России. Все это — одна симфоническая личность, аналогичная, например, европейской культуре, но личность реальная, как единство или «род» названных сейчас меньших симфонических личностей. Это ясно даже с этнологической точки зрения: мы наблюдаем соответствующий ряд этнологических субстратов развития.

Когда симфоническая личность подходит к жизненным своим проблемам, она обнаруживает свое бессилие их осуществить, что часто и выражается в чувстве усталости и скуки и в суете внешней деятельности («après nous le déluge» во Франции и «расцвет» России перед войной). Личность неспособна познать и осуществить, как целое всю полноту предносящихся ей задач. В своем познании и в своей деятельности она раз'единяет и абстрагирует, а потому сама начинает разлагаться и становиться абстракцией, т. е. рассеиваться. Вместо подлинного — всецелого, целомудренного напряжения получаются отдельные, не координируемые друг с другом и сменяю-

щиеся периодами прострации, «истерические» порывы. Они производят внешнее впечатление бурной энергии и силы; на самом деле они — проявления бессилия. Это — смертельная болезнь личности. Это — ее смерть. Нравственно это — вольное «падение» или «*больная* немощь», т. е. грех; догматически же ересь, как разделение и своевольный выбор части (абсолютирование относительного). Но если революция — смерть симфонической личности («старой», «царской» России), в смерти старой личности рождается новая, новая индивидуация высшей личности, которая не умирает и для которой революция является перерождением или рождением ею в муках новой ее выражающей личности. Конечно, может быть и без рождения нового: тогда революция есть вместе с тем и смерть самой высшей симфонической личности, гибель культуры*). Процессы смерти и рождения протекают в индивидуумах и не совпадают обязательно с физической индивидуальной смертью. Поэтому долго еще могут существовать живые мертвецы. Поэтому во многих умирает старое, но рождается новое: многие «перерождаются» в людей новой России, а другие становятся иногда даже не плохими экземплярами какой нибудь другой культуры, например — европейской.

Являясь грехом, ересью и смертью, революция в эмпирическом развитии человечества заблуждается, грешит и умирает. Но так же, как греховность и ограниченность человека не уничтожает его свободы, хотя и умаляет ее, так же неизбежность революции не ведет к историческому фатализму.

Мы должны были кратко коснуться природы революции (ее онтологии), чтобы лучше уяснить себе ее феноменологию. — Немощь симфонической личности и умирание ее и есть прекращение ее личного бытия в эмпирии. Личное же бытие ее в эмпирии связано с государственностью ее, а государственность — с правящим слоем и правительством. Равным образом возрождение ее через смерть или выздоровление предполагают рождение нового правящего слоя и нового правительства, т. е. новое ее государственное бытие. Так как она возрождается к *своей* жизни, перед нею встают ее задачи; и для обоснования их она должна в себе самой, в своем прошлом и в своем настоящем искать *абсолютно-значимые, оправдывающие и осмысляющие ее новую жизнь идеи*. Она, разумеется, может в разной степени приближаться к их опознанию, к выражению их в своей идеологии и своей деятельности. От степени этого приближения в значительной мере зависит характер окончательного преодоления революции.

---

*) Впрочем смерть культуры характеризуется типичными чертами, отсутствующими в революции, и наличными в современной европейской действительности. Ср. Римскую Империю IV-V вв. Здесь мы этого вопроса касаться не можем.

В связи с преобладанием в государственном самоопределении народа внешнего момента и, следовательно, в связи с тем, что наиболее активные элементы сосредоточиваются, как это было во Франции, в армии, естественен переход к военной империи. К тому же прикосновение к абсолютным основаниям жизни легко, особенно в склоняющейся к эмпиризму культуре, приводят к релативизации их в идеологии мирового владычества. Так возникла империя Наполеона. Существо не в том, что армия участвует в перевороте — подобное участие возможно везде и никакого «бонапартизма» за собою еще не влечет. Бонапартизм появляется лишь там, где армия оказывается подавляющею и всепоглощающею силою, где она становится носительницею самой идеи народного государства и увлекает народ славою внешнего расширения и завоеваний. Это — внешняя аналогия и случайное совпадение, если французы сопоставляли генерала Бонапарта с генералом Монком, существенно от Бонапарта отличавшимся. Жертвою *смешной* аналогии делаются, как мне кажется, и некоторые русские люди, надеясь на появление «русского Бонапарта». Роль и значение красной армии вовсе не похожи на роль и значение революционных армий Франции. И едва ли национальный русский характер отражен в Екатерининском «Гром победы раздавайся, веселися храбрый Росс!» У красной армии есть большие заслуги перед Россией. У нее есть некоторая реальная сила, которая может оказаться полезною в ближайшее же время, есть даже творимая легенда. Но она — лишь одна из слагающих современной русской государственности и отнюдь не главенствующая.

Реставрация, как другой вид преодоления революции, предполагает жизненность «реставрируемых» старых форм и обосновывающих их идеологий и настроений. Такою жизненностью обладали в Англии парламент, который можно было реформировать и разогнать, но нельзя было уничтожить, и королевская власть, в России XVI-XVII в. — земский собор и самодержец. Но нельзя признать жизненными традиции Государственной Думы или Учредительного Собрания, как и традиции русской монархии, для дискредитирования которой сделано, к сожалению, все возможное. Правда, крестьяне, на которых уповают наши монархисты, может быть, и сейчас еще поговаривают о необходимости «хозяина». Но отождествление «хозяина» с самодержцем представляется мне незакономерным конкретизированием мужицкой мысли. Мне вспоминается и кажется предпочтительнее крестьянская же формула: «Нам нужен не царь, а помазанник». Всякие ссылки на то, что говорил какой-то мужичок, нуждаются в очень осторожном к ним отношении. Надо не забывать, что русский мужичок умнее и хитрее русского монархиста. Он не станет здорово живешь делиться своими заветными думами с барином, а вместе с тем он слишком расчетлив или в иных случаях слишком жалостлив, чтобы не утешить растерянного барина-нител-

лигента ни к чему не обязывающим поддакиванием. С другой стороны, будущая формула русской государственности зависит не от претендентов, не от эмигрантов, хотя бы они и возвращались к временам Шишкова в своих торжественных речениях о «вожде» (почему заодно не переименовать генералов в «воевод»?), и даже не от мужичков, а более всего — от нынешнего правящего слоя.

Конечно, нельзя с полною уверенностью утверждать, что окончательное преодоление революции не осложнится «случайностью» временной реставрации. Это не исключено, хотя и невероятно и — с точки зрения русских интересов — нежелательно. Если же невероятны ни военная диктатура (империя, «бонапартизм») ни реставрация, должен быть какой то иной исход. Возможно постепенное эволюционирование нынешнего правящего слоя и появление у власти (в результате «дворцового» или партийного переворота) еще никому не известных людей. Постепенность перехода вполне соответствует государственной мудрости русского народа, до сих пор блестяще подтвержденной всем течением революции. Но в ней есть опасность без'идейности и загнивания новой государственности, что уже не соответствует ни государственной мудрости, ни избытку сил возродившегося чрез революцию народа, ни открывающимся перед ним величавым задачам. Ведь потому и есть некоторые шансы у бонапартизма и реставрации, что и тот и другая обманывают народ, блестящую внешность и мнимую народность выдавая за народный идеал, вместо которого у них пустота. Наилучшим исходом надо считать возникновение новой правительствующей *«партии»**), которая бы, принимая

*) Правительствующую или единую и единственную партию надо принципиально и четко отличать от партий в европейском смысле слова, которые никогда не бывают и не могут и не должны быть единственными. Европейские партии связаны с парламентскою, специфически-европейскою формою демократии. Они не совместимы с последовательно проведенною советскою системою и на ее почве возникнуть не могут. *Некоторую* аналогию единственной партии представляет итальянский фашизм, столь радостно приветствуемый в среде эмигрантских реставраторов, и весьма характерно, что он нудит к новой форме демократии. Однако он отличается от революционной партии прежде всего именно этою вторичностью государственной проблемы, что угрожает рационалистическим ее разрешением, тогда как в России дана исконная органическая связь государственности с единою партиею, хотя и перерождающеюся из партии старого типа. Кроме того, фашизм — современное *европейское* явление еще и потому, что он лишен абсолютно обосновываемой и значимой, «религиозной» идеологии. Ему таким образом угрожает опасность Наполеоновской империи — подмена абсолютных заданий внешними, именно — империалистическою политикою. Еще два слова истерическим защитникам идей демократии (конечно, европейской), обвиняющим нас в защите диктатуры. — Существование правящего слоя является необходимым социологически. Он может быть неорганизованным, как в современной Европе. Но

факт и положительные результаты революции, растворила в себе революционную партию и выдвинула новое идейное содержание, осмысляющее готовую уже государственность.

Революционеры оттого, вероятно, так и кричат о своих творческих усилиях, что они — существа наименее оригинальные и наиболее подражательные. Они стремятся к новой жизни вследствие родства своего с обезьянами. Французы подражали Верресам и Катилинам; русские подражают Маратам и Баррасам. Вероятно, дождутся подражателей и русские. Над сознанием революционера господствует страсть к трескучей фразе и шаблонному героизму. Но не в громких декламациях и не в актерском героизме

тогда он сам себя обессиливает, а жизнь приводит к тому, что в попытках его самоорганизации он дифференцируется на враждующие друг с другом «части» или «партии» и вызывает к жизни парламентаризм. Мы же считаем наиболее целесообразным единую его организацию на основе несомненных исходных идей и общегосударственных, а не частных, партийных или «классовых» задач, решительно и до конца отвергая классовую гипотезу государства. Такая единая организация необходимо приводит к единой правительствующей партии, которую, может быть, лучше, в отличие от европейских партий, называть как нибудь иначе, например союзом. Будет ли это диктатурою? — Диктатура в обычном смысле слова предполагает: 1) произвол правящего или правящих, 2) отсутствие твердых, связывающих и их самих норм, 3) осуществление правительством своей, а не народной воли, 4) отсутствие так называемых суб'ективных публичных прав. Но мы утверждаем не произвол единой партии (1), а осуществление ею именно народной бессознательной воли (3), обеспечиваемое органической связью ее с народом (советская система); отсутствие же твердых норм (2 и 4) мы считаем признаком революционного процесса, как такового, исчезающим вместе с «консолидацией революции». Однако в понимании этих норм и «суб'ективных публичных прав» мы основываемся не на индивидуалистических предпосылках европейского правосознания и умеем отличать теорию права от государственного искусства. Принципиальное разграничение между государством и индивидуумом должно быть и в здоровом государстве не быть не может. Но, во первых, нельзя изъ их взаимоотношений исключать динамизм и борьбу; а во-вторых — конкретно и эмпирически сферы государства и индивидуума (а также и социальных групп) по содержанию своему не могут быть разграниченными раз навсегда и абсолютно. Конкретное их разграничение как раз и относится к области государственной техники. Мы являемся решительными врагами трескучих фраз и сантиментальных формул там, где надо делать общее дело. Поэтому же мы хотим для России сильной власти, а не нового временного правительства и не европейских форм демократии. И если противникам угодно обвинять нас в стремлении к диктатуре на манер бывших в Европе, мы столь же спокойно отнесемся к этому обвинению, как и к лживому, но, вероятно, согласному с европейскими демократическими правами приписыванью нам сочувствия коммунизму или антисемитизму.

задача рождающейся из революции новой власти, а в напряженном и скромном сером труде. Бряцание оружием и блеск побед — опасная и дорогая забава, отвлекающая от ближайших задач к весьма проблематическому будущему. Новая власть должна предстать прежде всего как скромно-деловитая, трезвая и серьезная: в этом ее смысл и ее природа. Большое несчастье, если призванные быть ею осуществляют это задание только частично, на вторых местах — за непрочным фасадом военной империи или случайной реставрации. Элементарные идеологии бонапартизма или реставрации становятся на место элементарной революционной идеологии потому, что природа не терпит пустоты и павшая идеология должна быть чем-то заменена. Для того, чтобы новая власть была народною властью, а не коллегией ловких приказчиков, управляющих без хозяина, *нужна новая идеология*. Таким образом завершающий революцию политический процесс создания и утверждения новой власти должен сопровождаться процессом *идейного творчества — сознанием и определением народных идеалов, их религиозным об'яснением и оправданием*.

Великий Наполеон был великим обманщиком, обманывавшим и себя самого. Справедливое презрение к «идеологам» (т. е. к идеологам-доктринерам) помешало ему понять значение абсолютных идей и превратило в «идеолога» его самого. Он стал национальным героем потому, что, утверждая «завоевания революции» внутри, провозгласил* приятные и увлекательные для всякого француза задачи, по грандиозности своей сходившие за абсолютные. С той поры и доныне Франция живет «идеями» Наполеона, вероятно из скромности называя их «естественными границами», лигами наций и защитою прав человечества, толкуемых применительно к градусам географической сети. Если мы присмотримся к руководящим идеям Франции после революции и к выростающим на почве их идеологиям, мы легко убедимся, в их неосуществленности, неосуществимости и безжизненности. Ведь все это — доктринерская абстрактная фразеология, прикрывающая собою весьма практическое, конкретное, но и относительное стремление — эгоистическую волю к господству и «буржуазному» самодовлению. Скучно.

Английская революция закончила религиозную историю Европы, хотя религиозность и продолжает быть истинным основанием европейского развития и европейских революций: она лишь не опознается, как таковое, и отожествляется с глупою релативистическою фразеологиею. Отрицают Бога, чтобы считать (но не называть даже) богами идолов. На неумении найти абсолютное основание, т. е. раскрыть проблемы и миросозерцание Православия, сорвалась Россия в эпоху «Смуты», что и сделало возможной насильственную европеизацию, начавшуюся при Петре и достигшую апогея в коммунизме*). Таким образом в русской революции снова поставлена и

*) Этим нисколько не отрицается, что Петр и даже весь почти императорский период продолжали и русское национальное разви-

не решенная первою русскою революциею, т. е. «Смутою», проблема: быть или не быть России сознательно-религиозною, быть или не быть *ей* особым культурным миром (Евразией), т. е. — кратко и просто — быть или не быть ей вообще.

Твердая уверенность в исключительной государственной одаренности русского народа, т. е. в его жизнеспособности, приводит меня к утвердительному ответу на этот вопрос и позволяет мне надеяться, что русский народ избегнет и Скиллы монархической реставрации и Харибды «бонапартизма». В самой революции своей русский народ остается наиболее религиозным народом. Это утверждение всегда казалось мне самоочевидным и недвусмысленным; казалось бы таким и теперь, если бы не старания, впрочем, более бурнопламенные, чем умные, усмотреть в нем какую то «мистагогию зла». — Сотворенная Богом личность (как индивидуальная, так и симфоническая) *злом* быть не может, а зло никогда не может быть личностью («злая личность» не равнозначна — «личности-злу»). Зло не личное бытие, не самобытие, а грех личности или, по определению святых отцов, вольное нерадение ее. Конечно, русский народ грешен и сугубо грешен в своей революции, какой бы аспект ее: революционное собственно или контр-революционное человеко-ненавистничество, мы ни взяли. Но и в грехе своем он остается религиозным, хотя бы этого не сознавал и, плохо зная европейские языки, переводил свою религиозность словом «атеизм». Религиозна его революция не по тем «положительным» задачам, которые выставляются ее «вождями» и осуществляются как братоубийственная бойня и борьба с Церковью, но по тому, что в красных и белых идеологиях искажается, что является «суеным во зле». И здесь сама сила и ужас всенародного греха свидетельствуют о силе религиозной природы и религиозного напряжения в русском народе.

Таким образом самою настоятельною задачею переживаемого момента является выработка *нового* религиозно-национального миросозерцания. Необходима новая установка и новая идеология. Пускай, как и всякая идеология, она будет выражать «идейность» новой России ограниченно, несовершенно, сначала даже примитивно. В этом не будет большой беды, если правильно к ней отнестись. Правильно же отнестись к ней значит преодолеть революционно-доктринерскую установку, т. е. в себе самих преодолеть преодолеваемую Россией революцию. Конечно, это новое религиозно-национальное миросозерцание не должно оставаться в сфере абстрактных принципов,

тие. — Национальное развитие продолжалось и достигло больших успехов *несмотря* на европеизацию. Но оно достигло меньшего и менее прочного, чем то могло быть без европеизации. Различать в Петре ложное от истинного не значит отрицать Петра. Это значит только одно — не быть доктринером (революционером) и не идолопоклонствовать.

Оно должно привести к определенной конкретной программе, построяемой на основе признания того, что выяснилось в революции, как положительное. Таким образом в эту программу должны войти и основы «советской системы» и решение социально-экономической проблемы в смысле признания за собственностью *функционального* значения, что одинаково далеко и от идеи священной собственности и от социализма. Здесь внутренняя проблема России и оказывается ее историческою миссиею.

Впрочем, таким образом мы уже выходим за пределы «феноменологического» исследования и ставим вопрос о смысле революции и всей русской истории. Феноменологически важно лишь указать на значение идеологии. А всякая идеология обречена будет на недейственность, если ее появление и развитие не будет сопровождаться созданием новой правительственной партии, которая и должна стать на место коммунистической партии осью уже создавшегося нового правящего слоя.

Л. П. Карсавин

Берлин, 1926 май.

ИРАН, ТУРАН И РОССИЯ

РЕДАКЦИОННОЕ ПРИМЕЧАНИЕ.

Культурно-исторические типы «Ирана» и «Турана», блестяще характеризованные В. П. Никитиным, в *исторической своей плоскости* должны быть определены в первую очередь не как этнические группы, не как группы народов «иранских» и «туранских», но как «месторазвития». Под *«месторазвитием»* -же нужно понимать социально-историческую среду, рассматриваемую одновременно и неотрывно от среды внешней, географической — со всей той совокупностью традиций и преемств, которые врастают и вкореняются в географический ландшафт. «Иран», и «Туран» в той трактовке, которую дает этим понятиям в своей статье В. П. Никитин, суть «месторазвития», могущие сохранять и сохраняющие свой преемственный характер, независимо от того, какого характера этнические волны в данный момент их представляют. Рассмотрение этнографической проблемы, вопроса об *«этнических»* «иранцах» и «туранцах» подтверждает эту трактовку.

Следует различать две ветви иранцев. Одна ветвь — южная, мидо-персидская, (судеб которой, гл. обр., касается статья В. П. Никитина), другая — северная, скифо-сарматская. (т. наз. иногда «Внешний Иран», В. П. Н.) Южные Иранцы очень рано ушли на так называемое «Иранское Плоскогорье», образовали государство, втянулись в орбиту семитского влияния и стали народом азийским. Северные очень долго оставались в степях нынешней южной России, (доуральской), а может быть и в других частях Евразии. Они были в свое время «народом-всадником», «властителями степи,» а, следовательно, евразийцами, в географическом смысле слова. В качестве властителей евразийских степей, они были предшественниками туранцев, в частности тюрков, и оказали сильнейшее влияние на племена Евразии. Финские языки полны заимствованных слов именно этого, североиранского, скифо-сарматского происхождения; тюркский, финский, самоедский, а м. б. и древне-монгольский шаманизм обнаруживает черты того-же скифо-сарматского влияния; искусство всех туранцев — тоже и, возможно, что костюм туранских всадников тоже является продолжением скифо-сарматского. С южными иранцами эти степные иранцы всегда враждовали, несмотря на расовое родство. Враждовали просто в силу естественых географи-

ческих причин, ибо между обитателями евразийского континентального торса и обитателями азиатско-европейских приморских периферий этого торса существовал издревле естественный антагонизм. Вражда вела к войне, причем наступающей стороной отнюдь не всегда были евразийцы: походы персидских царей на скифов были адекватны позднейшим поползновениям азиатско-европейской периферии овладеть евразийским торсом (немецкий Drang nach Osten, поход Наполеона 1812 г., Карл XII), и представляли военный вариант аналогичных «мирных» попыток колонизации или подчинения своему влиянию (ср. тот-же Drang nach Osten, далее греческие колонии Черноморья, турецкие влияния и происки в крымском ханстве, китайская колонизация в Монголии и т. д.). Евразийскому торсу приходилось нередко обороняться, причем характерной была и самая евразийская оборонительная стратегия, одна и та-же от скифо-сарматов до Кутузова. Евразийские полчища переливались через край Евразии в периферийные страны, (гл. образ. ища выхода к открытым теплым морям), где, даже победив, ассимилировались и переставали быть евразийцами, становились плохими азиатами (ахпакиды, монгольские династии Китая, Ирана, Индии, Османы), плохими европейцами (мадьяры), плохими византийцами (болгары).

В этой связи теряет остроту вопрос, были-ли пареяне, завоевавшие Персию, иранцами или туранцами (по состоянию настоящего момента можно утверждать скорей, что они были иранцами); как степняки, независимо от своего этнического происхождения, они стали представителями туранского «месторазвития», в качестве каковых они и охарактеризованы в статье В. П. Никитина.

Каковы были конкретно отношения северных, степных иранцев к туранцам — мы не знаем. Знаем, что прежде степные иранцы господствовали над евразийскими степями, по крайней мере над западно-евразийскими («от Урала до Дуная»), и что позднее на этих местах утвердились туранские кочевники, иранские-же степняки исчезли. Как и почему исчезли — неизвестно. Сохранились только их остатки, загнанные в горы, в виде Осетин. Не знаем также и того, когда именно южно-русские степи перестали быть иранскими и стали туранскими. Возможно, что настоящего, физического оттеснения иранских кочевников туранскими вовсе никогда и не было, а была ассимиляция, постепенное отуранение иранцев-степняков. Судя по всему, западно-евразийские степные кочевники до-половецкого периода по расе не были еще вполне чистыми туранцами, а представляли из себя смесь туранцев с иранцами, а м. б. и с «кавказцами»: византийцы говорят о волосатости печенегов, между тем как настоящие туранцы не отличаются этим антропологическим свойством, (самое имя «печенег» из тюркского языка не об'ясняется, а по черкесски значит «усатое-лицо»). Но во всяком случае эта туранизация иранцев -степняков произошла позднее выступления пареян на исторической арене.

Отношения степных иранцев к славянам рисуются в следующем виде.

Судя по археологическим находкам и по данным географической номенклатуры, иранские поселения заходили довольно далеко на север, в частности вплоть до Орловской губ. Иранцы, и именно иранцы северные, степные, были исконными соседями славян; притом соседями восточными, т. е. соприкасающимися непосредственно именно с восточными славянами. Древнее соприкосновение праславянского (точнее до-праславянского) и праиранского (до-праиранского) диалектов индоевропейского праязыка доказывается тем, что целый ряд древних звуковых изменений тождествен в славянском и иранском праязыках. *). Есть специальные славяно-иранские совпадения и в области словаря: кроме совпадений, повторяющихся кроме славян и иранцев еще и у балтийцев или у индусов, или у тех и у других, имеются и такие, которые свойственны только славянам и иранцам.**) Было уже указано на то, что эти словарные совпадения касаются преимущественно частиц и религиозных терминов, причем последнее указывает на близость праславянской религиозной установки с праиранской. Предполагать полное тождество этих религиозных установок все-же трудно, и данные языка этому противоречат, т. к. с одной стороны в славянском языке, нет целого ряда важных особенностей иранской религиозной терминологии, (таких напр. как arta, yazata, draug, manah, ahura, и т. д.) а с другой стороны имеются слова, считавшиеся у иранцев запретными: (огнь, сын).

Итак, непосредственное соседство и живое культурное общение предков славян с предками (северных) иранцев для эпохи конца индоевропейского единства не подлежит никакому сомнению. Нет никаких оснований предполагать, чтобы позднее это соотношение было нарушено. Во всяком случае, нельзя указать никакого народа, который мог-бы вклиниться между славянами и северными иранцами эпохи появления туранцев в южно-русских доуральских степях. Таким образом следует думать, что при продвижении славян на восток и юговосток, в бассейны Днепра, Днестра и Дона они все время соприкасались с северными иранцами, и что самое это продвижение было

*) Сюда относятся не только общие всем восточным индоевропейцам (т. е. балтийцам, славянам, иллиро-албанцам, фракийцам, фригийцам, иранцам и индусам) изменения, — так-то утрата лабиализации лабиовелярных согласных и переход взрывных палатальных в полущипящие спиранты, — но и другие изменения: напр. переход полущипящих (развившихся из старых палатальных) в свистящие (явление неизвестное ни балтийцам, ни индусам), переход старого *x* в известных положениях в звук типа *u*, откуда дальше славянское *x* (явление это известно только славянам, иранцам и индусам), переход придыхательного *kh* в *x* (явление известное только славянам, иранцам и армянам, но чужое балтийцам и индусам), совпадение двух рядов звонких согласных *d*, *b*, *g*, и *dh*, *bh*, *gh*, (неизвестное армянам и индусам) и т. д.

**) См. статью кн. Н. С. Трубецкого «Верхи и низы русской культуры» в книге «К проблеме русского самопознания» (Евразийское Книгоиздательство, 1927 г.)

связано либо с вытеснением северных иранцев, либо с их ассимиляцией, «обрусением». Следовательно, не исключена возможность, что в жилах малороссов и южновеликороссов течет известный процент северо-иранской (скифо-сарматской) крови.

Однако, следует остерегаться делать из этого какие-либо поспешные выводы, Надо иметь в виду следующие обстоятельства:

1) Что в жилах некоторых русских племен течет известный процент североиранской крови, — это только *возможно*, но не *достоверно*.

2) Если даже считать эту возможность весьма вероятной, остается нерешенным вопрос о том, насколько велик был этот процент иранской крови: м. б. он был и очень незначителен.

3) Самый процесс ославянения северных иранцев, если он вообще имел место, относится к глубокой древности, и с тех пор не возобновлялся, т. ч. постоянного притока свежей иранской крови в южно-русские жилы не было.

4) Если иранцы южной России действительно смешались с славянами, то эти иранцы были особые, не тождественные с иранцами Мидии и Персии; мы не знаем в точности, что они из себя представляли, но должны предполагать, что от своих южных персидских сородичей они отличались довольно значительно, как физически, так и психически, и, особенно, культурно: единственные современные прямые потомки сарматов, осетины, по всему своему физическому и психическому облику, очень мало похожи на персов.

5) И, самое важное: обнаруживаемые таким этнографическим образом элементы русской стихии не связаны с историко-культурной традицией, не составляют определяющие черты «месторазвития», в том смысле, в каком то и другое можно утверждать относительно значения *туранских* элементов в русском характере и русской культуре. К тому-же туранские элементы не гипотетичные, но достоверные, относятся не к незапамятным временам, но пронизывают собой всю русскую историю.

1.

— «Теперь спрашиваем, неужели одни физические нужды приводят в соприкосновение разрозненные народы? Неужели шелковые ткани, чайный листок, нравственные благовония или драгоценности Индии, исключительно возбуждая в нас уважение к Азии, заставляют входить в тесные связи с незнакомыми племенами и крепкими узами с ними соединяться».

(Из речи проф. Ковалевского, Казань 1837 г.).

Бесхитростный, цельный психологический Туранский тип можно вписать сравнительно легко в рамки известной схемы. Иранский тип менее поддается обобщению. Рисунок духовного облика Турана сравним с его походной кошмой, украшенной незатейливым орнаментом. Знакомство с извилинами иранского духа вызывает в памяти образ художественного персидского ковра с причудливыми узорами и искусным подбором красок. Глубокая разница ощущается не только количественно, в смысле многовековой культурной и политической традиции у Ирана, который вызвал полностью свои творческие способности, когда Туран еще маячил в степях, где паслись его отары. Существенно отличие качественное, в самом способе подхода к вопросам бытия. Душу Ирана, мятущуюся и беспокойную, не перестают терзать религиозные сомнения и искания. Это основное правило одинаково верно и для стародавней эпохи Мани (3-й век по Р. Х.) и для религиозной смуты вчерашнего дня, вызванной горячим реформаторским призывом Баба.*) Туранский гений ищет удовлетворения в игре меча, в сознании

*) Манихейство было доктриной еретической по отношению к господствовавшему тогда Зороастризму. Зороастризм был религией

крепкой власти. Туранец прежде всего воин, степной удалец, налетчик. Его государственные образования создавались благодаря его способности к дисциплинированным согласованным действиям. «Кош»—типично тюркское понятие—обозначает не только группу, питающуюся у одного котла. Он создает известные связи коллективного сотрудничества. Туранец патриотичен, в смысле привязанности и верности вождю. Иранец нам кажется прежде всего проповедником, жрецом, миссионером. Он склонен к спекулятивному мышлению и нигде, как в Иране, не было столько ересей, выражения протеста в форме религиозной. Он тоже создавал крупные государственные об'единения, но основой их была не столько доблесть и способность к самопожертвованию, сколько тонко разработанная система администрации, пресловутые «очи и уши» царевы, принцип, проходящий через всю государственную жизнь Персии красной нитью вплоть до наших дней.*) Персидский патриотизм существует, но он более рассудочен и скептичен, чем всегдашняя боевая готов-

национальной, воинствующей, материалистической, империалистической, манихейство было учением космополитическим, квиетическим, аскетическим, не от мира сего. Эти две религиозные системы были антагоничны по существу и, несмотря на внешние черты сходства, они были неизбежно враждебны и радикально противоположны. (Browne. A Litterary History of Persia, т. I, с. 161). Как известно, история религии прослеживает в дальнейшем проявление манихейских идей у богумилов и альбигойцев. — «Баб», т. е. «дверь», через которую должен войти кто-то, так назвал себя молодой ширазец Мирза Али Мухаммед, когда ему исполнилось 19 лет. Произошло это в начале 40-х г. г. прошлого столетия. Религиозное движение, возглавленное Бабом, охватило мало-по-малу всю Персию, и возгорелась кровопролитная борьба, в итоге которой Баба был ввергнут в темницу в Тавризе и в скором времени казнен там в 1850 г. В дальнейшем идеи Баба, оставившего после себя ряд сочинений, были развиты, вне пределов Персии, вследствии гонений, гением Бехаулла, откуда наименование «бехаи» (основная бабидская секта; «азели», имела менее успеха). Бехаи по всей Персии великое множество. Их глава Абд-уль-Беха, проживавший в Акре (Палестина), скончался во время войны. Бехаизм имеет много приверженцев не только среди персов. Особенно их много в Сев. Америке. Знаток бабизма А. Г. Туманский считает бехаизм (необабизм) реформой Ислама или новой его сектой. Л. Ф. Богданов (Персия, СПБ, 1909), в лице которого мы имеем одного из авторитетнейших знатоков современной Персии, полагает, однако, что бабизм, хотя и возник на исламской почве, должен быть признан реформой религии вообще, а не какого либо одного религиозного учения.

*)-Акад. А. Кримский (Історія Персії та її письменства, Київ. 1923), разбирая «Писание к сыну» Тагира I Двудесятичного (821-822), относящееся к эпохе персидского возрождения после завоевания арабами, указывает, что подобного рода произведения характерны уже в период предисламский, пехлевийской литературы (ср. с нашим поучением Владимира Мономаха). Между прочим Тагир советует сыну, чтобы в каждой провинции, кроме оффициального наместника, он дер-

ность Турана. Иран может пригнуться очень низко к земле, но он никогда не отдавался завоевателю целиком, а наоборот: терпеливо и незаметно подчинял его своему культурному обаянию. Туран менее гибок, не знает компромиссов, идет напролом. Чувство меры ему менее знакомо. Так и в литературе персидский цветистый стиль обладает известной прелестью под «калемом» (пером) и в звуковом выражении певучего полногласного языка Перса; он вырождается в риторную безвкусицу у таких туранцев как османские писатели Вейси и Нэргиси.*)

В плане истории старого света с последовательностью, как бы физического закона, мы видим как из степного ядра континента хлещут все новые кочевничьи потоки, устремляющиеся в области более древней культуры, к столицам Азии оседлой — Пекину, Лагору, Дели, Багдаду. Для нас важно отметить, что эти периодические разливы кочевничьего мира, то просачивавшегося незаметными струйками в Иранские земли, то заливающего их неудержимым грозным потоком (Хулагу в XIII в., Тимур в конце XIV в.), являются одним из наиболее постоянных факторов истории этой части старого света и нашли свое отражение в Иранском эпосе.**) Борьба Ирана с Тураном, Азии оседлой, городской, культурной, выработавшей изощренную мысль и способы ее выражения, с миром степняков, грубых наездников, но крепких и свежих, вливающих как бы новую жизнь в изнеженный быт горожан, вновь об'единяющих (Сельджуки, Монголы) рассыпающуюся храмину государства, все эти отливы и приливы легко проследить даже при беглом и поверхностном анализе персидской истории.***)

Ахемениды (550-330 г. до Р. Х.). Клинопись Дария Гистасна среди владений его громадной империи, обнимавшей 23 сатрапии, упоминает Хорезм (Хива), Бактрию (Балх), Согдиану (долина Зарявшана), Маргиану (Мерв), Гирканию (ю. в. побережье Каспия), Фергану — области целиком захлест-

жал доверенного, верного человека («amin»), который посылал бы в столицу точные донесения о всем, что делают провинциальные власти и как себя ведут. Известно, говорит В. Е. Крымский, что в древнем персидском ахеменидском государстве «царей над царями», еще за 500 л. до Р. Х., начиная с Дария, персидский царь назначал при каждом областном сатрапе правителе секретаря, чтобы он писал в столицу тайные доносы.

*) Ср. у Проф. Брауна, op. cit., т. II с. 89.

**) Проф. Браун (op. cit., т. I с. 116), говоря про персидскую эпопею Шах-Намэ, указывает, что война между сыновьями Тура (туранцами), которые долго вел грозный Афрасияб, и сыновьями Предика (иранцами) — наполняют собой не только легендарную, но и действительную историю Персии. В плоскости религиозной: Зороастр — иранец обращает в свою религию идолопоклонников — туранцев в Балхе.

***) Фактическое ее содержание и некоторые оценки заимствованы нами у R. Grousset, Histoire de l'Asie.

нутые теперь Тураном, а тогда — Балх*) — бывшие колыбелью типично иранской религии дуализма. Чем успешнее и плодотворнее идет востоковедная работа в этом месте исторического конфликта Ирана с Тураном, тем более нам удается проникать в седое прошлое и открывать его следы под наносом последующих эпох. Успехи языковедения учат нас, что в языковом отношении Иран простирался гораздо больше на Север и Восток, чем это полагали ранее.**)

Мы знаем как перед победоносным шествием Александра пришлось покориться Ирану Ахеменидов. Знаем также, что эллинское влияние затронуло лишь поверхностно иранскую стихию, было, главным образом, политическим; что Александр, а тем более его преемники Селевкиды, были охвачены Азией и победители оказались побежденными. В этом отношении крайне любопытна и показательна культурная история государства Греко-Бактрийского, на примере которого так наглядно можно изучать столкновение Запада с Востоком, Европы с Азией, волнующее теперь наши умы.***) (В Балхе сейчас производит раскопки французская археологическая миссия Фуше).

---

*) Балх — это «Медина Зороастризма», по выражению пр. Брауна, желающего этим указать, что если, как это предполагается, Зороастр происходил из теперешнего Азербейджана, то учение его распространилось гл. обр. из Балха, подобно тому, как Медина, куда Мухаммед бежал из Мекки, была для него очагом активной пропаганды Ислама.

**) Открытиям в ср. Азии сэра О. М. Стейна и французского ученого Готіо, безвременно погибшего на войне, мы обязаны знакомством с языком согдийским. В этом направлении же работают ученые Пэлльо во Франции, Миллер, Грюнведель, фон-Леков в Германии. Напомним о русской экспедиции Клеменца. В настоящее время русский ученый Зарубин занимается иранскими говорами Памира. Эти работы показывают, что языково-иранские элементы глубже проникают внутрь континента, чем это мы раньше полагали. Пэлльо полагает также, что в VIII в. манихейство было религией тюрков — уйгуров. См. у R. Gauthiot, «Essai de grammaire sogdienne», введ. с. IV., о Согдийцах: «Земледельцы и купцы, ловкие и настойчивые, цивилизованные и отважные, они заняли всю годную для возделывания полосу, которая расположена между горными хребтами и степью, вплоть к северу от Тянь Шаня: из оазиса в оазис они прошли еще дальше на восток и в направлении китайского Туркестана; наконец они проникли в некоторые из городов и оазисов Туркестана и даже Китая, где они основали колонии иностранцев». У Готіо приложены карты, помогающие уяснению распространения согдийцев.

***) Бактрийское государство было основано в III в. до Р. Х. и прекратило свое существование в начале I в. — Бактрийские государи — греки по происхождению, воспитанию, языку, культу, цивилизации, — официально допустили цивилизацию Индии в этой стране, которая была, однако, иранской по своей истории и традиции. Бактрия считалась колыбелью Зороастра, а, между тем, на монетах, чеканенных этими государями, хотя на лицевой стороне вокруг головы государя и находится греческая надпись, на обратной стороне

В описываемые нами времена на арену истории Ирана, сначала только за кулисами ее, появляются Парояне*), которые из теперешних киргизских степей, постепенно просачиваясь вдоль каспийского побережья, обосновались при Ахеменидах в Хорасане (собственная Парояя в древности). Эти степняки обираниваются, а затем, деля общую судьбу ахеменидских владений, переходят под власть эллинства. Основателем Пароянской династии Аршакидов был некий Аршак, «иранизованный» - в культурно-историческом смысле степняк. Между 250 и 246 г. г. до Р.Х., воспользовавшись затруднениями Селевкидов, занятых войной с Египтом, Аршак восстал и положил начало династии, в течение четырех столетий правившей большой частью Персии (Le premier des rois fut un soldat heureux). Первым царем был удачливый воин. Задача его облегчена была тем обстоятельством, что греческие колонии Бактрианы тоже тяготились властью Антиохии. Мы видим, таким образом, как, несмотря на успехи энергичного Антиоха Великого (205 г.) эллинизм начинает свое отступление из Ирана. Антиох VII гибнет под ударами Пароян в ущельях Загроса**) (129 г.), Аршакиды доходят до Ефрата. Дальнейшее их наступление задерживается диверсией с Востока, где им угрожают Сака и Юэчи.

Под давлением китайцев Гунны (Хюэн-ну китайских летописей), турацы***) вытесняют из Монголии все дальше на Запад своих соседей по коче-

---

поменается надпись на индийском языке, на диалекте близком к Пали, и часто вместо греческих божеств Паллады, Геракла, Ники и т. д. являются индийские символы. — Среди бактрийских государей известен особенно один, Менандр, благодаря буддийскому сочинению, дошедшему до нас на языке пали: Милиндапанха (Вопросы Милинда), и на китайском. Милинда скучает и как истый эллин, ищет возможности умственного развлечения. Индии чужда, восклицает он, но вот является буддийский ученый Нагасена, завязывается диспут на религиозную тему, и, после блестящего турнира Милинда обращается в буддизм. (см. Sylvain Lévi, L'oeuvre de la civilisation Indienne, La Revue de Paris, 15-2-1925 г.)

*) Проф. Браун не уверен в туранском происхождении Пароян (op. cit., т. I., с. 79), но он во всяком случае подчеркивает факт почти полного умолчания о них в Шах Наме, эпосе иранизма. Мы в праве видеть здесь во всяком случае конфликт мира степняков (наиболее ярко выражавшегося всегда Тураном) с городской, оседлой, иранской Азией. Ср. также у Бартольда, «Иран», стр. 60: «вследствие... бедности и необходимости защищаться против нашествия кочевников, парояне остались верны простому, воинственному образу жизни *восточных иранцев* и после падения ахеменидов явились тем здоровым элементом, которому удалось снова образовать иранское государство...»

**) Загросом в древности назывались те горы, которые сейчас являются границей между Персией и Месопотамией.

***) Ср. у Zoltan Gombocz, венгерского ученаго, (Rev. des Et. Hongr. et Fino-Ougr., Oct. Dec. 1924), находящего в дошедших до нас гуннских именах прямые указания на их туранство: Oebar-

вьям, Юэчи из Серинды (Кашгария) и Сака из Ферганы. Полагают, что эти племена принадлежали к различным расам. Юэчи, это их китайское название, были известны грекам, как Тохары, позже Индо-Скиѳы. Вероятно они были западными скиѳами*), передвинувшимся в свое время из нынешней южной России в Восточный Туркестан. Во всяком случае приписываемый им тохарийский язык считается индоевропейским. Что же касается Сака, то возможно что они, подобно другим восточным «скиѳам», древним Массагетам и самим Гуннам, принадлежали к туранской расѣ. Какова бы ни была их расовая принадлежность, эти народы вели одинаковый образ жизни, известный нам из Геродотовского описания скиѳов. Вынужденные оставить места своего прежнего жительства из-за гуннов, они двинулись в поисках новых пастбищ в Иране. Сака, в авангарде, заняли таким образом места по Гильменду и дали имена теперешней персидской провинции Сеистан (Сакастэна), а Юэчи, идя за ними, заняли Согдиану, Бактрию и Кабул. Отсюда они стали угрожать собственной Парѳии, т. е. нынешнему Хорасану. В борьбе с ними погиб аршакид Фраат II и его преемник. Наконец Митридату II (124-87?), удалось остановить этих кочевников. Таким образом Западный Иран (собств. Парѳия, Гиркания, Мидия, Персия и Вавилония) остался за Парѳянами, тогда как Иран Восточный, т. е. Трансоксания, Балх и Кабул, к которым они вскоре присоединили всю северо-западную Индию, отошел к Юэчи. Что касается Сака, то они пребывали в орбите Юэчи и к своим иранским владениям, Сейстану, прибавили земли в устьѣ Инда и Гуджерат.**)

Возвращаясь к Парѳянам, занимавшим в начале нашей эры большую часть ахеменидского царства, следует упомянуть, что эти «обиранившиеся»

---

sos oi bars, рысь; Attila — готское уменьшит. от тюркск. ata; сыновья его — Ellak — Aelik, Ilik, Ernak — Ernäk, Irnäk, уменьш. от тур. er, ir, — муж; в слове Dengezih можно указать тур. tängiz море; племя Agatziros есть не что иное как агач-ири, т. е. лесные люди. Известна впрочем тенденция венгерцев повсюду (это особо заметно на их скиоских теориях) видеть Туран. Но в отношении гуннов они, повидимому, правы.

*) Ср. предисловие к статье. О Тохарах подробно и в соответствии с последними научными данными см. в интересном сочинении польскаго ученаго К. Мошинськаго, «Исследования о происхождении и начальной культуре Славян», изд. в Кракове Польск. Акад. Наук. 1926 г., стр. 77 и след.—

**) Ср. у Бартольда, op. cit., с.с. 11 и след. «Когда, после 175 г., до Р. Х., греко-бактрийское государство распалось, то это должно было вызвать напор среднеазиатских кочевников, по всей вероятности, *родственных по происхождению оседлым иранцам*. — Гутшмид приходит в выводу, что завоевателями Бактрии были тохары и что (упоминающиеся у Страбона, Трога Помпея, Птоломея) слова асианы, асии, ятии, и юэчжи... попытки передать... название главной тохарской орды... Среди юэчжийцев или тохаров через 100 лет после их поселения в Бактрии, возвысился род Кушанов».

(в культурно-историческом смысле) степняки считали себя реставраторами наследия Кира и Дария.

Но между персидским государством Ахеменидов и парѳянскими владениями Аршакидов разница, конечно, была глубокая. Парѳяне, как было отмечено, лишь благодаря долгому соседству с Мидянами,*) Персами и Бактрийцами, переняли нравы, язык и религию этих народов. Подданные Ахеменидов в течение двух веков, они подпали под культурное влияние Персеполиса (около теперешн. Шираза) и Сузы (теперешн. Шустар). Они исповедывали маздеизм, древнюю религию Зароастра, и поклонялись Ормузду и Митре. Их цари носили персидские имена: Митридат, Тиридат, Артабан, Хосрой. Самый тип их с течением времени подвергся изменению: изображения царей на монетах Аршакидов имеют чисто персидский тип. Когда Аршакидам удалось отбросить греков за Ефрат, они придали новый блеск титулу Царя Царей, который носили Ахемениды. Наиболее выдающийся из Аршакидов, Ород, восшедший на престол в 58 г. до Р. Х., определенно считал себя мстителем за поражение Ирана эллинами при Арабелах (теперь Эрбиль).

Несмотря на эти притязания Аршакидов, Иран никогда не признавал их своей национальной династией. Историческая эпопея Персии (Шахнаме), отчасти сведенная во едино, отчасти написанная поэтом Фирдовси (умершим в нач. XI в.) очень кратко резюмирует четырехсотлетнее господство Аршакидов (255 до Р. Х. — 226 нашей эры): «История была пуста, трон Ирана не принадлежал никому, и прошли века, в течение которых можно было бы сказать, что не было царей на земле». Надо сказать, что ассимиляция парѳян не была полной. Как говорит известный иранист Darmesteter, «они перенесли в мир Ирана нравы и инстинкты степей; они не сумели возобновить административный механизм Дария и на место единства централизации Ахеменидов они поставили военный феодализм». Впрочем Парѳяне никогда окончательно не порывали со своими степными родичами. Всякий раз что их власти в Иране грозила опасность, они не задумываясь призывали на подмогу своих грозных соседей кочевников. Таким образом Парѳяне несколько раз вновь вливали свежую «степную» кровь в свои жилы. Не были они никогда и особенно ревностными маздеистами. Чеканя на монетах изображение Митры, они не доверяли магам и не придали (как это позже сдѣлали Сасаниды) маздеизму характера государственной религии.

Это обстоятельство позволило Аршакидам приблизиться к эллинизму. Современник Антиоха Великого, Артабан I (216-193), начал чеканить красивые греческие монеты, которые сделали общеизвестным имя его династии.

---

*) Востоковедение видит в Мидянах Иранцев. Мидийский период истории Персии начинается в 700 г. г. до Р. Х. и заканчивается при наступлении периода Ахеменидского (550 г. до Р. Х.). Мидия, столицей которой была Экбатана (Хамадан) занимала приблизительно всю северо-западную часть теперешней Персии.

На этих монетах почти все парѳянские государи имеют звание «царей филэллинов». Как все монархи того времени, напр. Митридат Евпатор и Канишка (Юэчи), они в этом случае придерживались александрийской моды, которой увлекалась вся Передняя Азия. Они носили прозвище Филопатор, т. е. Филопатор, и называли себя, по примеру Селевкидов и Лагидов, Тэос, Басилевс Басилеон, Никатор, Автократор, Дикайос, Эпифан. Они щеголяли изучением греческих классиков и нам известно, что самый крупный из них слушал трагедию Еврипида, когда ему была принесена голова триумвира Красса.*) В Парѳянской империи греческий язык занимал на ряду с языком Пехлеви (т. наз. средне персидский) то место, которое он имел в Римской империи рядом с латинским. Это был язык ученых, который следовало знать всем вельможам. В то же время греческий язык был языком коммерческих сношений, которые деятельно поддерживались греческими колониями, составлявшими в Месопотамии большинство городского населения. В Селевкии, на Тигре в Каррах греческие муниципии продолжали жить как при Селевкидах. Их караваны ходили в Фергану за шелком. Их суда совершали плавание к Цейлону, откуда они привозили пряности, драгоценные камни и металлы. На три четверти торговый оборот Ирана был в их руках и Аршакиды им оказывали всякие льготы.

Не увенчавшиеся успехом попытки Трояна, а затем и Марка Аврелия и Септима Севера ослабить парѳянское могущество об'ясняются до известной степени соображениями экономическими. В древности торговля с Индией была существенным источником дохода для Рима. Владея Египтом, римляне располагали путем в Индию через Красное море. Для монополизации индийской торговли в своих руках им нужно было бы овладеть и Селевкией на Тигре, откуда по Персидскому заливу, через Харакс Спасину (около Кувейта) морской путь лежал к Малабарскому побережью. Таким образом торговля освободилась бы от дорого стоющего парѳянского посредничества. С другой же стороны из Селевкии легче было бы установить также непосредственные сношения с шелковым рынком в Фергане и Кашгаре. Парѳяне ревностно берегли эти пути и так же как они не пускали туда Запад в лице римлян, закрывали они и дорогу китайцам к Средиземноморью. Китайские купцы доставляли шелка в т. наз. Каменную башню, Литинос Пиргос, в Сэриндии, т. е. Кашгарии.

*) Mutatis mutandis. Султан Селим I один из самых грозных противников Ирана, нанесший при Чалдыране (1514) жестокое поражение Шаху Исмаилу, был горячим поклонником персидской литературы и даже сам писал персидские стихи.—Отметим, между прочим, (значение шиито-суннитской розни разбирается ниже), что Шах Исмаил, признавший шиизм официальной религией Персии, был яростным противником суннизма. Он держал у себя кабана, которому дал кличку Баязид (Баязид Святой был отцом Селима). А. Крымский. Історія Туреччини. К. 1924 г., с. 121.

Нужно-ли подчеркивать, насколько неизменно, в сущности, значение всех этих торговых путей, каналов обмена между Востоком и Западом. Все эти подробности, касающиеся экономической базы отношений Рима и Парѳии, место, которое занимает в данном вопросе Иран, лежащий на южных путях сообщения по суше, все это касается не только отдаленных времен начала нашей эры. Подставьте имена России, Англии, Турции и Персии, задумайтесь на минуту о подступах к Индии, о железнодорожных проектах (Bagdad Bahn, Transpersan) и многое станет ясным в политике наших дней, в самой животрепещущей действительности. Нигде так отчетливо, так ярко не видна сила традиций, неизбежность известных конъюнктур, как при изучении истории старого света. Мы можем даже часто не отдавать себе в этом отчета, действовать под влиянием как бы рефлексов подсознательного, но подойдя ближе к вопросу, мы не можем с русской точки зрения не настаивать на значительности Азии для наших судеб, не можем не настаивать в то же время и на необходимости пересмотра всего нашего исторического развития как бы изнутри, а не извне по западному шаблону, не стараясь непременно рассматривать наш исторический процесс путем сравнивания его с Западом, но отдавая себе отчет, что вся наша устойчивость и все наше преимущество в упоре на Азию, в факте нахождения на путях евразийских. Упор на Азию, мы гораздо сильнее им, чем окном в Европу, которое так легко заколотить нашим противникам. Упор на Азию, в нем чувствуется сознание мощи, ощущается нечто срединное, крепкое, исконное. Сейчас больше чем когда либо видно, что если Запад с нами должен, не может не считаться, то это именно благодаря нашему выгодному положению в Азии. Мы в Азии у себя, это не одна фраза и нам только следует не уставая выявлять ее действительно глубокое всеохватывающее значение и анализировать историческую преемственность, не упуская обязанности и задания.

2

Вернемся в Иран.

Его географическое расположение определяет его историю. Расположенный на перекрестке трех культурных миров — китайского, индийского и греко-римского, он был предназначен играть роль посредника. Но только после падения Парѳии он оказался в состоянии играть ее должным образом.*)

*) Характерно, что слово Иран впервые применяется в политическом смысле для обозначения владений, простиравшихся от Евфрата и Персии до Инда и океана, при Сасанидах. Ардашир Бабекан называет себя Царем Царей Ирана (malkan malka Eraba), а его сын Шахпур и его преемники прибавляют к этому титулу еще и Аниран, что обозначает все не-иранское. — В смысле мифическом — Айрйана Ваэджо, Иран ваэдж, чистый Иран, согласно Вендидад, был первым местом сотворенным на земле и первым обитаемым ме-

Конечно, гений персидского народа наложил свой отпечаток на Аршакидов, как позже он повлиял на преобразование Арабов, Сельджукских тюрков и Монголов. Эта способность ассимилировать (мы на нее уже указывали) является одной из отличительных черт иранизма. Но все же у Пароян всегда оставалось что то от степного наездника и от эллинистического искателя приключений. Пароляне не хотели быть только Великими Царями Ирана. Иран, который выявлял себя через противупоставление Эллинизму и Туранизму, должен был в конце концов освободиться от изменявших ему Пароян.

Движение, свергнувшее пароянскую династию и с нею все чужие влияния, вышло из гор Фарса (собственной Персии, гор. Шираз). На развалинах ахеменидского Персеполиса там была выстроена новая столица Истахр. Ревностно хранились в Фарсе традиции древнего величия и более чем где либо чтилась там национальная религия, парсизм. При последних пароянских царях Фарс стал уделом одного чисто персидского рода, из Шираза, Сасанидов. Когда пароляне начали ослабевать в их борьбе с Римом и клонились к упадку, Сасаниды стали во главе народного недовольства. В 212 г. глава этого рода, Ардашир Бабекан, поднял знамя возстания под знаком борьбы с «туранским» миром, с эллинизмом и Римом. Возглавляемое им движение приняло характер священной войны. Ардашир, «слуга Ормузда», был связан с жрецами магами. Свержение пароянской династии Аршакидов было предпринято во имя национального культа и всемогущего жреческого сословия. Этому движению, черпавшему свои силы в персидском национальном сознании, пароляне не могли противупоставить никакого легитимистического принципа. В силу этого победа над ними оказалась сравнительно легкой. Ардашир очистил от них Сузиану, Халдею, Ассирию, разбил на равнине Вавилонской Артабана IV, погибшего в битве (226 г.). Столица Ктезифон пала. Азербейджан и Мидия были заняты в свою очередь. Ардашир вступил в Экбатану (теперь Хамадан), завоевал исконные пароянские земли Гирканию, Парою и Маргиану. Сасаниды укрепились на персидском престоле, который они занимали 4 столетия (212-637). Что касается бывших при Ахеменидах персидскими провинций Бактрии и Трансоксании, Сасанидам не удалось включить их в состав своей новой персидской империи. Эти провинции были сначала заняты Юэчи, о которых уже говорено было выше, а затем Гунами Эфталитами.*) Вновь,

стом. — Легендарный герой персидского эпоса Джемшид (основу имени которого сближают с индусским Яма и авестийским Іима), вывел якобы отсюда колонизаторов южной Мидии, Персии, Систана и всего вообще Ирана.

16) Бартольд, op. cit., с. В.: «белые гунны или эфталиты.., по мнению большинства ученых, были также ветвью юэчжийцев или тохаров». См. также у Cahun, Introduction à l'histoire de l'Asie, стр. 101, пр. 2, где указано, что имя Эфталитов дошло до наших дней, сохранившись как в названии туркменского племени Абдал так и одноименного афганского племени у Кундуза.

таким образом, Иран сталкивается с свежими силами Турана, которые приходят в движение под давлением кочевников, своих родичей.

Уничтожив господство Юэчи (385) Гуны Эфталиты в 429 г. вторгаются в Хорасан, сатрапию Сасанидов. Бахрам Гур, занимавший престол, только что как раз заключил мир с Византией, признавшей за ним Армению. Его победа над гунами, извечными врагами туранцами, снискала Бахрам Гуру громадную популярность в Иране. Память о нем жила в народе и много веков спустя, в мусульманский период истории Персии, поэты Исфагана и Шираза будут воспевать его ратные подвиги и его любовные приключения с прекрасной Диль Арам (см. ниже примеч. о «Heft Peikar» Низамия, посвященном Бахрам Гуру). Память о нем была особенно любезна Ирану еще и потому, что сейчас же после его кончины Эфталиты вновь стали чинить набеги на Хорасан. Это воинственное племя, родственное гунам Атилы, периодически вторгалось в Персию и в Индию (где тогда была Империя Гупта) через Кашмир.

Иездегерд II (438-456) был разбит Эфталитами. Он решил тогда заняться иранизацией Армении, чтобы возместить себя за отступление на Востоке. Введение маздеизма вызвало в Армении восстание, во главе которого стал Вартан Мамиконян, давший начало династии вассалов, правившей в течение VI в. Фируз Храбрый, восшедший на престол в 459 г., решил расправиться с Эфталитами в их же пределах за Оксусом (Аму Дарья). Кочевники не приняли боя и отступали на север. Когда тяжелая персидская конница удалилась от своих границ, Гуны окружили ее и уничтожили весь цвет персидской знати, с Фирузом во главе. (484).

Это поражение ярко освещает всю политику Сасанидов, которая обусловливается не столько соперничеством с Римом, как постоянной борьбой Ирана с Тураном. Сасаниды вынуждены были постоянно лавировать и делать уступки; они то обращались к Тюркам за поддержкой против Византии, то к Грекам за помощью против Турана.

Апогей могущества был достигнут Сасанидами при Хосрое Ануширване, начавшем царствовать в 531 году. Обстоятельства на северо-востоке сложились к тому времени удачно для Ирана. Там уже в течение ряда лет Гунам Эфталитам угрожали принадлежавшие к той же расе, алтайские Тюрки.

В 552 г. алтайские Тюрки основали в Ср. Азии громадную империю. Первые ее повелители Тумен, Ильхан Мокан и Добо Хан правили от Японского моря до Каспия. Тумен дал в удел своему младшему брату Истами западную часть этого государства. Истами был основателем государства западных тюрков, обнимавшего все тюркские племена на запад и на юг от Алтая (Или, Кашгария, Балхаш, Арал). В 567 г. Истами заключил союз с Хосроем Ануширваном против Гунов. Гуны были разбиты алтайцами и их земли были поделены с Сасанидами. Тюрки получили Трансоксиану с Ташкентом, Самаркандом и Бухарой, древние арийские земли, которые отныне будут называться Туркестаном. К Персии отошли Бактриана и нынешний Афганистан с

городами Балхом и Бамианом. Граница между Ираном и Тураном, прошла по Оксусу (А.-Дарии).

Если отвоевание Бактрианы, колыбели маздеизма, было для Сасанидов крупным успехом, то замена Эфталитов более грозным соседом, алтайскими тюрками, очень осложняла положение. Преемник Истами, Тарду Хан, желая использовать как можно выгоднее торговлю шелком между Д. Востоком и Византией, пути которой, как было уже указано, проходили через Тун-Хуанг, оазис Куча, Кашгар и Балх, отправил к Ануширвану посольство, которому было поручено добиться беспошлинного пропуска товаров через Персию. Получив отказ, Тарду отправил посольство в Византию, предлагая заключение союза против Сасанидов.*) Ослабленная войнами Юстиниана в Италии и Африке Византия не сочла возможным предпринимать большие тяжелые экспедиции. Ее попытка торговать шелком по морскому пути при поддержке христиан абиссинцев, овладевших Йеменом, была пресечена Ануширваном, который в 575 г. послал в Аравию армию подчинившую ему все южное побережье. Таким образом Сасаниды нераздельно господствовали над всеми торговыми путями между Д. Востоком, Индией и Западом. Стоило им пожелать и таким городам в Сирии как Берита и Тир, занимавшимся исключительно выделкой шелков, грозило разорение. Это положение изменилось, когда в конце VI в. несторианские монахи привезли с собой из Хотана в Константинополь секрет шелководства.

Мы дошли таким образом до момента завоевания Ирана Арабами, установившими не только свою политическую власть, но введшими и свою религию Ислам. В этом — отличие семитского влияния, глубоко проникнувшего в иранскую стихию и давшего ей, до известной степени, новое направление, от поверхностного эллинского влияния рассмотренного выше.

Национальная династия Ирана терпит битву под Кадисией (637). Последний Сасанид Иездегерд III, после ряда безуспешных попыток организовать защиту, погибает, как Дарий, убитый на берегу Мургаба (652) провинциальным правителем Мерва.

Вся сила иранского гения обнаруживается именно с особой яркостью после завоевания Персии арабами. На этом моменте настаивают все внима-

---

17) Уместно вспомнить статью П. М. Бицилли «Восток и Запад в истории старого Света» («На путях», 1922), стр. 320-321, где говорится о посольстве в Византию Бу-Мин'а. Между 567 и 572 г. г. тюрки делали попытки заключить союз с Византией, откуда к ним было отправлено два посольства, Земарха и Валентина. О подробностях см. у Cahun, op. cit., с.с. 108.-118. Тюркское имя Бу-Мин Каган соответствует Мокан Хану Китайцев и Дизабулю Греков.

18) Пр. Браун (op. cit., т. I., с. 36) особо останавливается на семитском влиянии в Иране во все периоды его истории: оно было *арабским* при последних Сасанидах и после водворения Ислама; *арамейским* в конце парфянской эпохи и в начале сасанидской; *ассирийским* в древней истории.

тельные исследователи судеб персидского народа. Если в политическом отношении после арабского завоевания мы видим как бы пробел истории Персии в течение более чем двух веков, то в области интеллектуальной Иран весьма быстро дает почувствовать то преимущество, на которое он имеет право благодаря своей одаренности и утонченности. Если исключить из арабской науки —мусульманской экзегетики, традиции (существенная для ислама—дисциплина), истории, биографии, и даже арабской грамматики, что написано персами, то она лишится лучшего своего достояния».*)

Реакция иранского духа нам станет особо понятна при рассмотрении ниже некоторых мусульманских сект и религиозных учений, в создании которых главная роль принадлежала персам. Со стороны социальной укажем, что представители персидской знати, крупные землевладельцы дихканы приняв ислама сохранили свои привилегии. Прочим же классам персидского населения было тяжело под игом арабских наместников. В политическом отношении иранский элемент усиливается и играет руководящую роль после того, как династия Омеядов, во второй половине 8 века, уступает место Аббасидам, пропаганда в пользу которых велась персами. Их черное знамя было поднято около Мерва, в исконной иранской провинции. При Аббасидах возрождается персидская административная и податная система, появляются везири-министры, из которых наибольшей известностью пользуется талантливая персидская семья Бармекидов (752-804). Более того, при дворе мусульманского халифа восстанавливается такой чисто иранский праздник (сохранившийся до наших дней в Персии одинаково и мусульманами и гебрами) как Ноуруз, т. е. Новый Год (день весеннего равноденствия и вхождения солнца в зодиак овна). Одновременно с этим процессом культурного завоевания иранской стихией новых господ страны, арабов, наблюдается и стремление к политической эмансипации отдельных провинциальных правителей на восточных окраинах. Так возникают мелкие династии Тагиридов (820-872) и Сафаридов (868-903) и более значительная Саманидов (847-999), в Бухаре. К этому периоду относятся и первые попытки персидского мусульманского литературного творчества. Старый иранский гений начинает выявлять себя в изменившихся культурно-политических условиях быта. При дворе Тагиридов и Сафаридов попытки эти носят характер спорадический. Они выливаются в определенное течение при Саманидах и расцветают при Газневидах, тюркской династии.

Историческая борьба Ирана с Тураном временно как бы возвращает в первые века Ислама, но затишье это лишь кажущееся.*) Турон не перестает про-

---

19) Браун op. cit., т. I. стр. 204.

20) Более точно положение представляется так, что Арабский завоеватель Трансоксианы, Кутейба, был не только полководцем, но и дипломатом, прекрасно разбиравшимся в ирано-туранских расовых и социальных отношениях в этой области. Туркам, в конце концов, оказаться fertius gaudens. «Трансоксианской знати и

сачиваться из средне-азиатских степей. Мы видим как не совсем доверяющие своим персидским подданным халифы Аббасиды начинают (впервые при халифе Мутавакиле, 847-861) прибегать к тюркам-преторианцам, Бога, (бык), Багир, Утамыш, Баябак, Кальбатакин и т.п. Это обстоятельство имеет крупное значение в дальнейшем развитии событий. Период с 847 по 1000 г., обозначаемый историками Востока как начало упадка халифата, характеризуется в первой своей фазе указанным фактом обращения халифов к услугам тюрков-преторианцев и заканчивается появлением на исторической арене тюрка, Султана Махмуда Газневидского (998-1030), свергнувшего династию Саманидов. В промежутке между этими двумя решающими событиями наблюдается не только политическое возрождение Персии (упомянутые династии, к которым следует прибавить Бувейгидов фактически владевших Багдадом и всей юго-западной Персией, и Зияридов, на побережии Каспия), но, главным образом пышный расцвет литературы. Фирдоуси, певец «Книги Царей», жил при дворе Саманидов.

Сельджуки продолжают ритм вторжений Турана. Отделившись от своего племени Огузов они кочевали в степях к северу от Сыр-Дарии, между Уралом и озером Балкаш. Их эпоним Сельджук получил от последнего Саманида в удел Дженд, на правом берегу Сыр-Дарии. При Махмуде Газневидском, занятом завоеванием Индии, Сельджукидам удается перейти через Сыр-Дарию. Тогрул Бек, «сокол», занимает Мерв (1031), Нишапур (1037) столицу Хорасана, и разбивает при Диндакане сына и преемника Махмуда Газневидского Масуда, (1039), которому оставляет только афганское нагорие и индийские владения. Первые Сельджукиды «сокол» Тогрул Бек, Альп Арслан («большой лев») и Мелик Шах (1072-92) об'единяют под своей властью всю мусульманскую и христианскую Азию: от Туркестана, Кавказа и Черного Моря до Индийского Океана и Счастливой Аравии, от границ Китая и Афганистана до Средиземного и Мраморного морей, подойдя чуть ли не под самые врата Царьграда. Альп Арслан в Армении берет в плен византийского императора Романа IV Диогена. (1071).

Резиденцией этих могущественных сельджукских султанов были чисто иранские города — Рей (тепер. Тегеран), Нишапур, Испаган, реже Багдад, и они не могли не поддаться ассимилирующему влиянию персидской среды. Если Тогрул Бек еще грубый кочевник, то его внук Мелик Шах был уже совершенно культурным персом. При нем, благодаря его воспитателю и визирю, просвещенному персу (но суниту!) Низам-уль-Мульку (автору известного политического трактата «Сиясет-Нама») Персия встает из развалин и переживает вновь золотой век своей литературы, которая блещет рядом крупных имен. Впрочем настроение, охватывавшее тогдашних персидских художников слова, не дышет жизнерадостностью, но пессимизмом. Омар Хеям, четверостишиями которого теперь увлекается Европа и Америка, с его безрадостной, грустной философской поэзией, жил при дворе Мелик Шаха.*) Он был другом юности Низам-уль-Мулька и благодаря ему получал жалованье в 1200 мискалей золота. (Браун эту связь отрицает).

Понимая все значение халифата в глазах мусульманского мира, Тогрул (1057) совершает обряд целования полы чёрного халата Каима, который сажает его рядом с собой, именует своим светским наместником и отдает ему свою дочь в жены. Акт крупнейшего исторического значения, благодаря которому эти туранцы, приобщаясь к арабской истории Ислама, становятся императорами мусульманского мира.

Но Иран не может простить Тогрул Беку, что в замен шиизма Буидов**) он ввел суннизм. Значение этого раскола в Исламе будет разобрано в своем месте. Здесь же можно отметить, что иранская религиозная мысль при Сельджукидах выливается, между прочим, в исмаилизм,***) давший Египту династию Фатымидов, а Ирану резко воинствующее рационалистическое движение с определенным политическим характером, т. наз. Ассассинов (точнее Хашишинов, курильщиков Хашиша). Под начальством некоего Хасана Саббаха секта эта сначала овладевает неприступной крепостью Аламут (1090), около Казвина, затем ее организация разростается и в течение двух веков она терроризует Персию и Сирию. Основатель секты, как характеризует его один французский историк, прибегая к ницшеанской терминологии, был «сверхчеловеком который, установив генеалогию морали и познав иллюзию жизни, пришел к тому, что в своем поведении руководился лишь интересами своей секты». Этот глава мистико-политического ордена вел образ жизни аскета и пользовался громадной властью, благодаря слепому послушанию и преданности фидаи (термин этот значущий: «приносящий себя в жертву» мы встречаем вновь в годы персидской революции), тайне окружавшей его организацию и внезап-

---

духовенству он противопоставил народные низы, против Турок возбудил недоверие и антипатию иранцев» (Cahun, op. cit., c.c. 129, 134). Один лишь раз, в 708 г., Иранцы и Туранцы схватились вместе за оружие против Арабов, но Кутейба сумел и тут выйти из положения путем интриг. — Словом, если нельзя говорить, о прямом арабо-иранском союзе против Турана, то следует констатировать косвенные причины успеха Ислама в лице арабов-завоевателей, лежащие в иранотуранской розни. Первая мечеть в Бухаре была построена в 712 году.

*) А. Кримський, Історія Туреччини, Київ 1924, с. 4.

**) О шиизме Буидов или Бовейгидов см. у А. Кримського (Ист. Персії, с. 127-131). Халиф суннит в Багдаде был просто инославным первосвященником, который (чисто теоретически) давал инвеституру своим вассалам-Буидам.

***) Нужно отметить (Browne, t, I, с. 407), что Исмаилиты настолько далеко зашли в своем рационализме, что Шииты считали их безбожниками. Исмаилиты имели в истории Ислама ряд имен: Саб'и, Батини, Таалими, Фатими, Кирмати, Малихида, Хашиши. — Любопытная подробность: теперешним представителем Исмаилитов является некий Ага-Хан, богатейший спортсмэн, большую часть времени проводящий не в Индии, а на скаковых полях Запада.

ности наносимых ударов. Под ударами фидаи падает Низам-уль-Мульк (1092), бывший школьным товарищем Хасана Саббаха. В 1135 г., в Мараге, погибает Халиф Мустаршид, равно как халиф Рашид, отправившийся для наказания убийц, которого в Хамадане убивают (1136 г.) его слуги, входящие в организацию Ассассинов.

Указание на это типично иранское явление нам представляется не лишним. Оно нам дает понять в каких религиозно-политических формах иранство реагирует в иных случаях против туранства, даже если Туран принимает все культурные навыки Ирана.*)

Но главная опасность грозила Сельджукидам от их же сородичей, оставшихся в кочевьях Средней Азии. Мелик Шаху приходится усмирять Карлуков в Бухаре, Караханидов в Кашгарии. Все почти царствование Санджара (1118-1157), другом которого был знаменитый поэт Энвери, сопровождавший его во всех походах, проходит в борьбе с кочевническими ордами Турана. То есть вновь повторяется с все той же закономерностью уже не раз нами отмеченное на протяжении долгих веков явление: обиранившиеся представители Турана стоят на страже Ирана, защищая его от своих вчерашних родственников, которые еще не подвали под культурное иранское влияние. Образ Санджара рисуется в этом отношении особенно выпукло и на самом деле его имя оставило после себя в истории Ирана репутацию благородства и отваги, соединявшихся с большим литературным вкусом. «Этот исламизованный тюрк играл в отношении тюркских кочевников ту же роль, что великие цари Сасаниды, а после них Эмиры Саманиды играли в отношении его собственных предков.»**) Санджару приходится иметь дело с Кара Хитаями***), Шахами Харезма и уже названными раньше Огузами. Кара Хитаи происходили из Сев. Китая и в 1126 г. основали обширное государство в Восточном Туркестане, в Кашгаре и на берегах Чу и Или. Тюрки по расе, китайцы по культуре, буддисты или конфуцианисты по религии, они являлись грозной опасностью для иранской цивилизации. Харезмшах Атсыз «(безлошадник») из тюркского племени Канхлы, сбрасывает вассальскую зависимость от Сельджукидов. Тюркам Огузам удается даже взять в плен Санджара (1153) в Хорасане. Он бежит от них через 4 года к себе в Мерв и умирает. С его смер-

*) Можно отметить, что византийские хроники зачастую именуют Сельджуков «царями царей», т. е. дают им исконный иранский титул.

**) R. Grousset, Histoire de l'Asie, v. I, p. 189.

***) См. очень интересную статью известного монголиста В. Котвича о Хитаях и их письменах в Львовском сборнике «Roeznik Orjentalistyczny», t. II, 1919-1924. Народ этот играл важную роль в истории Азии, на Д. Востоке в X-XI вв., а затем в Ср. Азии в XII и даже XIII в. Его имя мы находим перешедшим в наше слово Китай. По мнению пр. Котвича, раса, игравшая главную политическую роль в образовании Китайского государства была монгольской, но в состав этого государства входили и тюркские племена.

тью Трансоксиана подпадает под власть Харезмшахов и Кара Хитаев. Окончательное прекращение Сельджукской династии относится к 1194 году, когда в бою с Харезмшахами под Реем погибает Тогрул III. Этот потомок степных наездников Турана, устремляясь в битву с ними, чувствовал себя настолько персом, что декламировал стихи из Книги Царей.

В свою очередь иранизовались и Харезмшахи, к эпохе которых относится вторжение Монголов в Персию, являющееся последним поворотным пунктом в истории Ирано-туранских отношений. Мы можем здесь остановиться в нашем историческом конспекте, целью которого было проследить восхождение в глубь веков корней тех настроений, которые характерны и для сегодняшних персов.

Как мы только что убедились, роль Сельджукидов в истории Востока была весьма существенной. На место арабов тюрки стали господствующей расой Ислама. Факт появления тюркского султана в роли зятя Халифа как бы предрешал появление турецкого халифа.

С другой стороны, победы Сельджукидов окончательно открыли Иран кочевникам Средней Азии. Удача Тогрул Бека создала прецедент. После него напрасно Сельджуки пытались организовать сопротивление: единокровные им племена, кочевавшие от Желтого до Каспийского моря, устремились по тому же пути... Культурно историческое значение сельджукидов, принявших Ислам, состоит в том, что впредь все эти кочевники, одни за другими, будут принимать Ислам и тем самым приобщаться к арабско-персидской цивилизации.*)

Остается отметить, что с Запада у Ирана, начиная с XI-XII в., соседями являются государственные образования, происходящие от туранского корня. Малая Азия была завоевана сельджукскими ордами и в течение XII-XIII в., образовывала самостоятельное сельджукское султанство. Монгольское нашествие, прокатившееся по М. Азии, в числе многих других племен, увлекло за собой Османов, тоже происходивших от Огузов, названных так по имени

*) «Появление сельджукских тюрков является важной эпохой в мусульманской истории. К тому времени империя халифов исчезла. То что было ранее единым владением под властью единого мусульманского правителя стало собранием разбросанных династий... Персия распалась на множество провинций Буейгидских Принцев или же находилась под властью мелких незначительных династов... *Ощущалась надобность в сильном лекарстве и оно было найдено во вторжении тюрков.* Эти суровые кочевники, непокорченные городской жизнью и цивилизованным безразличием к религии, приняли Ислам со всем жаром их простящих душ. Они пришли на выручку умирающего государства и вновь оживили его... Они вдохнули новую жизнь в выдыхавшееся рвение мусульман, отбросили назад вновь наступавших Византийцев и воспитали поколение фанатических мусульманских бойцов, которым крестоносцы обязаны своими поражениями». (Стенли Лен Пуль у Брауна, op. cit, т. 2 с. 166)..

Османа сына Эртогрула. Эртогрул стал в вассальные отношения к малоазиатским сельджукам и ему был дан удел во Фригии, на границѣ византийских владений. Сын его, Осман, в 1289 г. получил звание эмира и был эпонимом династии, с которой связана вся история Турции. Характерно, что малоазиатские турецкие владения получили еще у арабов название Рум, т. е. Рим, или часть восточно-римской, византийской империи. Так государственное образование тюркского корня, укрепившись на Западе от Ирана, принимает имя исторического соперника Сасанидов. Тут важно не одно имя, но и известное преемство, так как в последующих отношениях Турции и Персии, рассматривать которые здесь не место, часто наблюдается параллелизм с более ранними историческими событиями. Как Рейн в Европе, Ефрат в передней Азии является осью, вокруг которой развиваются многие важные исторические события.

3

После произведенного нами анализа, могущего показаться излишне кропотливым, после установления как бы закона повторяемости в ритме отношений Ирана и Турана (Персии и степи), из которых первый, утонченный и культурный,*) пропускает через свою «выучку» все новые ряды неотесанных кочевников, быстро поддающихся влиянию Иранской стихии, нам становится ясным почему Перс смотрит на Турка несколько свысока на каждом шагу. Вы услышите сотню анекдотов выставляющих турка в смешном виде, вам расскажет профессиональный рассказчик-подражатель с тюркским акцентом, как доверчивого и богомольного азербейджанца обирают, пользуясь его доверием, муллы в Куме у гробницы непорочной Фатимы или в Мешхеде у святыни Имама Ризы, «О Боже, ты создал, осла, зачем же еще и тюрка!» оговорится невзначай с усмешкою иранец.

Отнюдь не желая придавать преувеличенного значения подобного рода наблюдениям, мы все же считаем себя в праве и на этом примере подчеркнуть это резкое отличие совершенно разных духовных типов. Помимо рассмотренных уже политических поводов, вызывавших и углублявших это различие, оно определилось со времени мусульманского периода истории Ирана еще и моментом религиозным.**)

---

*) Иран принадлежит к кругу «периферических» культур Ст. Света, Туран весь в срединном степном континенте.

**) Мы излагаем здесь основные черты шиизма согласно Л. Ф. Богданову, op. cit., — Мы считаем что шиизм нашел себе наиболее яркое выражение у иранцев, хотя нам знакомы, как мнение I. Goldziher'a, Le dogme et la loi de l'Islam, с. 195, так и охотно на него ссылающегося турецкого историка религии и ректора Константинопольского университета, Мемед Фуада Кепрюлю Заде, который очень интересно пытается сблизить суфийское «радение» с тюркским шаманст-

Как известно персы шииты, а турки сунниты. Шииты—значит «последователи», т. е. последователи Али, двоюродного брата пророка Мухаммеда и мужа его дочери, Фатимы. Они считают его единственным законным халифом (преемником пророка) и дают только ему титул повелителя правоверных, считая, что Абу Бекр, Омар и Осман, первые три халифа, были узурпаторами халифата. Раскол, смутно чувствовавшийся уже при жизни пророка среди его последователей, вспыхнул с большей силой после его смерти. Основным пунктом розни послужил переход власти в руки Абу Бекра, тестя пророка, тогда как, по мнению шиитов, все права на халифат имел Али. Они утверждают, что сам пророк, получив откровение от Бога, назначил себе преемником Алия. Шииты подтверждают это указанием на Коран, толкование которого у них разнится от суннитов. Али вступил на халифский престол лишь после трех первых халифов, в 35 году гиджры. Появившийся в то время в Сирии полководец Муавия об'явил себя претендентом на халифат (отсюда династия Омейядов). После убиения Али в Куфе, халифом был избран его старший сын Хасан, который отказался от власти в пользу Муавии, под условием наследования ему. Но по смерти Муавия ему наследовал сын его Iезид, и с момента его вступления начинается, собственно, раскол в той форме, какую он сохранил и по сей день. Шииты признают имамами, т. е. законными наследниками-халифата, духовными руководителями правоверных, Алия и одиннадцать его потомков по прямой линии, причем двенадцатый имам Мухаммед Мехди, по преданию, не умерда исчез в 260 г. гиджры, где то вблизи Багдада. Шииты увѣрены, что он жив до сих пор и в свое время явится, чтобы предъявить свои права на верховное главенство в мусульманском мире. В настоящее время, за отсутствием имама, шииты в духовной жизни руководятся решениями муш-

---

ном, и т. д. (см. акты Congres International d'Histoire des Religions, Paris, 1925). — Гольдциэр говорит: «Шиизм, диссидентская доктрина, был воспринят с таким же рвением кочевыми Арабами, проникнутыми легитимистскими и теократическими идеями, как и Иранцами. Разумеется, та форма оппозиции, которую он в себе заключал, приялась последним как нельзя более по душе, и они охотно примкнули к этой форме исламской мысли, на последующее развитие которой они могли оказать известное влияние через их старую наследственную идею о божественности царской власти. Но первые проявления этой идеи (т. е. шиизма) в Исламе вовсе не предполагают таковых влияний. Шиизм настолько же, в корнях своих, является арабским, насколько и сам Ислам.» — Мы привели это мнение выдающегося исламоведа, хотя у нас и возникают некоторые сомнения относительно «легитимизма» кочевых арабов. В подтверждение нашей мысли о параллелизме антитезы Иран-Туран, Шиитство — суннитство, см. также, например, у Cahun, op. cit., с.с. 155-156, где указывается, что Тюрки, «эти окитаенные язычники, сердце которых было в десять раз чувствительнее ко Христу или Будде, чем к Мухаммеду», приняли Ислам в его ортодоксальной форме именно в силу традиционного духа противупоставления себе, отличии от еретиков-шиитов Иранцев. «В Ср. Азии социальная политика имела своим продуктом религию».

техидов, т. е. ученых богословов. Шиитская религия стала государственной религией Персии со вступления на престол первого Сефевида Шах Исмаила в 1502 г. Исследователи Ислама полагают, что одной из главных причин быстрого распространения шиитского толка среди персов был рассовый антагонизм между арийским местным населением и завоевателями-семитами. С другой стороны важным стимулом следует считать свойственный персам взгляд на престолонаследие, как божественное учреждение, который получил полное свое развитие при Сасанидах. Демократический принцип избрания, естественный для арабов, ничего не говорил иранцам. Омар, завоеватель Персии и разрушитель ее исконного государственного строя, естественно, не мог возбуждать к себе в персах симпатий. Хусейн, младший сын дочери пророка и муж дочери последнего Сасанида Iездегерда — Биби Шахрбану, с одной стороны являлся законным наследником халифата, а с другой стороны, братом с дочерью Сасанида, казался как бы восстановителем угасшей местной династии. Имамы в глазах персов являются не только духовными главами, но еще и потомками иранских царей. Иными словами в историческом факте шиитского раскола следует видеть не только попытку разного богословского толкования Корана и преданий, но еще (и может быть больше всего), мы должны рассматривать шиитство как своеобразную форму персидского легитимизма.

Эта связь раскола с национальной исторической традицией уясняет нам ту преимущественную роль, которую он и до сих пор играет в представлениях Ирана. Прибавим сюда еще трагическое воспоминание о смерти как самого Алия, так и Фатимы и Хасана и Хусейна, которому посвящен траурный месяц Мухаррем. В первые десять дней этого месяца вся Персия снова переживает печальную историю Имама Хусейна и его семьи. Всюду идут религиозные представления, тазийе, что значит «оплакивание».*) На десятый день совершаются самоистязания. Одетые в белые саваны самоистязатели начинают рубить себя кинжалами по голове, восклицая «Шах Хусейн! увы Хусейн» Иногда слышатся возгласы «о Али, лев Господний». Эти торжества Муххарема кладут такой сильный отпечаток на религиозное воззрение шиитов, что однажды, замечает Л. Ф. Богданов, на вопрос: «какой сегодня праздник, мне пришлось услышать от одного простолюдина — сегодня день убиения пророка! Так укоренилось убеждение, что все святые погибли мученической смертью от руки еретиков суннитов».

Указав на религиозную сторону различия между Ираном и Тураном мы должны вкратце коснуться той характерной черты психологического иранского типа, которую мы назвали в начале статьи миссионерством.

---

*) О развитии этих своеобразных шиитских мистерий из траурных процессий см. А. Кримський, Перський театр. Київ 1925. Очень интересная и ценная работа, в которой привлечен и критически освещен весь материал по вопросу, как восточный так, и западный.

Иранское отношение к вопросам религии, в которые вносится вся страстность, одаренность, склонность к отвлеченному мышлению, способность к мистическому озарению, дух полемики, словом все то, что так расходится с туранским духом повиновения, принятия догм, как несомненных данных, все эти черты вырисовываются не только в мусульманский период.

Возьмем например послание, относящееся к началу V в., обращенное правителем Армении, полководцем Михр Нерсех к князьям Великой Армении Это один из ценных документов по истории маздеизма при Сасанидах. Для нас важна не столько его документальная сторона, сколько психика персидского генерала выступающего в роли религиозного проповедника, миссионера вступающего в диспут с иноверующими. «... Михр Нерсех, великим губернаторам и князьям Великой Армении, привет. Знайте что всякий человек живущий на земле и не придерживающийся религии последователей Маздеизма глух, слеп, и обманут сожигающим змеем дэвов...» Михр Нерсех излагает затем основы учения дуализма и переходит к опровержению христианства. Тут особенно ярко вырисовывается образ того, скажем, начетника, с которым совершенно не вяжется наше представление о туранском типе, но который нас ничуть не удивляет в лице иранского правителя. — «Люди говорящие, что Бог создал смерть и что добро и зло происходит от него, находятся в заблуждении, как например, христиане, которые говорят, что Бог, раздраженный тем, что его слуга съел смокву, создал смерть и этой карой наказал человека. Следовательно Бог подвержен гневу и хотя он не человек, но он имеет что то общее с человеком... Затем является другое заблуждение тех, кто говорит: Бог, который сотворил небеса и землю, явился и рожден женщиной, которую называли Марией, а супруг ее именовался Иосифом... Земля римлян, следующих этой грубой ошибке, находится в самом глубоком невежестве: они совершенно лишены религии, что и вызывает поражения их оружия. Также и вы почему следуете вы их бессмысленным ошибкам? Примите религию вашего Господина, примите ее так как нам надлежит дать отчет о вас Богу. Не верьте Вашим вождям, которых вы называете Назареянами...» Генерал-проповедник бичует аскетизм, пост, отрешение от земных благ. «Но самое отвратительное... это что Бог был распят на кресте людьми, что он умер, был похоронен и что затем он воскрес и вознесся на небеса... Ведь дэвы, которые злы, не могут быть схвачены и терзаемы людьми, как это было бы возможно в отношении Бога, Творца всех творений?!»

Послание заканчивается предложением ответить по пунктам или же явиться ко двору для религиозного диспута. — Попутно укажем, что терпимость Сасанидов к несторианам, их подданным, является результатом политических соображений. В глазах Восточной Римской Империи несториане ведь были (в извѣстный момент) еретиками.

После завоевания Ирана арабами мы видим как персы, подпавшие под чуждую им религиозную власть, стараются разложить ее и наложить свой иранский отпечаток на новые верования, навязанные им силою меча. Нами было уже отмечено какую позицию заняли персы в вопросе о халифате. Следует указать, что Омейядская династия особо ненавистна персам. Ведь трагическая кончина горько до сих пор ежегодно оплакиваемых Хасана и Хусейна относится к утверждению этой династии. В деле ее свержения персидские дачи—термин, который здесь можно перевести словом агитатор,—приняли деятельное участие. Главные причины свержения Омейядов и воцарения Аббасидов заключается: 1) в только что указанной ненависти к Омейядам мусульман не арабов, гл. обр. персов; 2) в шиитском движении, или культе потомков пророка; 3) в ожидании Мессии. Мы видим как тесно в мире Ислама переплетаются мотивы религиозные с мотивами политическими. Не следует, однако, думать, что воцарение Аббасидов положило конец религиозному брожению и поразительной религиозной активности персов. Мы можем лишь вкратце коснуться этой темы.

Секта мутазилитов или кадаритов, приверженцев учения о свободной воле, была основана персом Уасыль бен Ата-аль-Газалем. Основными идеями этой секты были: Божественная справедливость и единство. Божественная справедливость, так как, согласно ортодоксальной мусульманской идее предопределения, Бог оказывается карающим человека за грехи, которые ему положены неизбежным роком, и является, следовательно, безжалостным тираном; Божественное единство, так как для ортодоксальной партии Коран совечен Богу и сосуществует с ним, между тем как Божественные свойства представляются как бы отдельно от Божественной сущности, что обозначает многобожие. Эта секта достигла особого расцвета при халифах Аль Мамуне (813-833) и Аль-Уасыке (842-847). Мы ясно видим тут работу очень живой иранской мысли. Мутазилиты сознавали что доктрина типа крайнего кальвинизма, фатализма, в конечном счете приведет к уничтожению стимулов всякого усилия и исключит возможность прогресса. Буквальное толкование Корана, вытекающее из взгляда на его вечность, и в прошлом и в будущем неизбежно сузит религиозную мысль. Она лишается гибкости, приспособляемости к новым условиям, утратит убедительность для мыслящих людей. Вера в то, что Бога можно увидеть приведет к антропоморфизму и принижению концепции Божества. Мутазилиты как бы предвидели имевшую наступить позже реакцию в Исламе против всякого вольнодумства. Эта реакция, по мнению специалистов, усугубила последствия, которые монгольское нашествие оказало на работу иранской творческой мысли. Добавим, что учение мутазилитов развивалось не без влияния философии Аристотеля.

Вся вторая половина 8-го века и первая 9-го заполнены рядом восстаний, в основе которых лежит и шиитский раскол и доисламские верования Ирана,

В особом упоминании нуждается шиитская секта исмаилитов.*) Исмаилиты, в отличие от шиитов двунадесятников признают вместо общешиитских 12 имамов только 7. Они в дальнейшем своем развитии превратились в чисто-рационалистическую секту, которую ни одни правоверные не считали мусульманской. На примере исмаилитов особенно удобно проследить миссионерский характер ее эмиссаров. Тип миссионера, который нами отмечен был выше уже в эпоху Сасанидов, прошел как бы непрерывным через всю персидскую историю вплоть до наших дней и в данном случае несущественно, проповедывается ли официальная религия Зороастризма, раскольничий шиизм, исмаилитство или, как сегодня, это бабизм, стоящий в оппозиции к государственной религии Ирана.

Итак исмаилитский дачи—миссионер, у которого знание людей и приспособляемость к обстановке гораздо выше рядового миссионера-европейца имел всегда для отвода глаз какую-нибудь профессию. Благочестивым образом жизни, услужливостью он старался создать в окружающей среде круги приверженцев, которым и начинал очень осторожно излагать свою доктрину, будучи готовым при малейшем признаке подозрения у слушателя превратиться в правоверного мусульманина. Ближайшей задачей такого миссионера было заинтересовать своей проповедью о скрытом знании, о символическом характере религиозных правил, о необходимости их духовного понимания, а не внешнего соблюдения. Когда интерес был в достаточной мере возбужден, следовало заявление о том, что подобные божественные тайны могут быть раскрыты только тому, кто свяжет себя клятвой преданности Имаму данной эпохи. Только после этой клятвы и обязательства совершать регулярные взносы наступал переход к следующим степеням посвящения, которых у исмаилитов насчитывается девять. Мусульманская догма фактически уступала место дуализму на седьмой ступени, а на девятой вообще не оставалось никакого религиозного догматизма, а одна чистая философия, среди систем которой вновь посвященный волен был избирать наиболее подходящее к своим вкусам (манихейство, зароастризм или же системы Платона и Аристотеля).

Ясно, что миссионер, на котором лежала подобная сложная и психологическая и философская работа должен был обладать незаурядным диалектическим дарованием и живым умом. Мы имели случай убедиться выше, делая обзор сельджукского периода, насколько была успешна исмаилитская организация Хашишиинов, имевшая разветвления вплоть до двора самих халифов. Мы видим в этом факте лишнее подтверждение сказанного нами о духовном тяше ираиства.

Проф. Браун останавливается на той разнице, которая существует в отношении религии между западными (не русскими и не евразийскими) воззрениями и идеями персов.

---

* Начало ее распространения относится (Browne, t. I., c. 351). к 260 г. Гиджры, т. е. 873-874 г. нашей эры.

«Европейцам все эти рассуждения об «именах» и «числах» и «буквах»; эти беседы о сущности, тонкостях и явлениях божества; эти далеко идущие уподобления и поразительные рассечения волос, кажутся, как правило, не только сухими и непривлекательными, но абсурдными и непонятными...»*)

Пр. Браун считает также, что не следует с европейским мерилом подходить к актам самопожертвования и бесстрашия проявляемого адептами подобных учений на Востоке. Мотивы этические или политические, по его мнению, если и играют роль тут, то только второстепенную.

Было бы, конечно, весьма полезно оценить несомненно своеобразное религиозное ощущение Ирана не с только что изложенной романо-германской точки зрения, а с православной, русской.

Тот же пр. Браун находит, однако, разбирая учение персидских мистиков суфиев, что если перевести на персидский язык Экарта, Таулера или Св. Терезу, то они будут приняты за творения суфийских шейхов. У суфизма есть очень много общего с нео-платониками, с которыми, со своей стороны, соприкасается православная мистика. Имя Плотина знакомо мусульманскому Востоку, где его называли греческим учителем (Аль Шейх уль Юнани). Еще лучше знаком Восток с Порфирием. Является однако вопрос, какие элементы философии неоплатоников заимствованы ими первоначально у того же Востока? Особенно от Персии, страны, которую Плотин посетил намеренно для изучения ее философских систем. И далее, в какой мере семь философов неоплатоников (Диоген, Гермий, Эвалий, Приссиан, Дамасский, Исидор и Симплиций), бежавшие от нетерпимости Юстиниана и нашедшие убежище у персидского двора, у Сасанида Нушрирвана**) (532 г.), занимались распространением своих идей в Персии и основали ли они там школу?

*) По этому же поводу следует упомянуть, как это подчеркнуто пр. Брауном, что на Востоке вплоть до нашего времени есть тенденция связывать *письмена* с религией в большей степени нежели язык (сирийские христиане пишут по арабски, но сирийским алфавитом; армяне и греки, говорящие по турецки, пишут на этом языке своим алфавитом; то же наблюдается в отношении персидских евреев, испанских мавров, писавших по-испански арабским алфавитом; наконец, пехлевийский алфавит был тесно связан с зороастризмом; принимая Ислам персы его бросали). — Относительно начертаний по шиитскому верованию, например, Али заявлял, что он есть «точка под буквою ба» (изображающейся в виде слегка поднятой на концах горизонтальной черты, под которой ставится одна диакритическая точка); буква же «ба» является первою в формуле Бисмиллаги..., которою начинается Коран. — Баб приписывал решающее значение цифре 19 — числу букв в этой же только что упомянутой формуле, и вместе с тем цифровому значению слова уахид, единый. Сила традиции на Востоке видна, как говорит пр. Браун, из того, что и в Авесте, священной книге Зороастра, один лишь стих (Ахуна Вайрья) является тоже квинтессенцией и основой всего откровения Авесты. (Browne, op. cit., t, I, pp., 8, 98.).

**) В употреблении нами безразлично имен Ануширван и Нушрирван нет противоречия. Аношак Реван есть иранская форма. Нушрирван арабская.

Суфизм, ставший известным нам и Западу, главным образом, благодаря классическим творениям таких персидских поэтических гениев как Омар Хайям, Ферид уд Дин Аттар, Хафиз и др. выработался в определенную систему в начале 9 века. Он особенно пышно расцвел на персидской почве, но является учением эклектическим, впитавшим в себя древне-христианско-аскетические начала, через арабов, и буддийскую созерцательность, в более поздний период, через Индию. Есть теория, которая и в суфизме склонна видеть проявление арийской реакции против силой навязанного семитского монотеизма. — Интересно впрочем отметить, что бабы ненавидят Суфиев одинаково как и Шииты.

6.

Мы постарались в исторической перспективе и опираясь на некоторые особенности иранского духа провести параллель между психологическими типами Ирана и Турана. Остается определить какое место в путях исторического процесса занимает между ними Россия, вернее каковы отношения России к Ирану, так как русско-туранские отношения уже были освещены на страницах «Евразийского Временника».

Первое, что мы вынуждены констатировать в этой области — это ее почти совершенная неразработанность. Насколько влияние Турана на судьбы России, на выработку ее государственности, на ее язык и на этнический состав кажутся чем то очевидным, почти не требующим доказательств (сам факт никем не отрицается, разнятся лишь оценки), настолько менее понятны и ощутительны для нас русско-иранские взаимоотношения. Тут нам приходится установить прежде всего факт нашего языкового сродства с Ираном. Языковедение нас учит тому, что русский и персидский языки принадлежат к одному семейству. Среди говоров индо-европейского праязыка определенно выделяются две основные категории — говоры восточные и западные. С течением времени восточная группа дифференцируется, дает ответвления: языки индийские, иранские (без армянского) и славяно-балтийские. Индийские арийцы создали свою весьма развитую и своеобразную цивилизацию. Судьбы иранцев мы касаемся на этих страницах. От Балтов, втянутых в орбиту западной цивилизации, осталось очень немного. Славяне же распались на две основные группы — западную и восточную. Первая пошла по путям романо-германской культуры, вторая, русская, путями иными.

Успехи исторической науки отодвигают в более ранний период еще до Р. Х., наше знакомство с теми культурными элементами, наличность которых в Южной России имела определенные последствия для русской истории, как это установлено проф. М. И. Ростовцевым в его труде о Греках и Иранцах в южной России. Из его увлекательного и строго научного изложения мы

узнаем какова была историческая роль скифов и сарматов и в какой мере можно считать установленным их влияние на судьбы России, которые должно рассматривать не только с момента участия в них славянского племени, но и ранее. Представителями сарматов — Алан являются, как известно, Осетины, над языком которых так много потрудился В. Ф. Миллер, создавший, между прочим, и осетинскую азбуку. Что касается влияния иранского искусства на русское, то для изучения этого вопроса еще почти ничего не сделано (см. между прочим статью А. Грабара, «Итальянская живопись и Восток», «Звено» 1-8-1926, где мимоходом говорится о желательности разработки этой темы и для нашего искусства).

Мы не можем однако отказаться от удовольствия привести некоторые выводы из статьи проф. М. И. Ростовцева, читающейся с волнующим интересом, благодаря широким перспективам, которые она набрасывает (L'art Chinois de l'epoque de Han, M. Rostovtzeff, Revue des Arts Asiatiques, Octobre 1924). *)

«Я говорю об иранском искусстве. Но имеем ли мы право называть этим именем скифо-сарматское искусство? Я думаю, что да. Большинство Скифов было наверно иранского происхождения, а Сарматы были без всякого сомнения самыми близкими родственниками Мидян, Персов и Парфян. Но древне персидское искусство столь отлично от безхитростного и патетического, чисто орнаментального, кочевнического по своему существу искусства скифо-сарматского. Но что мы знаем о древне-персидском искусстве? То что дошло до нас в столицах Империи, бывшей под вавилонским и эллинским влиянием. Но это искусство имперское, смешанное, вторичное отражение мировой империи, оно не национально. Возьмите находку на Оксусе. Она гораздо более похожа на скифо-сарматское искусство. А что знаем мы об искусстве парфян? Почти ничего. Ведь только что начинают относиться с уважением к парфянскому слою в мессопотамских раскопках. Таксила (столица индо-скифов) есть только передовой пост. Настоящие центры парфянской жизни не были до сих пор исследованы. — А вот Сасанидское искусство, столь мощное и своеобразное, так мало известное и так мало изученное. Можно ли утверждать, что это есть искусство производное от ассирийских и древне-персидских реминисценций, искусство подражательное, приспособляющее к этим реминисценциям артистическую традицию греко-римского мира? Отнюдь нет. Великие, истинные традиции иранского искусства проявились вторично в этом сильном национальном искусстве и имели громадное влияние на Византию и даже на

*) См. также Краткий отчет Экспедиций по исследованию Сев. Монголии в связи с монг. тибетской экп. П. К. Козлова, Л. Град. 1925, статью Т. И. Боброк, в которой устанавливается существование культуры скифосибирского типа в бассейне Селенги. Звериный стиль позволяет заключить о существовании в античное время от причерноморских и прикаспийских областей до Сибири и Центра Азии и даже в Древнем Китае — скифосибирских культур.

Западную Европу, влияние, которое скрестилось с влиянием занесенным в Европу Готами, Аланами, Гунами, которые все были носителями скифо-сарматского искусства. — Знаем ли мы место происхождения этого (иранского) искусства, колыбель иранской нации? Нет. Раскопки должны открыть нам эту колыбель. Ее не найдут ни в южной, ни в центральной России, ни в Сибири, ни на Урале или на Алтае. Быть может это Китайский Туркестан? Не Монголия ли это? Я ничего не могу сказать. — В начале первого тысячелетия до Р. Х. совсем сложившееся иранское искусство водворилось в Китае и Южной России. В Китае оно создало стиль Чеу, в России — скифское искусство. В течение столетий оба искусства развивались под различными влияниями. Искусство Чеу стало национальным китайским искусством, скифское искусство эллинизировалось и начинало вырождаться и умирать, когда новая волна иранских народов разлилась по южной России, по степям Сибири, в горах Алтая, волна, несшая с собой искусство, сродное скифскому, но развивавшееся вне Скифии и может быть под влиянием идущим из Персии, вдохнувшая новую силу и мощь. Это искусство утвердилось в России и оттуда, впитав в себя некоторые германские влияния, оно распространилось по средней Европе. Это был левый фланг великой Иранской армии. Правый фланг проник в Китай, где он должен был вызвать вновь художественное возрождение, которое не пришло в упадок, не достигло самых крупных артистических успехов. Наконец, центр, авангардом которого была Персия, под именем Парфян и Сасанидских Персов, явил собой необычайное развитие, был соперником римской империи и остался крепким и мощным даже после упадка этой империи. История этого искусства еще должна быть написана.» *)

Если в отношении древней истории наша осведомленность совершенно еще недостаточна, то зато мы располагаем достоверными указаниями арабских географов, на сношения Бухары при Саманидах (IX-X в.в.) с Поволжьем, Прибалтикой и Скандинавией. Богатые клады саманидских монет, находимые в Сев. Зап. России (напр. у Великих Лук, Псковской губ.) доказывают, что вывоз северных продуктов (меха, янтарь) значительно превышал ввоз южных товаров (всякого рода тканей, особенно, шелковых, самоцветов и,

*) Обращаем внимание на то, что проф. М. И. Ростовцев определяет скифосарматское искусство, как искусство «иранское», по признаку этнической принадлежности его носителей; согласно же выдвинутой выше точке зрения «месторазвития» (см. предисловие к статье) — это искусство является «кочевническим», степным — и в этом смысле аналогом и предшественником туранского искусства. Спорить в этом случае не стоит: точка зрения этническая и «месторазвития» не противоречат, но дополняют друг друга... В разных случаях ударение может ставиться на разных признаках.. Но также и данные проф. М. И. Ростовцева подтверждают значение принципа «месторазвития»: готы, германское племя, попав в степь, становятся, подобно туранам-гуннам, носителями кочевнического скифосарматского искусства. (Ред.)

что важно в культурном отношении, бумаги.*) которой славился Самарканд, выделывавший ее, повидимому, раньше проникновения в Ср. Азию китайской техники этого производства). Интересно, что древне-русское название монеты «ногата» есть не что иное как несколько измененное арабское слово «Накд».**) В числе других предметов обмена с Россией, ведшагося через посредничество Волжских Болгар, не последнее место занимают славянские рабы. По свидетельству географа Ибн-Росте этих славян привозили болгарам на продажу варяги-норманы, бравшие их в плен при набегах.

В своих набегах варяги не ограничивались славянами. Арабский историк Масудий (X в.) дает нам подробности о вторжении норманов в Прикаспийские области Персии. В 913 г., т. е. в княжение Игоря, 5000 руссов на 500 челнах перешли из Азовского моря по Дону, оттуда волоком на Волгу и вниз по ее течению, появились на Каспии, на Хазарском море. «И распространились русские корабли по этому морю и бросились их ватаги на Гилян и Дейлем, на места Табаристанские, на побережье Джорджанское, на нефтяной край (Баку), и врывались даже в Азербейджан. Руссы проливали кровь, брали в плен женщин и детей, грабили людское добро, жгли селения». Несколько позже, в 944 году, руссы опять совершили набег на Каспий, по Куре поднялись в Азербейджан и разгромили город Бердаа. Память о этих набегах долго еще держалась не только в Прикаспии, но и в более отдаленных местах иранской территории. В начале XI в. историк Махмуда Газневидского, писавший в Афганистане, желая подчеркнуть боевые качества мечей говорит, что они «такие, как мечи руссов».***)

Мы не намерены входить в подробный разбор русско-персидских отношений. Для нашей задачи достаточно установить, что когда у нас не было еще общих границ с историческим государством Ирана, тогда уже намечались две формы сношений: связи торговые и набеги вольницы на Прикаспий. Мы знаем, что в течение долгого времени, в более позднюю эпоху, сношения наши с Персией характеризуются этими моментами.

Как бы то ни было Монгольское нашествие превращает безразлично и Россию и Персию в улусы одного Монгольского государства. На курултае 1246 года (о нем подробно в интересной книге В. Н. Иванова—«Мы», недавно вышедшей в Харбине) избравшем Гуюка, упоминаются среди присутствовавших вассалов и русский князь Ярослав и персидские провинциальные

*) Русские летописи называют торговцев из Хорезма «харяскими»; они рассказывают, что первый русский летописец купил бумаги для своей летописи у Харяского купца. Во время монгольского ига эти купцы часто являлись откупщиками по уплате дани. Они были известны тогда под именем бессермен, как все вообще восточные купцы. (См. La lutte des civilisations et des langues dans l'Asie Centrale par P. Kouznietsov. Paris 1912, p. 36).

**) См. А. Кримський. Історія Персії, с. 82, прим. 1.

***) См. А. Кримський op. cit., стр. 97-98.

правители. Это включение России и Ирана в состав единой державы может служить одним из определяющих пунктов в работе установления евразийской исторической перспективы. Для Монголов и рязанский Белый и афганский (иранский) Бамиян одинаково отмечены именем Мубалык, в память поражения.

Нет надобности останавливаться подробно на том, как нажила Россия Туран, как было свергнуто монгольское иго и как в процессе вытеснения туранцев нами или приобщения их к нашей государственности мы все более приближались к Персии. В свою очередь, Персия при Сефевидах (XVI-XVII в.в.)*) переживает вновь период возрождения своего политического могущества, хотя и в значительно более узких границах. Если русское народное сознание отождествляет окончательную победу над злым татарином с личностью царя Иоанна Грозного, то память персидского народа приветствует Шаху Аббасу Великому все общеполезные сооружения (караван-сараи, мосты и т. п.), видя в нем осуществление идеала государственной власти. Не следует забывать и того, что Сефевиды провозгласили шиизм государственной религией. Мы уже знаем почему подобный акт имел крупное национально-политическое значение. В плоскости иранской психологии это означало победу над суннитским, читай туранским, влиянием. Мы в праве поэтому, до известной степени, сблизить, в хронологических пределах XVI-XVII в.в., психологические настроения и России и Ирана в отношении Турана.

Было бы, однако, ошибочным заключать на основании этого, идеологически правильного построения, что отношения России и Ирана в эту эпоху развивались в сторону сближения и взаимного доверия и понимания. Отметим лишь и этот момент как могущий быть полезным в установке евразийской исторической перспективы.

С внешней стороны допетровская Русь была в хороших отношениях с Персией Сефевидов. Дипломатические отношения поддерживались через постоянный обмен посольствами, привозившими с той и с другой стороны богатые подарки. Как и в сношениях с другими странами в ту эпоху дипломати-

*) Как говорит Л. Ф. Богданов (op. cit., с. 117) «...династии этой только и удалось выдвинуться и найти поддержку в народе благодаря тому, что она была заведомо шиитская и происходила из семьи, давшей целый ряд личностей, известных своей святостью. Таким лицом был и Шейх-Сефи-ед-Дин Ардебильский, от имени которого получила свое название династия. Активно выступил в качестве военноначальника лишь потомок Шейха Сефи и пятом поколении... Все же предыдущие потомки Шейха Сефи проявляли себя только как люди святой жизни, аскеты-мистики, вокруг которых группировались «муриды» (последователи). Если мы вспомним, что национальное возрождение Ирана при Сасанидах прошло под знаком зороастризма, возведенного в государственную религию, то нам станет ясно, что в Персии религиозное чувство играло роль государствообразующего фактора.

ческие задачи соединялись зачатую с торговыми. Московские послы кренко блюли честь государеву, и мы видим часто пререкания из-за церемониала с персами. Но поддерживая внешне добрососедские сношения с московской Россией, Иран, как это мы узнаем из сочинения известного путешественника Шардэна, относился к нашим далеким предкам с тем же оттенком презрения, который мы отметили уже в отношении его к Турану. И нам кажется очень характерной фраза Шардэна, который говорит, что персы называли московских послов «ференгскими узбеками» за их нечистоплотность и неопрятность. Так как, об'ясняет Шардэн, персы считают узбеков весьма грубыми и неряшливыми, русские и преемники монголов—узбеки (соседи Персии в Бухаре) ставились таким образом персами на одну доску.*) Здесь проявляется не только чисто иранская склонность к насмешке, в этом определении как бы инстинктивно отражается смысл нашего продвижения к азиатской периферии в страны, сопредельные Ирану. Мы являлись географически преемниками монголов в сознании наших персидских соседей и они это выражали в терминах им понятных и в комментариях не нуждающихся. «Ференги», франк, со времен крестовых походов слово это вошло в словарь Востока и означает одновременно и христианин и европеец. Московиты были следовательно для персов христианами по религии, узбеками по нравам, по преемству от Турана.**)

Чувствуется какая то особая черта в наших сношениях с Персией, когда, например, мы читаем, что Борис Годунов, по корню туранец, принимая, в царствование Федора Иоанновича, в особой аудиенции послов персидских, справляется о здравии «Шаха Ирана и Турана», причем имя это произносит приподымаясь. С персидской стороны (и это весьма вероятно, так как ведь и Сефевиды утвердили свою власть при поддержке тюркских племен, прозванных за то шахсеванами, шахолюбцами) может быть выступал какой нибудь обиравшийся тюрк Будак Хан. Но Годунов твердо знал в чем польза Москвы, а наш предполагаемый Будак Хан действовал как этого требовали интересы Исфагана. Москва Белокаменная, Исфаган — Нисфо Джэхан (Исфаган — половина мира), Русь, Иран и Туран: приведенное нами сопоставление убеждает в однобокости теорий, которые втискивают нашу евразийскую историю в европейский шаблон. Мы отнюдь не желаем никого увлечь в Азию, но мы хотим дать себе отчет в сущности наших несомненных с нею связей, мы не желаем закрывать глаза на то, что было и что есть и то что будет, поскольку наша граница на многие тысячи верст соприкасается с азиатской периферией и поскольку мы чувствуем себя и должны чувствовать в Азии, как у себя дома.

*) Выше мы довели историю последовательных туранских «волн» в Ср. Азии до монгольского вторжения в 1230 г. В дальнейшем история этих земель характеризуется: окончательным триумфом Турана при Тимуре и Тимуридах (от второй половины XIV до XVI в.), последним тюркским вторжением Узбеков, в начале XVI в., и, наконец, русским завоеванием. (Кузнецов, op. cit, стр. 14).

**) «Ференгский узбек» не только насмешливое прозвище. Этим термином персы, в сущности, передавали вполне точно то, что мы обозначаем термином «евразиец»: лучше перевести слово «евразиец» на персидский язык прямо невозможно. Это персидское выражение чрезвычайно поучительно. Читая «Хождение за три моря» Афанасия Никитина убеждаешься в том, до какой степени персидский термин «ференгский узбек» правильно передает суть дела. Афанасий Никитин, действительно, ни ференг, ни узбек, а вместе с тем—и то, и другое, и нечто среднее, человек не европейского и не азиатского, а совершенно особого евразийского мира. Ред.

Ср. также у C. E. Wilson, его издание Низамиевского «Heft Peikar» London, 1924, т. II, с. 82-83: «русские... почитались Туранцами у восточных писателей». Автор любезно сообщил нам обильный материал, это подтверждающий. В. Н.

7

Странной противоречивостью в отношении нашем к Персии кажется тот факт, что покуда Московская Русь оставалась страной ференгских узбеков, т. е. преемницей того Турана, который всегда был в устремлении против Ирана, между Россией и Персией никаких серьезных осложнений, вооруженных столкновений не было, если не считать маловажных инцидентов, неизбежных при соседстве нашем по Тереку или набега Стеньки Разина на Гилян и Мазандеран. Но это была вольница, действовавшая на свой страх и в то же время входившая в переговоры с Исфаганью, далекие от лояльности к Москве. Наоборот, когда Россия при Петре и его преемниках становится менее узбекской по внешности, ее политика в отношении Ирана становится более агрессивной.*) Императорская Петербургская Россия ведет целый ряд войн с Персией и именно она, а не узбекская Москва, более всего, по результатам этих войн, напоминает нам твердую монгольскую, туранскую руку, которая умела собрать воедино разсыпавшиеся и враждовавшие одно с другим мелкие владения. Нужно ли перечислить нам здесь все кавказские ханства и вспоминать положение в Средней Азии до появления в ней «белых рубах». Мы могли бы привести ряд свидетельств иностранцев, говорящих как о положительном факте об установлении здесь Pax Rossica. Это замирение не было безполезно и для Персии. Россия сумела прекратить совершенно и туркменское пиратство на Каспии и туркменские аламаны-набеги, так живописно обрисованные в бессмертном Хаджи Баба Исфагани.

После этого краткого анализа политических отношений России и Ирана

*) Нам известны все внешние поводы будь то стремление Петра овладеть рудниками Кавказа (медь) или вопрос грузинский и интриги армянина Нерсеяна Ория; ослабление Сефевидов и афганская угроза. Но мы хотим подойти к вопросу иначе, мы пробуем представить себе, что могла думать о нас Азия, в данном случае Персия. Было бы односторонне безпокоиться только о том, как на нас смотрит Европа.

с проекцией их в плоскости туранских реминисценций, мы хотели бы сказать несколько слов о внеполитическом контакте, о той тончайшей, неуловимой порою, капиллярной системе, по которой осуществляется русско-иранский осмос.

Со стороны Ирана в этом отношении больше всего заметно торговое устремление в Россию. Нижегородская ярмарка, или как ее называют персы «Макарийе», является существенным фактором нашего товарообмена с Персией и тут не трудно узнать историческую преемственность того оживленного торга, который в свое время вела Саманидская Бухара. Определенные торговые пути, в данном случае Волга (древний Итиль), решают направление обмена, остающееся неизменным и обязательным.*) Продукты обмена, конечно, меняются и Волга больше не служит путем для шелковых тканей, торговля которыми в X-XI в.в. была так выгодна. Сейчас Персия нуждается в нашем ситце, сахаре, нефти, железе, стеклянных изделиях. Мы от нея приобретаем хлопок, сушеные фрукты, рис, мерлушку. Так или иначе, но персидское купечество, являющееся к тому же наиболее живой частью нации, как это отметил и об'яснил уже Гобино, заинтересовано в обмене с Россией и его нужды не оказались без влияния в вопросе о признании Тегераном Советского правительства. Помимо сезонных поездок в Россию для сделок на ярмарке, задерживались персы более подолгу и в Москве. Все, кому пришлось наблюдать наших иранских гостей в русской обстановке, знают насколько она для них оказывалась к себе располагающей, не чужой. Бытовой наш уклад, способ обращения с азиатскими соседями не имеет ничего общего с английским холодом; так же ливерпульские доки для перса менее понятны, чем какие нибудь наши ряды, Гостиный двор и т. д., напоминающие ему его родные крытые базары. Магарыч (сама терминология этого слова определяет его бытовое значение; арабск. махаридж, т. е. расходы, одного корня с «харчами», ар. «хардж»)- ожесточенный торг, место занимаемое бородой и в наших, и в персидских представлениях; обычай бить по рукам. Все это может показаться странным какому-нибудь европейцу, но для русского и перса обратное было бы неуместно...Психологически, в ежедневном обиходе, в постоянном соприкосновении интересов, важны эти мелкие подробности, они могут способствовать взаимному притяжению или отталкиванию и от этого зависит то или иное настроение, моральная атмосфера близости или отчуждения. Во время войны английское командование в Персии издавало регулярные постановления и строго следило за их исполнением персами. «С ними разговаривать нельзя, написали и конче-

*) Каково бы ни было будущее Нижегородской ярмарки, ярмарка эта, в условиях XIX-XX веков, несомненно являет параллелизм торговому значению великих Булгар, скажем IX-X веков (но также и следующих). Чисто пространственно вынешняя «Макарийе» не так уж далеко располагается от старых Булгар, а в начале XIX века располагалась и еще ближе (в Макарьеве на Волге, к востоку от Ниж. Новгорода).

по». Жаловались нам приятели персы, вспоминая русскую добродушность и склонность к разговорам, от которой европейцев коробит, но которая нам в Азии несомненно дает в руки громадное перед всеми другими иностранцами преимущество.

Нужно сказать, что в области хозяйственных отношений Россия в Персии недостаточно была представлена чисто-русским элементом. Больше было (не знаем как теперь) представителей кавказских народностей. Приходилось все же иметь случай наблюдать в персидской обстановке соотечественников: рыбаков, гл. образом, астраханских уроженцев, и молокан, занимавшихся извозным промыслом. Они говорили с местным населением зачастую на той, неопределяемой ни для одного лингвиста, но фактически играющей роль языка, смеси, которую русский повсюду в Азии применяет не без успеха. Опять таки и здесь дело разумеется не в том или ином словесном способе выражения, а в устанавливающемся между собеседниками симпатическом токе. Припоминаются солдаты англичане, обращавшиеся *по персидски* к персам, но не бывшие в состоянии долго добиться от них того, что наш брат фуражир или рыбак получал прибегая к упомянутому волапюку. Просто потому, что при виде англичанина перс как то нравственно цепенеет, чего не происходит при встрече его с русским. Мы умышленно оставляем без рассмотрения тот факт, что русские гораздо более способны быстро изучить чужой язык. Мы видели среди тех же рыбаков многих, которые прекраснейшим образом говорили по гилянски, на местном персидском говоре Гиляна. Так как же на многих промыслах гиляки говорили без акцента по русски. Мы-де Ивановские. Дело не в одном акценте, явлении физиологическом, но в известном созвучии, явлении психологическом. У нас это созвучие есть.

Мы не можем подробно останавливаться на этих чертах ирано-русских сношений, но считали нелишним отметить их характерный оттенок особо показательный в плоскости отношений между собой простолюдинов, лучше сказать, наиболее непосредственных выразителей народного типа.

Многое еще можно было бы сказать, оставаясь в области вопросов хозяйственных. Сюда ведь следовало бы отнести, в порядке русского освоения, и орошение Муганской степи, заселенной русскими сектантами, и бакинскую нефть, где черноработий элемент поставляется соседними персидскими Талышами и Халхалом, т. наз. «ампара» (хомшехры по перс., т. е. земляки), и то что сделано было для хлопководства в нынешнем Туркестане, исторически исконно-иранских землях. Но мы пройдем мимо этой стороны ирано-русского контакта, который имеет здесь свое начало в завоевании. Менее известен, на наш взгляд, весьма любопытный факт просачивания русской землеробческой стихии в юго-восточном углу Прикаспия. Любопытный и тем, что он как бы повторяет наблюдавшееся в истории Ирана движение в этом направлении туранских элементов, что вновь напоминает выпавшее на долю России преемство Турана, так и тем, что тут мы имеем дело не с какими либо организованным колонизационным предприятием, а с чем то самочинным, сти-

хийным проникновением русских пахарей ищущих землицы. Это такое же точно явление как и то, что где нибудь дальше в глубине материка, на границе с Китаем, в районе Урянхая, вдруг оказывалось, что русские землеробы облюбовали себе подходящее место, находящееся на территории Китая. Этого момента, наиболее может быть яркого для того, что мы назвали осмосом, нельзя упускать из внимания при рассмотрении русско-иранских отношений. Нам известно, как трудно было направить Переселенческому Управлению в надлежащее русло течение шедших из России за землей крестьян. Появление их в Персии есть результат того же процесса. Нашей Миссии в Тегеране это самочинное заселение доставило не мало хлопот. Война положила ему конец. Мы не знаем как обстоит дело теперь, но подобный демографический факт говорит сам за себя. Это постоянно переливающаяся не отстоявшаяся еще народная русская масса, приведенная со времени завоевания Сибири в движение в сторону Востока, творит сама свою, ей одной ведомую, историю русского продвижения на Восток. Конфликты могут возникнуть при встрече с однозначущими, но об'ему, местными демографическим и массами, которые, однако, сосредоточены в значительной отдаленности и относятся к сфере Индийского и Тихого океанов. Иначе мы считаем появление русского возчика на Хейберском перевале фактом весьма мыслимым вне каких бы то ни было планов завоевания Индии, а в силу наличия русской текучей народной массы на евразийских и азиатских просторах, массы, отдельные особо предприимчивые единицы которой совершенно не считаются с искусственными границами и крайне способны ассимилироваться с туземной средой, опираясь в то же время на неисчерпаемые тыловые резервы. Мы имеем в виду протекающее при таком порядке вещей явление двусторонней ассимиляции, способность которою мы одарены от природы: где нибудь в Закавказии вы встретите лицо с чисто русской фамилией, говорящее только по грузински, и наоборот. Совершенно понятно, что в конечном итоге дефицит оказывается не на стороне русской этнической массы. В течение столетий путем подобного процесса чуваши, мордва и т. д. постепенно таяли в русской стихии. Мы не должны упускать из виду пути распространения русской народности и колонизации как одного из явлений исторического процесса. Между отдельными эпохами разница в том, что волны отходят все дальше от центра.

Явление, которое можно было бы, в противоположность обрусению, назвать от-русением, на наш взгляд имеет громадную пассивную ценность. Оно, однако, мало исследовано. Со стороны языковой была проделана работа в отношении русских говоров в Сибири, где под влиянием инородцев изменилась до некоторой степени даже фонетика, не говоря про вхождение в словарь нерусских выражений. Замечено, что и в бытовом отношении русские быстро перенимали способность инородцев ориентироваться на совершенно плоских равнинах, в мятель и т. д. Из той же области нам рассказывали, например, как факт, про двух русских, кажется в Уральске, которые возвращаясь под вечер домой, в киргизских малахаях, приняли друг друга за туземцев и довольно долго беседовали по киргизски, пока недоразумение случайно не разъяснилось.

Что касается непосредственного предмета нашего рассмотрения, то область хозяйственных отношений, — торговля, промыслы, земледелие — дала нам возможность констатировать ряд подробностей, которые составляют как бы прочную канву для вплетения в нее иных ирано-русских мотивов. Мы могли также, до некоторой степени, убедиться, что в этой ирано-русской канве есть и туранская пряжа, которую легко отличить, несмотря на теперешнюю русскую ее окраску.

Переходя к области идей, к запросам духа, мы прежде всего должны отметить, что в противуположность нашим отношениям с Турцией, где религиозные мотивы, наряду с мотивами из родства с балканскими славянами, играли зачастую преобладающую роль, в наших отношениях с Персией вопросы религии (после того как были сведены счеты, связанные с Грузией) первенствующего значения не имели. В истории Персии мы неоднократно можем встретиться с указаниями на деятельность католических миссионеров в Бушире, Бендер-Аббасе, Исфагани, Тавризе, но что касается православной миссионерской работы, Кирилло-Мефодиевского братства в Урмии, то она в исторической перспективе является фактом мелким; какую бы она роль ни играла в событиях последних лет и как бы ни казался (нам лично) интересен об'ект ее деятельности — несториане, сыгравшие столь крупную роль при Сасанидах, а теперь лишь жалкие осколки разбросанные в Месопотамии, Персии, Сев. Америке, России и т. д. Говоря про католическое миссионерство в Персии, занимавшееся теми же несторианами, армянами, португальцами (на Персидском Заливе), мы должны напомнить, что деятельность их в одинаковой мере простиралась также и на Закавказье, и даже на Астрахань. Особо деятельны были отцы иезуиты, которым было предложено покинуть пределы Российской империи в 1823 г.*) Не думаем, однако, чтобы случаи прозелитизма среди мусульман были часты. Назовем однако некоего Оруджа Бека, упоминание о котором имеется в книге французского миссионера Рафаэля де Мане (О Персии в XVI в.). Этот бек происходил из курдского племени Бейт (доныне сохранившего это название) и его воспреемником был король Испании, давший ему имя Хуан. Этот крещеный курд издал книгу «Доклады Донъ Хуана персидского Его Катол. Велич. Дону Филиппу III» в 1604 г.

Укажем тут же, что шииты не признают Священной войны, Джихад, в том же смысле как сунниты. Шииты знают лишь дифа, т. е. оборонительную войну от неверных. Это обстоятельство сыграло известную роль в последнюю войну, когда Турция (читай Германия) стала под знамя Джихада и,

*) У нас была в руках интересная брошюра по французски «La Mission Catholique d'Astrakhan au XVIII s.», основанная на статьях Гагарина в «Дух. Беседе» 1866 г. 20-3; 17-3 и 8-5. — О миссионерах на Перс. Заливе см. между пр. у R. Vadala «Le Golfe Persique», Paris, 1920, chez Rousseau et C-ie.

пыталась увлечь за собой и Персию. Это ей удалось лишь в отношении части персидского населения, курдов-суннитов. Как известно Персия об'явила свой нейтралитет, причем муштехиды (мы об'яснили выше их значение в шиитском мире) высказались отрицательно во вопросу об участии в Джихаде. — В этой же плоскости религиозных вопросов укажем на благожелательное отношение русской власти к «бехаи», которые имели свой храм в Асхабаде, тогда как в Персии они нелегальны.

Для времени до 1917 г., отметим роль России, разумеется не официальной, как проводника революционных идей в Персии. Персидская революция, завершившаяся в 1909 г. победой конституционных элементов, т. наз. машрутэхах, проходила, с одной стороны, под знаком противодействия русской политики и поддержки англичан, но в ней была другая сторона — участие многочисленных армянских и татарских кавказских элементов, носителей русской революционной идеологии, тогда как общий толчек движению в Персии был несомненно дан революционными событиями 1905 г. в России, в их преломлении в мусульманской среде в Баку. Быстро тогда расцветшая у нас мусульманская пресса, особенно очень популярный сатирический журнал «Ходжа Насред Дин», сыграли очевидную для нас роль в создании конституционных настроений в Персии, которые с другой стороны питались и такими эмиграционными органами как «Хабл-уль-Матин», в Калькутте и «Чехрэ Нума», в Каире. Русское влияние было более ощутимо в силу персонального участия кавказских элементов. Вспомним такие имена армянских деятелей как Ефрем, бывший начальник полиции в Тегеране после победы революции, или Керри, доблестно павший в бою под Равандузом в июле 1916 г. Обращаясь к личным воспоминаниям, мы живо представляем себе революционное воинство фидаев, окружившее нашу коляску по пути из Казвина в Тегеран в 1909 г. и на три четверти состоявшее из кавказцев, что значительно облегчило переговоры для нас, тогда еще дебютантов в Персии. Все эти соображения об активности русской революционной деятельности в Персии можно было бы иллюстрировать массой фактов из оранжевых наших книг.

Мы постарались посильно, не столько в точности исследовать, сколько наметить как нам представляется этнический, языковый, идейный обмен, происходящий между Ираном и Россией, процесс названный нами (по аналогии с химическими явлениями) осмосом. Приходится констатировать, что если у нас и есть не мало точек соприкосновения и если в народных низах и устанавливается трудно учитываемый ток, определяющий скорее притяжение, чем отталкивание, то в более высоких сферах культурного развития нет пока этого притяжения. Верхи и низы, и в этом случае, скорее расходятся. Говоря образно, если фургонщик Иван прекрасно сумеет об'ясниться и расчитаться с Кербелаи Мамедом чарвадаром (погонщиком мулов), проделав с ним вместе часть пути где нибудь от Казвина до Хамадана, то средний русский, перенесенный в персидскую среду, будет чувствовать себя менее свободно. Ему будет сравнительно труднее найти общий язык, хотя разумеется

это дается гораздо быстрее и легче, чем какому нибудь европейцу. Мы до сих пор, благодаря слепому преклонению перед европейской цивилизацией, не в достаточной мере использовали все богатейшие возможности, обусловленные нашим соседством с Персией. Персия глубоко интересна, как сама по себе, так и потому, что через этот культурный мир мы приходим в соприкосновение и с творчеством Индии, Аравии и Месопотамии. Было бы грешно и впредь оставаться под впечатлением дремлющего Тегерана из стиха Лермонтова. Характерен и трагичен тот факт, что Грибоедов, погибший под ударами персидской черни, оказался совершенно не восприимчив к окружавшей его персидской действительности, которая вся насыщена древней культурностью, певучестью стиха, мистической созерцательностью, игрою красок. Стоит только заинтересоваться искренне Персией и в любой персидской глуши (лишь отчасти этот строки более знакома именно провинция, а не столица Персии) вы найдете не только массу неочатого материала, но и любящих свою старину и свой сегодняшний день, со всеми его положительными и отрицательными сторонами, персов, которые будут рады сотрудничать с нами.

8

Целью настоящей статьи было не только освежение в памяти целого ряда чуждо звучащих собственных имен и не одно упоминание хронологических дат кажущегося столь далеким прошлого. Мы хотели прежде всего выявить и подчеркнуть ту громадную культурно-историческую роль, которую в истории Азии, *нашей* истории, сыграл Иран, лежащий на перекрестке не одних торговых путей, но и различных культурных влияний, которые он умел претворять в лаборатории своего духа. Мы показали, как в этой задаче, выпавшей на его историческую долю, Иран должен был бороться с Тураном, пропуская сквозь свою культурную среду все новые его волны, как, несмотря на превратности своей судьбы, Иран сумел сохранить резко определенную духовную физиономию, каковы бы ни были посторонние влияния (Аллийское, семитское) и какие он дал уже не раз блестящие примеры национального возрождения (Сасаниды, Саманиды, Сефевиды).

Место России между Ираном и Тураном нами тоже было указано. Стремясь бросить взгляд на историю с Востока, мы не забыли что под монгольским игом и Русь и Иран были на одинаковом положении подчиненных Турану улусов; что после освобождения от ига Русь и Иран пошли своими путями, в результате чего Русь заняла в отношении Ирана географическое положение Турана, тогда как на Босфоре укрепилась государственность туранского корня.

Мы набросали также вкратце схему тех каналов, по которым между Россией и Ираном с очень давних пор происходит обмен в направлениях этническом, политическом, экономическом, культурном и высказали сожаление о малом интересе проявляемом культурными верхами в отношении Ирана.

Поставленная перед нами задача самопознания не может быть разрешена с достаточной полнотой без всестороннего изучения всех особенностей и проявлений иранского духа. Наряду с туранскими чертами, вошедшими в наш духовный облик и выражающимися в чувстве дисциплины, в боевых доблестях, прямоте и выносливости, удали, равно как и в известной пассивности в области гражданского устроения, и нелюбви к отвлеченному мышлению, мы может быть откроем некоторые черты иранского типа, особенно в области религиозных переживаний, склонности к мистике, постоянном душевном брожении и неудовлетворенности, дроблении на секты; сюда же быть может относится и наша непримиримость, излишняя приверженность к программам в плоскости политической. Обобщая еще более, мы думаем, что Туран в нашем душевном складе это артельное, «кошевое», начало, тогда как Иран — индивидуализм, в форме доходящей до бунтарства, анархии.

Мы принадлежим к числу тех, кто думает, что Восток есть не только запоздавший Запад, а имеет свою большую самодовлеющую ценность, в значительной мере утраченную поторопившимся Западом. Только путем пересмотра отношений с нашими азиатскими соседями, рассматриваемыми как вновь отысканные родственники, в искреннем отрешении от наших европейских «преимуществ», в желании действительно познакомиться с запросами этих соседей во всех областях их творчества, — сможем мы выработать, совместно с ними, такую идеологию, которая могла бы в глазах Азии оказаться и более достойной чем теперешние коммунистические зазывания, и приемлемой по существу. Так как по существу ведь коммунистическая пропаганда в Азии желает лишь использовать ее народы как орудие для достижения своих эгоистических целей.

В. П. Никитин

Париж. Декабрь 1925 г.

СХЕМЫ К СТАТЬЕ В. П. НИКИТИНА «ИРАН, ТУРАН И РОССИЯ»

Предлагаемые читателю для облегчения понимания текста схемы не должны быть рассматриваемы как *этнографические* карты. Это схемы по истории Иранского и Туранского месторазвитий, в их взаимоотношении и во времени.



ИРАН - ТУРАН

СХЕМА № 3

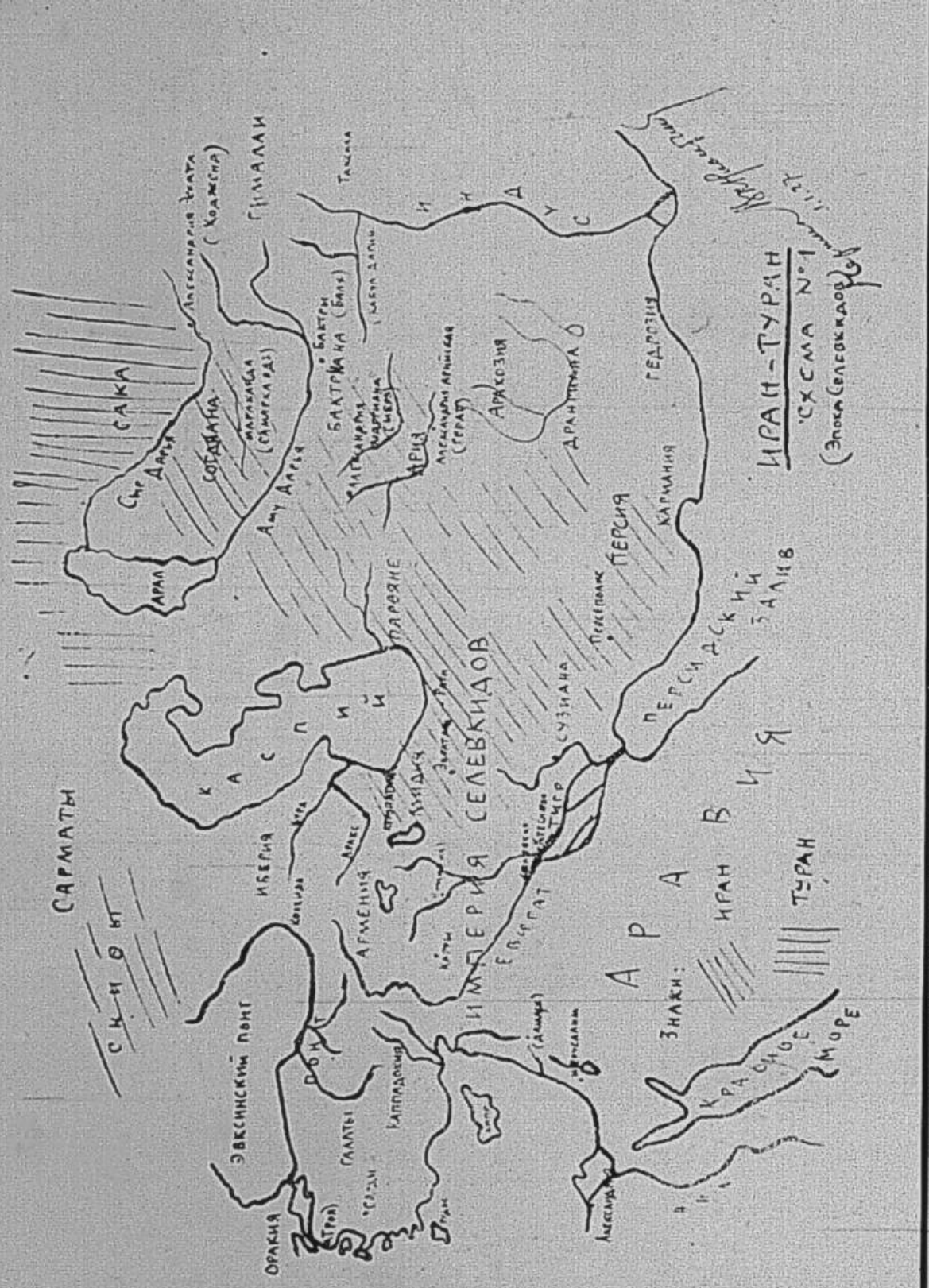
(НАШЕ ВРЕМЯ)



ИРАН ТУРАН

СХЕМА № 2

(НАЧАЛО XI ВЕКА)



РОССИЯ И ЕВРОПА В ИХ ИСТОРИЧЕСКОМЪ ПРОШЛОМЪ

I

Вопреки представлению о том, что все европейские государства, и в числе их Россия, проходят единый путь исторического развития, подчиняясь некиим общезначимым «историческим законам» (причем Россия на этом пути является более лишь «отсталой» сравнительно с народами романо-германской Европы), мы утверждаем, прежде всего, что *общезначимых «законов исторического развития» не существует*, ибо история имеет дело с явлениями индивидуально-неповторяемыми и качественно-своеобразными. Каждый народ, поскольку он в своем внутреннем характере или в своих внешних отношениях и взаимодействиях отличается от иных народов, может проходить и в действительности проходит свой собственный жизненный путь, который столь же мало может быть наперед предначертан мнимыми «историческими законами», как мало может быть предугадана наперед биография отдельного человека.

В частности, историческая жизнь русского народа представляет собой, во всех своих областях, глубокое и существенное своеобразие по сравнению с исторической жизнью Европы*) и лишь путем насильственной и произвольной схематизации может быть втиснута в рамки «общеевропейского исторического развития».**)

---

*) Народы германо-романской Европы, при всех частных различиях своей истории, образовали, однако, некое культурно-историческое единство, противостоящее мирам Востока.

**) На признании своеобразия нашего исторического процесса — своеобразия, доходящего в некоторых отношениях до полной «противоположности» или «контраста», — сходились почти все русские историки — от крайних «самобытников» (М. П. Погодин и славянофилы) до крайних «западников» (К. Д. Кавелин и П. Н. Милюков). Разница была лишь в том, что первые считали наше своеобразие фактом положительным и настаивали на необходимости его сохранения и в будущем, вторые же, усматривая в европейской цивилизации наиболее полное и совершенное осуществление «общечеловеческих идеалов», желали «отсталой» России поскорее «догнать» далеко «опед-

Отрицая, таким образом, единство исторической эволюции Российского*) и германо-романского мира и отказываясь мерить явления русской истории на европейский аршин, я должен оговориться, что и отношения России к азиатскому Востоку я отнюдь не склонен представлять исключительное их идиллической стороны, не склонен забывать о многовековой борьбе России с степными кочевниками. — Между каменными замками и городами Европы, с одной стороны, и палатками степных кочевников, с другой, широко раскинулся мир деревянных изб русского крестьянина, над которыми возвышаются купола и кресты православных церквей... Эти три разных мира не «сводимы» один к другому и не «выводимы» один из другого, хотя, разумеется, русский мир вступал в разнообразные отношения и испытывал разнообразные влияния как з Запада, так и с Востока. И далеко не всегда восточные влияния были пагубными, а западные — благодетельными, как привыкло думать русское «образованное общество» после-петровской эпохи.

шую впереди» цивилизованную Европу... Не будучи в состоянии отрицать существенные различия в историческом прошлом России и Запада, историки-«западники» пытаются об'яснить эти различия лишь нашей «отсталостью», «недоразвитостью» в нашем прошлом элементов «общеевропейской культуры» и полагают, как Н. П. Кареев, что «петровская реформа... приобщила Россию к миру западно-европейскому и восстановила единство европейской цивилизации»... В конце XIX века явилось у нас занесенное с запада направление т. наз. «экономического материализма», утверждающее тождество исторического процесса у нас и на Западе и пытающееся втиснуть историческое развитие чуть ли не всех народов земного шара в марксову схему—феодализма, буржуазного строя и строя социалистического. Однако, тщетные попытки марксистских «историков» натянуть на историческое тело России «тришкин кафтан» марксовой исторической схемы, разумеется, не могут создать единство там, где его не было, да и вообще их исторические «упражнения,» исходящие из посторонних побуждений и стремящиеся к посторонним целям, не относятся к области исторической науки в собственном смысле слова.

Должно оговориться, что и среди настоящих русских историков явился весьма серьезный и талантливый исследователь (Н. П. Павлов-Сильванский), пытавшийся доказать тождество исторического процесса в России и на Западе во всех его существенных чертах. Не имея здесь возможности входить в критический разбор теории Павлова-Сильванского, заметим лишь, что и ему не удалось совершить «переворот» в науке русской истории и заставить прочих исследователей принять его теорию, закрыв глаза на *факты* нашего исторического прошлого. Как резюме научных споров, вызванных сочинениями Павлова-Сильванского, прозвучал суровый приговор историка-юриста В. И. Сергеевича: «Не смотря на весь труд, потраченный автором «феодальных отношений в удельной Руси,» на все сочувствие к нему, г. г. критиков и рецензентов..... течение русской истории остается в своем прежнем русле».

*) Живые связи и взаимодействия Русского народа с остальными славянскими племенами в нашем историческом прошлом не позволяют

В настоящем очерке мы рассмотрим лишь главное течение русской исторической жизни, зародившееся в области окско-волжского междуречия, создавшее затем Московское царство и развившееся до размеров и значения империи Всероссийской. Разумеется, мы ни в малейшей мере не склонны исключать западно-русские области из обще-русской истории. Но необходимо признать, что «московское» (в условном смысле) течение русской истории было главным, основным и типичным, ибо именно оно сохранило русскую государственную и национальную самостоятельность и самобытность, именно оно спасло наших западно-русских собратий от потери народности и православной веры, именно оно об'единило все ветви русского народа для совместной культурной работы в рамках единой русской государственности.

В самом деле, взглянем на результаты исторического развития Руси Киевской, Новгорода Великого и Руси Литовской. Киевская Русь после блестящего, но кратковременного (в историческом смысле) периода расцвета стала быстро клониться к упадку еще задолго до татарского погрома. С одной стороны, она была бессильна поддержать безопасность водных путей своей внешней торговли, «засорявшихся» степными кочевниками, что подрывало все более и более ее экономическое благосостояние, с другой, ее внутриполитические отношения принимали направление все более хаотическое и гибельное для национально-политического бытия русского народа. Драчливая «федерация» мелких княжеств Киевской Руси с конца XI в. находилась в непрерывной междуусобной борьбе. Князья призывали к себе на помощь половцев и с их помощью грабили и опустошали соседние русские земли, превращая нередко целые города и селения в груды развалин. Не только знаменитый Олег «Гориславич», но и лучший князь той эпохи Владимир Мономах не свободен был от этих тяжких братоубийственных грехов. В своем «поучении» он спокойно повествует о том, как он с черниговцами и с половцами пошел к Минску и — «за'ехахом город, и не оставихом у него ни челядина ни скотины»... Сам Киев, «мать городов русских» подвергался страшному разгрому — от своих в 1169 и 1203 годах. Падавшая все ниже и в своем политическом значении, бедневшая экономически и духовно, опустошаемая своими и чужими, Киевская Русь сделалась легкой добычей татар, а потом так же легко подчинилась великим князьям литовским.*)

Что касается Новгорода Великого, то его внутренняя сила и жизнеспособность также стала быстро клониться к упадку еще задолго до того времени, когда великий князь Московский формально покончил с новгородской не-

---

и в будущем допускать возможности полного расхождения путей России и славянства.

*) Констатируя этот ряд фактов, мы не думаем отрицать значение «Киевского периода», как эпохи зарождения обще-русского национального сознания.

зависимостью. Политический строй Новгорода обнаруживал явную тенденцию одновременного развития двух «ложных» политических форм: олигархии кучки бояр, с одной стороны, и охлократии буйной черни — с другой. Военно-политическое бессилие, социальные смуты, общественная деморализация — вот черты, характеризующие последние десятилетия самостоятельного существования «Господина Великого Новгорода».*) Новгородская летопись горько жалуется, что «не б е Новегороде правды и правого суда», и сами новгородны зовут великого князя Московского, своего политического врага, «на суд и управу». Толпы новгородских ушкуйников (особенно в XIV ст.) совершают опустошительные набеги на русские города, громят Кострому, Нижний и продают «поганым» в рабство многие тысячи полоненных ими православных христиан, но—у новгородцев нет ни силы ни охоты защищать свою государственную самостоятельность. Когда ей стала грозить серьезная опасность со стороны Москвы, они бросаются за помощью к польско-литовскому государю и признают католика Казимира своим князем. Не получив от него ожидаемой помощи, и вынужденные вступить в вооруженную борьбу с Москвой, они снаряжают большую армию — 40 тысяч всякого сброда («который родився на лошади не бывал» по выражению летописи), но небольшой отряд московской рати на Шелони легко разбивает эти полчища... А когда дело дошло до решительного последнего столкновения, то Московскому великому князю не пришлось ни сражаться с войсками Великого Новгорода в поле, ни штурмовать его укреплений. Он просто «выстоял» Новгород, по выражению псковского летописца. Едва началась осада, — «людям мятущимся в осаде в городе, иные хотяще битися с князем великим, а инии за князя великого хотяще задати, а тех больше, которые задатися хотят за великого князя»,—повествует псковский летописец. Даже сам новгородский «воевода и князь кормленый» Вас. Вас. Шуйский, бросив новгородцев, перешел к великому князю, и город скоро сдался на милость победителя... В последние десятилетия своего самостоятельного существования Новгород «явно походил на старый дуб, подгнивший в корнях и готовый рухнуть».**) (И. Д. Беляев).

Остается бросить беглый взгляд на западно-русские области, вошедшие в состав великого княжества Литовского. «На литовско-русском западе политическая эволюция вошла в западно-европейскую колею» (П. Н. Милюков). Посмотрим же, куда пришла западная Русь, двинувшись по этой «колее». Литовские магнаты сначала одни, потом вместе с более широкой массой рядовой шляхты захватили всю власть в государстве. Власть великого князя

*) Нельзя забывать также и об экономической зависимости Новгорода от «Низовой» Руси.

**) Указывая на социально-политическую слабость новгородского общества, мы не должны, конечно, забывать о той важной и положительной роли, которую сыграл Новгород в развитии древне-русской духовной культуры и о колонизационной работе новгородцев

была по рукам и ногам связана сначала «панами-радами», а потом панско-шляхетским «великим вальным сеймом». Шляхта, закрепившая и поработившая широкие массы сельского населения, постоянно обращала свои взоры на «свою братью» рыцерство коруны польской», производила в своем государстве реформы по польским образцам, и наконец начала принимать польский язык и латинскую веру, отрекаясь от православной веры и русского языка, которые, таким образом делались «хлопскими» верою и языком... Литовско-русское государство, действительно насквозь проникнутое началами европейского феодализма, начало уже в XVI в. обнаруживать полное политическое бессилие и, под натиском Москвы, вынуждено было в 1569 г. броситься в унию с *польско-католической* Речью Посполитой. При этом «братская» Польша дорого заставила заплатить за свою дружбу и помощь: она оторвала, как известно, от великого княжества Литовского Подлясье и земли Киевскую, Волынскую и Подольскую, — чуть не половину территории великого княжества, при том его лучшие, наиболее плодородные и населенные земли, оставив литовско-русскому государству леса и пески собственной Литвы и Белоруссии, да пинские болота. Как же ответило на эту ужасную для него «вещь более к колею западно-европейского развития»? Народные массы не шевельнулись, а литовско-русские паны, во главе с Иваном Ходкевичем, ответили на Люблинском сейме — коленопреклоненным «челобитием» перед клятвопреступником Сигизмундом-Августом горькими слезами и... согласием на унию!... И если что спасло западную Русь от гибели ее национального лица, спасло ее от ополячения и окатоличения, то это были силы, которые никак не укладываются в «западно-европейскую колею»: это были в XVII в. — православные монахи и казацкая сабля (в союзе с московскими полками), а в XVIII в. к ним присоединилась новая сила — армия императорской России, благодаря которой русская императрица могла провозгласить, «отторженная возвратих».*)

3

Обращаясь теперь к общему обозрению исторических судеб России, мы должны прежде всего отметить, что в географическом отношении доуральская *Русская равнина* представляет больше сходства с равнинами и степями Зауралья, чем с европейским географическим миром, который характери-

*) История западно-русских земель, вошедших в состав Литвы, а потом (частично) Польши есть замечательный, с систематической точки зрения, пример того, каких благоприятных, казалось бы, внешних условиях (отсутствие монгольского ига, меньшая тяжесть государственного «тягла», преемственность государственно-правового развития) самое существование начала «русскости» оказалось несовместимым с распространением *латинства* и вступлением в «колею западно-европейского развития». — И не менее существенно, с систематической точки зрения, то, что «об'единительным центром» явилась Москва, возросшая «умной дружбой» с татарами. *Ред.*

зуется, как известно, двумя главными особенностями: 1) разнообразием форм поверхности и 2) чрезвычайно извилистым очертанием морских берегов. В юго-восточной своей части доуральская Русская равнина является непосредственным продолжением зауральских степей, что обуславливало, на всем протяжении русской истории, не только постоянные столкновения, но и постоянное культурное взаимодействие русско-славянского мира с тюрко-татарскими народами.

И географические условия и военно-международная обстановка способствовали созданию в пределах Русской равнины единого огромного государства скорее «азиатской», чем «европейской» конструкции*) — с сильной центральной властью, опирающейся на обширный класс военных слуг, с слабо дифференцированным общественным составом, и с принесением интересов отдельных общественных слоев в жертву интересам государственного целого («тягловой строй» и «боевой строй», по определению В. О. Ключевского).

Благодаря природным условиям евразийского мира, в истории России несравненно более значительную роль, чем в истории государств Европы, — играет *процесс колонизации*, захватывший пространство — на восток — до берегов Тихого океана и продолжающийся доныне.**)

«На Западе передвижение этнографических масс улеглось в общих чертах к VIII-IX в.; таким образом Европа уселась на месте к тому времени, когда только что началась наша история». — Непрерывный поток русской колонизации течет сначала на северо-восток от линии Днепра-Волхова. Уже в XII-XIII в. центр тяжести русской исторической жизни перемещается в окско-волжское междуречье; в XIV-XV в. из окско-волжского междуречья и из Новгородской земли (в тесном смысле) заселяется Поморье; в XVI в., особенно по покорении Казанского царства, колонизационный поток поворачивает на юго-восток, и русским народом заселяются донские и средневолжские пространства. С конца XVI в. русская колонизация переходит за «Камень», т. е. за Уральские горы. Вслед за удалыми казацкими ватагами и кучками предприимчивых «промышленников», пошли в далекую Сибирь тяжеловесные отряды московских служилых людей, а за ними поток за Урал широкий поток русской земледельческой крестьянской колонизации. Продвижение вперед, на восток, и на север, русских «земленскателей» шло с необычайной быстротой. Уже в 1648 г. казак Семен Дежнев «с товарищи» обогнул северо-восточную оконечность материка, проплывши из Северного Ледовитого океана («Студеного моря») к устьям реки Анадыря. — Поток рус-

*) В. О. Ключевский называет Россию XVIII в. «государством восточно-азиатской конструкции — с европейски-украшенным фасадом».

**) «Переселения, колонизация страны были основным фактомъ нашей исторіи, с которым в близкой или отдаленной связи стояли все другіе ее факты" (В. О. Ключевскій).

ских переселенцев за Урал, то ослабевая, то усиливаясь, шел непрерывно до нашего времени. За одно пятилетие 1906-10 г. прошло за Урал свыше 2 миллионов переселенцев, — количество населения, достаточное для образования какого-нибудь европейского королевства или республики!...

Помимо «растекания» населения из средне-русского центра на окраины, где, вне административного и финансового гнета московского правительства складывались, начиная с XV столетия, многочисленные своеобразные общины вольных казаков, помимо массовых переливов населения из одной области в другую, в древней России происходили непрерывные внутренние передвижения — в пределах отдельных областей. Не только казаки и вольные «гулящие» люди, но и значительная часть крестьянского населения древней Руси, вплоть до XVII-XVIII в., постоянно передвигалась с места на место.*) Эта подвижность, неусидчивость сельского населения вызывалась, помимо иных причин хозяйственно-географическими условиями, создавшими возможность и выгодность подсечной и переложной системы земледелия.**)

Между тем как русское народное море находится в непрерывном движении, Европа уже в XIII в. окончательно переходит в состояние оседлости, покрывается густою сетью селений и городов и, наряду с общим оформлением правовых и социальных отношений, создает строгие формы регламентации народно-хозяйственной деятельности.

Таким образом, между «неподвижной» оседлой Европой и кочевой бродячей степью является, как своеобразный мир, полу-оседлая, полу-бродячая Русь.

4

В общем ходе *экономического* развития Европы и России проявляются весьма существенные отличия.

Европа проходит (сколько бы ни вносили оговорок и ограничений в эту схему) нижеследующие стадии хозяйственного развития: 1) домашнее хозяйство, 2) городское хозяйство, 3) народное хозяйство. Вторая ступень — *городского хозяйства* представляет собою весьма важную и длящуюся долгие века эпоху, когда город стоит во главе области, представляющей собою единое, по возможности, замкнутое и самодовлеющее хозяйственное целое, причем экономическое господство города над окрестным округом

*) «Бродячесть населения была исконной характерной чертой сельского быта северо-восточной Руси, начиная с эпохи ее колонизации». (С. В. Рождественский).

**) «Масса покинутых и обратившихся в пустоши деревень, рядом с большим количеством в той же местности починков, выставок, указывают как на бегство жителей из одной области в другую, так, без сомнения, и на переходы населения в пределах одной местности». (Н. Д. Чечулин).

оформлено и юридически — в виде целой системы правовых установлений. Только города, по общему правилу, имели «право рынка» (Marktrecht) и связанное с ним право рыночной полиции. Bannrecht (Meilenrecht или Bannmeilenrecht) означало монополизацию в пользу городского населения всего промышленно-ремесленного производства, запрещенного жителям деревни. Strassenrecht и Stapelrecht (jus emporii, depositio) устанавливали принудительное направление провозимых товаров по известным дорогам и принудительное выставление их на продажу в известных пунктах в течение определенного времени. Gastrech или Fremdenrecht содержало различные ограничения торговых прав «гостей», т. е. иноземцев и т. д. Действовавшее в Европе в средние века и еще долго в «новое время» городское право должно было обеспечить городу монопольный сбыт продуктов городской промышленности в свой сельский округ и монопольное получение из этого округа сырья и пищевых припасов, нередко по «указной цене», т. е. по ценам, такированным городскими властями.

В своем *происхождении* средневековой город и на западе нередко был, прежде всего крепостью, опорным пунктом для военной обороны страны, но не это значение города характерно для развитого городского строя, а именно значение его, как места принудительного сосредоточения торговли и ремесленного производства.

Характерной и основной чертой внутренней организации европейских средневековых городов является цеховой строй. Все торговое и ремесленное население города обязательно об'единяется в гильдии и цехи, задачей которых является всестороннее регулирование производства и торговли и контроль над хозяйственной деятельностью своих членов, с целью обеспечения им достаточного, но не превышающего традиционно-установленных границ уровня существования. При этом купеческие гильдии и ремесленные цехи, не довольствуясь своими хозяйственно-административными функциями, приобретают нередко и политическое значение, составляя или влияя на состав правительств городских областей («эпоха цеховых революций», по Г. Шмоллеру, 1300-1450 г.).

При этом руководящем значении городского населения в хозяйственной жизни и количественное развитие городской жизни было уже в средневековой Европе весьма значительно. Для Германии К. Бюхер предполагает в конце средних веков цифру около 3000 городов. Koetzschke принимает цифру городского населения Германии около 1500 г. в — 4-5 миллионов, при общем количестве народонаселения Германии около 20 миллионов.

Обращаясь теперь к России, видим здесь совсем иную картину*). Горо-

*) «В остальной Европе развитие города было последствием внутреннего развития экономической и промышленной жизни европейского общества... Обращаясь к России, и в этом случае встретим полную противоположность европейской истории города и городского сос-

да — в европейском смысле, — в России, в сущности, не было до XVIII столетия*). Имея преимущественно стратегическое значение, значительная часть русских городов в XVI-XVII вв. вовсе не имела (или почти не имела) «посадских людей», а там где посады развивались на основе экономической, как в северных или «поморских» уездах Московского государства, там они не только не выделялись какими либо правовыми особенностями из окрестных сельских округов, но зачастую совершенно сливались с ними и в хозяйственном и в административно-финансовом отношениях, образуя единые всеуездные миры**).

Наша древность не знала формальных ограничений права торговли, и купцы не составляли у нас особого класса с сословной организацией, равно как не знала она, в нормальных условиях, и принудительной таксировки товарных цен.

Ремесленная промышленность, не будучи принудительно сконцентрирована в городах, растекалась по всей стране в виде кустарных промыслов, развивавшихся по потребностям и желаниям потребителей и по силам и способностям мастеров, а не по правилам и предписаниям цеховых статутов***).

Таким образом, свобода промыслов (Gewerbefreiheit), к которой Европа пришла лишь в XIX ст., у нас представляет собою исконное начало экономической жизни, а в области торговли у нас господствовала «вольная цена» в отличие от европейской таксировки товарных цен.

Уложение царя Алексея Михайловича прикрепило посадских людей к месту жительства и предписало «взять на государя» соседние с посадами частновладельческие слободы, но «обособление города от деревни этою

ловии. Русский город... не был естественным продуктом внутреннего экономического развития страны... Промыслы и торговля в России... долго сливались с сельскими занятиями... Русский город был, прежде всего, правительственным и военным центром. В целой половине России, на юг от Оки, все без исключения, города появляются на наших глазах именно как такие оборонительные пункты. Понятно, что и в населении их преобладает служилый, военный элемент». (П. Н. Милюков).

*) Если не говорить о городах западной России, из которых часть перешла под власть Москвы в XVII ст.

**) «На севере социальной разницы (между посадом и уездом) не было. И в городе и в уезде жил один и тот же черносошный мужик, занимавшийся одинаково земледелием на посаде и промыслами в деревне. Самые названия «посадский человек», и «крестьянин» были не более, как шаткими терминами, обозначавшими не различия юридических состояний, а лишь разные места жительства». (М. М. Богословский).

***) Элементов торговой, промышленной и художественной культуры того типа, который обычно именуется «городским», в Волжско-окском междуречьи и севернее было не мало. Но, как видно из текста, эти элементы показывали иное распределение и как бы иную «конструкцию», чем в Европе.

мерою не достигается. Здѣсь производится разграничение не между городом и деревней, а между людьми, непосредственно зависящими от государя, и теми, которые в силу прикрепления были поставлены в зависимость от частных владельцев». (В. И. Сергеевич). Запрещение сельским жителям, не принадлежащим к составу посадских тяглых общин, держать лавки в посадах имело целью только охранение фискально-податных интересов, а вовсе не запрещение торгово-промышленной деятельности сельского населения. Наоборот, Уложение 1649 г. (гл. XIX, ст. 17) определенно признает за крестьянами право торговли «всякими товарами»: «А чьи крестьяне учнут к Москве и в городы приезжать из уездов со всякими товары и им те товары продавати по вольным торгом беспошлинно, на гостине дворе с возов и стругов, а в рядах лавок не покупати и не наймывати».

И впоследствии попытки городского класса в России добиться монополизации в его руках торговли и промышленности оставались безуспешными. К тому же и сам этот класс в России никогда не имел организации, которая по своей силе и по своему социальному значению могла бы сколько-нибудь равняться с организацией «среднего сословия», в Европе. Существовавшие в Московском государстве специальные организации торгово-промышленного населения — гости, гостинная и суконная сотни — во первых, охватывали собою относительно ничтожное число лиц, — а во-вторых, представляли собою не самостоятельные и самодеятельные, а *служебные* организации, созданные правительством для несения финансовой службы. «Гостиным именем» царь *жаловал* за службу, и число гостей было всего лишь, по словам Гр. Котошихина, «близко 30 человек». Гостиная и сукопная сотни были принудительными тягловыми организациями, пополнявшимися *по набору**). Следующее сопоставление ясно показывает, что между нашими московскими «сотнями» и европейскими организациями торговопромышленного населения по существу нет никакого сходства. На Западе вступление в торговую гильдию или ремесленный цех представляло собой завидную привилегию, которую стремились *купить* значительным взносом или подарком (в то время, когда цеховые верхушки стали обнаруживать стремления к ограничению доступа в цехи). У нас вступление в «*привилегированные*» сотни представляло собой — тяжелую повинность, от которой стремились... *откупиться* значительной взяткой**).

---

*) «Все эти привелегированные служебные чины торговых людей пополнялись периодическими наборами из среды лучших торговых людей в Москве и по городам» (М. А. Дьяконов).

**) В I т. Пол. Собр. Зак. (№ 123) приведен именной указ 1654 г., сказанный князю Александру Кропоткину и дьяку Ивану Семенову — о наказании их за взятки: «Князь Александр Кропоткин! В нынешнем 162 году по Государеву Цареву и Великого Князя Алексея Михайловича всея России указу, взяты к Москве в гостинную сотню Горохвляне, посадские люди, и после того пожаловал Государь по челобитью

Лишь в XVIII в., в то время, когда на Западе цеховой строй уже потерял свое значение и стал разлагаться, русское правительство попробовало — насадить в России городское самоуправление по европейскому образцу, купеческие гильдии и цеховую организацию ремесла. Но и здесь под новыми европейскими формами оказалось старое, служебно-фискальное содержание. «Как уже прекрасно выяснено Дитятиным, в истории русских цехов и гильдий вообще не следует искать аналогий с соответствующими явлениями европейского запада: — Цеховая организация установилась у нас в интересах фиска и казенной службы, причем и правительственные мероприятия и жизненная практика вкладывали в иноземные формы чисто туземное содержание... (У нас установился) взгляд на цеховые союзы как на обязательных поставщиков правительству исполнителей казенных работ... Выбирая магистратских членов, посадская община лишь выделяла из своей среды определенное количество лиц в распоряжение центральной власти, и «излюбленные люди» бургомистры и ратманы, переступая порог магистратской присутственной камеры, тем самым отчеплялись от своей общины, делались не слугами избравшего их общества, а агентами правящей бюрократии» (А. А. Кизеветтер).

Численность посадского населения России в XVIII в. определяется исследователями всего лишь около 3 проц. общего количества населения России (в середине века — около 200 тыс. душ м. п.).

Таким образом, у нас лишь в XVIII в. *правительство* хочет (точнее пытается создать) организацию городского сословного самоуправления по европейскому образцу и декретирует введение в России цехового строя, но и то и другое удается лишь в весьма скромной степени*) и, разумеется, не восполняет отсутствовавшую в нашей истории городскую «стадию развития» экономической жизни европейских государств.

тех Гороховлян, посадских людей, для их пожарного разорения, в гостинную сотню имать их не велел, а ты князь Александр, забыв страх Божий и государево крестное целованье и смертный час, взял с тех Гороховлян посулу 150 рублей, чтоб их к Москве в гостинную сотню не имать... А велено тебе за многостное воровство и за посулы учинить наказанье, бить кнутом по торгом и отдать за пристава»... Дьяк Иван Семенов, с своей стороны, потребовал с гороховлян за избавление их от незавидной «привилегии» — «бочку вина да денег тридцать рублев», за что также был бит кнутом и отдан за пристава»...

*) При Екатерине II «правительство хотело дать городскому сословию те элементы самостоятельности, которых не выработала русская история. Городское сословие облечено было для этого в формы средневековой европейской свободы, поделено на гильдии и цехи. Однако же городское корпоративное устройство в России... оказалось мертвой формой. Точнее говоря, под этой формой удобно приютилось старое начало государственного тягла и службы» (П. Н. Милюков).

В развитии сельской жизни и сельско-хозяйственного производства у нас и на Западе мы также находим отличия, доходящие до противоположности. В эпоху раннего средневековья Европа знает и волость (нем. Markgenossenschaft) и сельскую общину (Dorfgemeinde) с общинными угодьями (Allmende) и с периодическими переделами полевых участков, находящихся в *пользовании* у отдельных хозяев. Но очень рано Европа переходит в сельском быту к режиму частной земельной собственности. Значительная часть общинных полей и угодий переходит в руки крупных землевладельцев (знаменитое «огораживание» общинных полей в Англии, «спопиация» общинных земельных угодий, во Франции, Bauernlegung в Германии), а те участки, которые остаются в руках крестьян, получают свои неподвижные межи и своих частных собственников. Безземельные крестьяне могут получить землю не путем надела общинных «жеребьев», но лишь путем аренды земельных участков у крупных землевладельцев.

Между тем в России аграрная эволюция шла — от частной собственности к земельно-передельной общине, которая достигла своего наибольшего развития именно в новое время, в XVIII-XIX вв., когда на Западе частная земельная собственность окончательно восторжествовала над общиной. Правда, в нашей древности над правами частных владельцев возвышалось верховное право государя: «земля великого государя, а нашего владения» так характеризовали владельцы черных земель свое отношение к земле, но фактически они распоряжались своими участками, как собственностью. С другой стороны, если крестьянин шел садиться на землю к частному крупному землевладельцу то он брал у него участок для себя и своей семьи и вел на нем индивидуальное хозяйство, как мог и хотел. Но с конца XVII в., под прямым воздействием землевладельцев, с одной стороны, и органов государственной власти (на черных землях), с другой, все шире развивается равномерное наделение крестьян землей «по тяглам», и это стремление установить поземельно-передельное равенство между сельскими «тяглецами» особенно усиливается с введением подушной подати. В XVIII-XIX в. поземельно-передельная община охватывает собой огромное большинство земель, находящихся в обработке крестьян: она сохранит свое значение и после реформы 19 февраля и переживает полное торжество в момент всеобщего земельного передела и «поравнения» печальной памяти 1917-1920 гг.

Можно видеть в крестьянской поземельно-передельной общине тормаз для технического прогресса в сельском хозяйстве (и лично мне она представляется таким тормазом) и желать предоставления возможности сильным и хозяйственно-творческим элементам выйти из общины и организовать прогрессивные хозяйства на основе личной собственности на землю, но при историческом рассмотрении значения русской земельной общины нельзя не отметить, что в период господства общинно-передельных порядков на Руси значительно увеличилась площадь земли занятой сельско-хозяйственной обработкой*) и чрезвычайно возросло количество сельского населения, которому общинные порядки обеспечивали, хоть скудное, но верное пропитание.

5.

В связи с вышеизложенным стоит весьма важное *особенность социального строя* Русского государства. Тогда как на Западе до XIX в. господствуют начала *сословности* и корпоративности, древняя Русь не знала сословий в европейском смысле, она знала лишь *тяглые состояния* или *служебные чины*», между которыми государство распределило повинности, требуя от одних — военную службу, от других — податные взносы и исполнение натуральных рабочих повинностей**.)

На Западе в средние века «государство, так сказать, растворялось в сословно-организованном обществе». (Н. И. Кареев). В средневековой Европе все и всякие общественные организации, начиная от коллегии куфферстов и кончая союзами сапожных подмастерьев, имели свое самостоятельное значение и свои особые права и привилегии, по большей части формулированные в тех или иных письменных документах (от папских и императорских «була» — до цеховых статутов).

В России, наоборот, различные «чины», сложившиеся в Московском государстве, отличались один от другого не правами и привилегиями, а характером повинностей, возложенных на них государством. Государственность России «употребляла или даже создавала сословные группы, как орудия для своих правительственных целей.»***)

Так продолжалось до второй половины XVIII в. При Петре I основная пружина государственного порядка достигла высшей степени напряжения: сословная разверстка социальных повинностей стала еще тяжелее, чем было в XVII в.» Лишь во второй половине XVIII ст., когда дворянство освобождается от обязательной службы и наделяется целым

*) «Русская земля в XVIII в. распахивалась, как не распахивалась никогда прежде». (В. О. Ключевский).

**) «Несмотря на великое неравенство состояний, Московское государство есть государство бессословное». (М. Ф. Владимирский-Буданов).

***) «Европейское общество и государство строилось, так сказать, снизу вверх. Централизованная государственная власть там, действительно, являлась как вымышленная надстройка над предварительно сложившимся средним слоем феодальных землевладельцев, который в свою очередь вырос на плотно сложившемся низшем слое оседлого крестьянского населения. У нас же, особенно в северо-восточной Руси, общество строилось сверху вниз»... Эта усиленная деятельность верхней государственной «надстройки» была вызвана, главным образом, непрерывной борьбой с внешними врагами и военным характером русского государства.»

рядом прав и преимуществ, оно, действительно получает характер привилегированного сословия, но, разумеется, эти запоздавшие русские «феодалы» XVIII-XIX ст. по своему правовому и политическому положению и по своей культурно-социальной роли весьма и весьма отличаются от действительных феодалов европейского Запада.

У нас отсутствовала не только самостоятельная и независимая от верховной государственной власти феодальная аристократия, но отсутствовала также, как уже указано выше, устойчивая и самостоятельная организация «среднего» или городского сословия, иначе, *торгово-промышленной буржуазии*. Между тем этот класс — tiers-état во Франции, Mittelstand в Германии — играл (и играет) огромную роль не только в экономической, но и в политической и в обще-культурной истории Европы. «В городах рождено было новое время» (А. Онкен). В городах зародилась и развилась новая светская культура, пришедшая на смену церковной культуре средневековой католической Европы.*) Вслед за под'емом экономического и культурного значения буржуазии, последовал и политический под'ем «третьего сословия», которое в новой Европе, достигнув, в лице парламентского представительства решающего значения в политической жизни, является главной опорой современного парламентарного строя в Европе и вместе с тем составляет главное условие прочности и устойчивости социального строя европейских обществ.**)

Весьма существенной особенностью социального состава древне-русского общества являются, далее, *массы казачества* (размещавшиеся по окраинам и за границами государства), которые были как бы выдавлены из пределов государства тяжелым прессом государственной машины и составили общественные образования, проникнутые духом прямой враждебности или скрытой неприязни по отношению к государству. Впоследствии казачество превратилось, в большинстве своем, в элемент «земский» и государственный, а своим сельско-хозяйственным трудом оно далеко раздвинуло на юго-восток область русской пашни, но анархически-нигилистическая психология, порожденная прежним военно-кочевым бытом и тягостями государственной организации, оставила весьма заметные следы в сознании русского «общества» и народа***).

*) Тогда как европейский город, начиная с XIV ст. (в Италии раньше) производит постепенно секуляризацию духовной культуры, в России *монастыри* остаются очагами культуры и просвещения вплоть до XVIII в., но и тогда в XVIII в., культура из монастыря переходит по преимуществу, не в город как таковой, но в дворянскую «усадьбу».

**) Должен оговориться, что отсутствие устойчивой организации «среднего сословия» в России я отнюдь не считаю фактом положительным и вовсе не вижу в этом нашего преимущества перед Европой. Но для меня в этом очерке дело идет не о морально-политических *оценках* а об исторических *фактах*. Я говорю не о том, что было у нас лучше, чем в Европе, и что хуже, но о том, что у нас было и чего не было.

***) Эта психология, связанная с стремлением «добывать зипуны», снимая их — с чужого плеча, тянется, — в постоянной борьбе с сознанием церковно-«земских» людей, — через всю нашу историю

Рассматривая процесс *политического развития* России сравнительно, с Европой, видим, что последняя прошла в своем политическом развитии эпохи *феодализма* и *сословно-представительной монархии*. Россия же миновала обе эти «стадии развития».

Основное начало феодализма, как политической системы, заключается в соединении *государственной* власти с землевладением, и вот этот основной принцип политического феодализма никогда не был осуществлен на Руси. Князья пользовались у нас своими владетельными правами по своему происхождению, т. е. по принципу династическому, землевладельцы же русские не княжеского рода никогда не достигали могущества и независимости, свойственных западным феодальным владетелям.*)

На Западе могучая феодальная аристократия как бы переростает через голову королевской власти. Феодалы составляют совет короля (им принадлежит *право* совета) и король является между ними лишь primus inter pares. Его власть не распространяется на подданных феодальных владетелей. Действительным правителем он является только для населения своих «доменов».

В средневековой Франции, до и после Карла Великого, королевская власть падает особенно низко, и король среди феодальных владетелей долго остается здесь «первым между равными». Потом, когда королевская власть из призрачной стремится превратиться в действительную монархическую власть феодальная аристократия ведет с ней долгую и упорную, временами вооруженную борьбу до самой середины XVII в.

В Германии происходит полное раздробление государственной власти между феодальными владетелями. Немецкий король (и император «священной римской империи немецкой нации») к концу средних веков растерял все атрибуты верховной власти в пользу духовных и светских феодалов, сохранив за собой лишь голый титул. Наоборот, графы, бывшие областные правители, стали в своих округах государями, наряду с герцогами и «князьями-епископами». Бароны и даже множество рыцарей (т. наз. Reichsunmittelbare) зависели непосредственно от императора, т. е. были фактически независимы.

В Англии политический феодализм, в смысле разобщения верховной власти, не достиг полного развития. Английские графы и бароны, каждый в отдельности, не сделались независимыми государями в пределах своих владений, но вместо того английская землевладельческая аристократия приобрела как бы коллективную власть в государстве: «Великая хартия вольностей» (1215) предоставила баронам, помимо иных «вольностей» и прав, право контро-

от новгородских ушкуйников (их воплощение в былинном творчестве — Васька Буслаев), через «воровских» казаков XVI-XVII ст., до современных комбед'ников.

*) «Древняя Русь не знает боярских владений с государственными правами» (М. Ф. Владимирский-Буланов).

ля над королевской властью, а затем сложившийся в XIII-XIV в. парламент, в котором аристократия играла главенствующую роль, не только приобрел весьма важное правительственное значение (право вотирования субсидий право петиций, контроль над королевскими советниками) но даже в течение XIV в. дважды низлагал неугодных ему королей.

Обращаясь теперь к России, видим здесь совершенно иные отношения между верховной властью и «феодалами». Вопреки настойчивым попыткам П. П. Павлова — Сильванского доказать противное, остается фактом, что наша «боярщина» вовсе не была «сеньерией» и наше бояре вовсе не были «сеньерами».

Подобно (по внешности) европейским феодалам, наши бояре заседают в думе великого князя, потом царя Московского, но, как справедливо указывает В. О. Ключевский, боярин «был советником князя потому, что был его слугой, а не потому, что был землевладельцем в его княжестве». *Право* совета существовало только в писаниях публицистов боярской партии XVI в., но действительным правовым установлением, формально-обязательным для верховной власти, боярский совет никогда не был, и государь вершил дела как хотел: или — по совету с боярами, или — «заперши сам третей у постели». Даже в XVII ст., когда боярская дума сложилась, более или менее, в правильно действовавшее учреждение (отнюдь впрочем не ограничивавшее формально верховную власть), царь мог разгневавшему его советнику дать пощечину, надрать бороду и взашей вытолкать его из залы заседаний (случай царя Алексея Михайловича с боярином И. Д. Милославским), при чем, конечно, ни участникам ни зрителям этой сцены и в голову не могло прийти, что здесь происходит лишь ссора... «между равными»!

Таково было положение наших мнимых «феодалов» при дворе, каково же оно было на местах, где они были областными правителями или крупными землевладельцами. Наши великие князья раздавали города и волости в «кормление» своим боярам, но эти «кормленщики» — наместники и волостели — всегда оставались *чиновниками* пославшего их на кормление князя и никогда не приобретали и тени самостоятельности средневековых европейских графов. Во-первых, они весьма часто сменялись со своих кормлений, а во-вторых, они управляли своими областями по инструкции и под контролем верховной власти. При назначении их на кормление им обычно выдавались «доходные списки», в которых весьма тщательно и подробно были перечислены те кормы, на получение которых от населения они имели право, — до последнего барана и до последнего алтына денег. Если же кормленщик перебрал что лишнее, то обобранные мужики имели право, по с'езде боярина с кормления, искать на нем свои «протори и убытки» обычным судебным порядком, с применением обычных способов доказательства, включая судебный поединок (интересно было бы посмотреть средневекового европейского виллана который, перед судебным приставом, тузил бы дубиною или ослопом какого-нибудь виконта или маркиза, или хотя бы его заместителя...).

Остается взглянуть на положение наших «феодалов» в их вотчинах.

Сторонники «феодализма на Руси» с особенным ударением останавливаются на т. наз. иммунитетах, на тех судебных и податных изъятиях и льготах, которые жаловали наши князья землевладельцам своих княжеств. «По прежде всего, как указал в своей полемике с Павловым-Сильванским В. И. Сергеевич, иммунитеты предшествуют системе феодализма, а не входят в нее, ибо они предполагают действие королевской власти на всех подданных, которые платят ей повинности и состоят под судом ее чиновников. В эпоху развитого феодализма такие подданные были у королей лишь в пределах королевских доменов; в пределах же феодальных владений «суд и дань» принадлежали феодальным владетелям по общему праву, а не по специальным пожалованиям в виде особых льгот. Отношение феодалов и льготников к королевской власти не имеет между собой ничего общего. Пожалование льгот есть милость». (В. И. Сергеевич).

Что касается судебных прав наших землевладельцев, то наиболее частым было предоставление им суда над населением их имений по делам — «о лихом душегубстве, разбоях и татьбы с поличным». Если принять далее во внимание, что преступления против религии и нравственности подлежали церковному суду, то что же остается на долю нашего «феодального» суда? Мелкие ссоры между мужиками да драки по «пиляному делу»? Наибольшее развитие судебно-вотчинной власти русских землевладельцев относится к гораздо более позднему времени — к XVIII в. и первой половине XIX-в. — но, разумеется, не к 19-му же веку относится расцвет — *политического* феодализма (и сам автор «феодализма в древней Руси» приурочивает «удельно-феодальный порядок» к XII-XVI вв., принимая его границами 1169 и 1565 г.).

Итак заключаем: системы политического феодализма, при которой феодальные владетели связанные с королем лишь слабыми узами вассального договора, были государями в своих владениях, никогда не было на Руси. Русские землевладельцы никогда не были *равными* своему государю, но всегда были его *подданными*. В нашем обществе можно найти лишь некоторые элементы *социальной* феодализации, заключавшиеся в большем, сравнительно с другими общественными группами, социальном весе землевладельческого класса и в его судебно-полицейских правах над крестьянским населением его имений.

Обращаемся к периоду сословно-представительной монархии. Автор «феодализма в древней Руси» и здесь бесстрашно утверждает, что Московское царство XVII в. по своей структуре одинаково с западно-европейской сословной монархией», и что наши земские соборы «представляют собою учреждение, тождественное по своей природе с французскими генеральными штатами, немецкими ландагами, испанскими кортесами, шведским риксдагом, польским сеймом (!) и отчасти с английским парламентом в его первоначальном виде».

В действительности об эпохе сословно-представительной монархии на Руси не может быть речи, ибо у нас не было и сословий в европейском смы-

сле, а наши земские соборы представительного характера, возникши в начале XVII в. в условиях смутного времени, после прекращения старой династии, играют, правда, значительную, но весьма кратковременную роль, которая прекращается уже при втором царе новой династии, едва новое правительство окрепло и привело в порядок систему администрации.

Это кратковременное (в историческом смысле) и эпизодическое выступление народного представительства на Руси, как бы в перерыве между двумя династиями, разумеется не тождественно с тем длившимся много веков периодом европейской истории, в течение которого государственная власть иногда фактически, а иногда и формально была разделена между главою государства и собранием сословных представителей.

Общим и характерным признаком европейских сословно-представительных собраний является именно их участие в политической власти. Собрания, которым не удается добиться оформления их политических прав, все же настойчиво к нему стремятся. Так, французские генеральные штаты, возникшие в начале XIV в. и собиравшиеся в последний раз перед революцией в 1614-15 г., и в начале (штаты 1355-1357 г.), и в конце своего существования (штаты в Блуа 1576 г. и 1588 г.) пред'являют королевской власти целый ряд конституционных требований. В XVII-XVIII в. королевский абсолютизм окончательно восторжествовал над своими конституционными противниками, но зато первые же генеральные штаты, которые королевская власть была вынуждена созвать после полуторавекового перерыва, превратились в революционное учредительное собрание...

Английский парламент, непрерывно существовавший с XIII ст. не только разделял с королем верховную власть в государстве, но, при случае, и низлагал неугодных ему королей. Так в 1327 г. он низложил короля Эдуарда II, в 1399 г. лишил престола Ричарда II Плантагенета и передал престол в Ланкастерскую линию в лице Генриха IV. В XVII в. попытка королей династии Стюартов установить в Англии абсолютизм повела к двум революциям, после которых верховенство парламента устанавливается прочно и никем не оспаривается.

В Германии ландтаги имели также многовековую историю со-правительства с княжеской властью. В XVII-XVIII вв., правда, в большинстве германских государств торжествует княжеский абсолютизм, и ландтаги или вовсе перестают созываться, или теряют значительную часть своих политических прав: но в некоторых княжествах южной и западной Германии ландтаги доживают до начала XIX в., когда они переходят (уже под влиянием французской революции и последовавших событий) в представительные учреждения нового типа. И в самой Пруссии король Фридрих-Вильгельм IV в 1847 г. созывает соединенный сейм земских чинов; в следующем году в Германии происходит революция и собирается Франкфуртское учредительное собрание, а в 1850 г. Пруссия получает новую конституцию, которая дожила до мировой войны.

В Польше начало развития шляхетских привилегий относится к XIII в. и уже в XIV в., эти привилегии получают общую формулировку и закрепление в актах 1339 г. (при Казимире Великом) и 1374 г. (Кошицкий привилей Людовика Венгерского). Польский шляхетский сейм с начала XVI в. (я имею в виду Радомскую конституцию 1505 г.) до самого конца XVIII в., т. е. до падения польского государства, сохранял несомненно первенствующую роль в государстве: он избирал короля и заключал с ним знаменитые «pacta conventa», он связывал королевскую власть по рукам и ногам, не оставляя королю самостоятельной роли ни в области законодательства и управления, ни в области внешней политики. У короля «Речи Посполитой» (т. е. республики) польской не осталось в конце концов ничего, кроме голого титула.

Обращаясь теперь к земскому собору Московского государства, мы не увидим здесь не только «тождества», но даже и сколько-нибудь существенного сходства с европейскими сословно-представительными собраниями. О *происхождении* нашего земского собора В. О. Ключевский справедливо замечает: «наш собор родился не из политической борьбы, как народное представительство на Западе, а из административной нужды». Относительно состава и характера земских соборов должно прежде всего заметить, что собор XVI в. как это выяснило исследование В. О. Ключевского, вовсе не был *представительным* собранием: «земский собор XVI в. был не народным представительством, а расширением центрального правительства», «совещанием правительства с собственными агентами». — Лишь после прекращения Рюриковской династии, в смутное время конца XVI и начала XVII в., земский собор приобретает представительный характер и вынуждается обстоятельствами играть важную политическую роль — при чем замечательно, что он, в противоположность западным сословно-представительным собраниям, всячески от этой роли открещивается. Собор 1598 г. в приговорной грамоте об избрании на царство Бориса Годунова старается доказать, что он не самовольно выбирает нового царя, но исполняет волю покойных царей Ивана Васильевича и Феодора Ивановича, якобы «приказавших» или «вручивших» царство Борису, стараясь таким образом подменить факт избрания фикцией непосредственной передачи власти Борису прежними «природными» государями. — Земский собор 1613 г., выбравший на русский престол 16-ти летнего Михаила Федоровича Романова не мог уже прибегнуть к помощи этой фикции, но за то он в своей приговорной грамоте*) усиленно и настойчиво подчеркивает факт родства ново-избранного царя с угасшей династией Рюрика,*) очевидно не усмат-

*) По воле Божией собор «избрал» на царство «прежних великих благородных и благоверных и Богом венчанных Российских Государей Царей, от их Царского благородного племени, блаженныя памяти Царя и Великого Князя Феодора Ивановича всея Руси и самодержца сродича, благоцветущую отрасль, Михаила Федоровича Романова-Юрьева: понеже он Великий Государь, блаженныя памяти, хвалам достойного Великого Государя Царя и Великого Князя Ивана Васи-

ривая в самом акте избрания достаточного правового основания для передачи верховной власти.

«Народное представительство возникло у нас не для ограничения власти, а чтобы найти и укрепить власть: в этом его отличие от западно-европейского представительства» (В. О. Ключевский). При первом царе новой династии земский собор играет важную роль и сначала (до возвращения из плена государева отца) заседает почти непрерывно. Но его значение — особенно по возвращении в Москву Филарета Никитича — чисто совещательное и осведомительное. Царь предписывает прислать в Москву на собор выборных людей, — «чтобы нам и отцу нашему и богомольцу Филарету Никитичу, Божиею милостью Патриарху Московскому и всея Руси, великия их нужи и тесноты и разоренья и всякие недостатки были ведомы; а мы Великий Государь, с отцом своим... советовав, по их челобитью, прося у Бога милости, учнем о Московском государстве промышляти, чтобы во всем поправити, как лучше». («демотическое начало»).

Что касается состава земского собора XVII в. то он, действительно, является теперь представительным, но выборные народные представители играли, в сущности, ту же роль, как их предшественники — должностные служилые люди. «Дать совет, когда его спрашивали у земли, — это — не политическое право земского собора, а такая же обязанность земских советников, как и платеж, какого требовала казна от земских плательщиков» (В. О. Ключевский). И сами выборные смотрели на свою деятельность как на службу государеву (ср. челобитные выборных с просьбами разных льгот и послаблений за их «службишко»)....

Таков был характер соборного представительства; какова же была продолжительность его деятельности? «Собор 1613 г. можно признать первым достоверным опытом действительного народного представительства» (В. О. Ключевский), между тем последним несомненно полным земским собором был собор 1653 г., созванный по вопросу о принятии в подданство Малороссии. Затем правительство начинает прибегать, в случае необходимости совета или осведомления, к должностному собранию столичных чинов — служилых или торговых людей. «Так история земского собора в XVII в. есть история его разрушения». (В. О. Ключевский). «Земский выборный собор входит в жизнь Московского государства случайно, по механическому толчку, какой дало пресечение старой династии, и потом появляется эпизодически от времени до времени»... «Земский собор становился все менее нужнее правительству по мере упрочения династии и роста правительственных средств, особенно приказного чиновничества»...

льевича, всея Руси и самодержца, законныя супруги Царицы и Великия Княгини Анастасии Романовны Юрьева родного племянника Феодора Никитича Романова-Юрьева сын, а блаженныя славныя памяти Великого Государя Царя и Великого Князя Феодора Ивановича, всея Русии Самодержца, племянник».

Если мы примем во внимание, что и эти случайные и эпизодические выступления народного представительства в Московской Руси прекращаются через 40 лет после своего начала, то разумеется, не станем говорить об «эпохе сословно-представительной монархии» на Руси.

Переходя к рассмотрению власти русского государя сравнительно с властью европейских монархов, видим, что характер верховной власти на Руси и в Европе существенно различен. Тогда как через всю теорию и практику европейской политической жизни проходит принцип *избирательно договорного происхождения* высшей светской власти, и католическая церковь, с своей стороны, подчеркивает ее зависимый и условный характер, — на Руси, с самого начала ее христианско-государственного бытия, получает господство византийская теория богоустановленной абсолютной власти; реальные политические потребности огромного государства, лишенного твердой и устойчивой социальной организации и окруженного враждебными соседями, заставляют реализовать эту теорию в абсолютной власти великого князя потом царя Московского, а примеры восточных владетелей, в частности татарских ханов, дают русским монархам практические образцы абсолютного властвования. В своей исторической роли русская верховная власть должна была быть и в действительности была *большим творческим фактором*, гораздо более всеобъемлющей и активной общественно-организующей силой, чем монархические правительства европейского Запада.

На Западе королевская власть теоретически ведет свое происхождение от римских императоров; между тем, римский император — princeps — теоретически был только summus magistratus, высшим чиновником в государстве, получившим свою власть по уполномочию и по воле народа. Европейское средневековье, в общем, представляет собой эпоху полного упадка королевской власти. В конце «средних веков» и в начале «нового времени» происходит ее усиление, но все же власть короля является ограниченной сословно-представительными собраниями, которые нередко требуют от короля (особенно новой династии) принесения коронационной присяги в соблюдении сословных прав и вольностей и берут у короля письменный «реверс» с соответственным обязательством. Таким образом договорное начало верховной власти не оставалось только теоретическим учением, но находило и свою государственно-правовую реализацию. Не забудем далее, что высшая светская власть в западном мире-императоры — священной римской империи — была властью выборной, при чем коллегия князей-избирателей (курфюрстов) теоретически мыслилась, как уполномоченная всем народом и действующая во имя его верховных прав.

Папство, считающее себя высшей властью всего христианского мира в делах не только церковного, но и светского порядка, стремилось и в теории и на практике принизить светскую монархическую власть. Учение западной церкви утверждало превосходство духовной власти над светской и приз-

навало лишь церковь божественным установлением, государство же — делом рук человеческих.

Учение о народном верховенстве и об общественном договоре создающем власть, конечно, не есть открытие женевского «мудреца» XVIII в.; оно возникает в средне-вековой Европе с конца*) XIII в.; в XIV - XV в. в. оно было формулировано целым рядом политических писателей (Марсилий Падуанский, Лупольд Бебенбургский, Николай Кузанский). В XVI и в начале XVII ст. учение о народном суверинетете проповедуют, с одной стороны, «монархомахи» (Губерт Лонгэ, псевд. «Юний Брут,» Франциск Готоман, Марий Соломоний), с другой — церковные католические писатели, преимущественно иезуиты (Беллармин, Суарец, Молина), причем некоторые из них защищают даже право низложения нечистивых королей и доходят до оправдания цареубийства. Политическая литература кальвинистов защищала теорию сословно-представительной монархии, также основываясь на идее народного суверинтета. Эту идею развивали далее в Англии Мильтон, Сидней, Локк. Учение о договорном происхождении общественной власти приняли и писатели монархического направления, стоявшие на почве теории «естественного права» — Гуго Гроций, Пуфендорф и др. И даже Гоббс, представивший наиболее резкую формулировку принципов монархического абсолютизма, отказывается от теократического обоснования монархии и дает рационалистическое обоснование власти абсолютного монарха, возникающей на основании особого «договора подчинения» (pactum subjectionis), которым все члены общества отказываются от своих прав, переносят их целиком и безраздельно на одну особу- монарха. Такое же договорное обоснование дает и Руссо своей системе демократического абсолютизма.

Таким образом в понимании условного и зависимого от «договора» с подданными характера верховной власти на Западе идет единая линия развития — от средневековых католических писателей до Жан-Жака Руссо и «декларации прав» 1789 г. Монарх, вообще носитель верховной власти, является здесь уполномоченным и приказчиком народа, «уридником», как называет Иван Грозный польского короля.

Этой теории, в общем, соответствовала и практика европейской государственной жизни. Если на Руси как мы указали выше, политическое выступление народного представительства было случайным и кратковременным эпизодом, как бы в перерыве между двумя династиями, то на Западе, наоборот, королевский абсолютизм был как бы эпизодом в перерыве между действием сословно-представительных собраний и началом нового парламентски-организованного представительства. Правда, «эпизод» этот длился довольно долгое время, в некоторых странах — полтора — два столетия, но во всяком случае эпоха королевского *полновластия* на Западе была гораздо короче эпохи королевского *слабосилия*...

*) См. O. Gierke. Althusius und die Entwicklung der naturechtlichen Staatstheorien.

На Руси, с самого принятия христианства, развивалась иная идея верховной власти. Византийское и южно-славянское духовенство принесло на Русь восточно-византийское понимание верховной власти, начало и обоснование которой заключается в Божьей воле и Божьей милости и которая передается от одного лица к другому — по принципу династической преемственности. Еще в то время, когда ни о какой действительной *царской* власти на Руси не было и помину, наши летописцы уже проповедуют величие власти и неприкосновенность особы князя — «цесаря»: «Естеством бо земным подобен всякому человеку цесарь, властью же сана яко Бог»... (Лавр., 1175 г.). Как мы уже отметили выше, реальные условия русской исторической жизни, идя навстречу византийской теории царской власти, создавали повелительную необходимость сильной центральной власти, которая и складывается в XIV - XVI в. в. в лице великого князя Владимирского и Московского, а потом — царя «всея Руси». После падения Константинополя русский царь делается идейным наследником византийских императоров, а его столица Москва становится «третьим Римом» с притязанием на вселенское значение. «Да весть твоя держава, благочестивый царю, пишет инок Филофей великому князю Василию Ивановичу в начале XVI в., — яко вся царства православные христианские веры снидошася в твое едино царство, един ты во всей поднебесной христианом царь»...

Уже Иван III принимает внешние эмблемы власти византийских императоров и в 1488 г. на предложение выхлопотать ему у цесаря королевский титул, с гордым сознанием высоты своей власти отвечает: «Мы Божией милостью государи на своей земле изначала, от первых своих прародителей, и поставление имеем от Бога как наши прародители, так и мы, а просим Бога, чтобы нам дал Бог и нашим детям и до века в том быти, как есмя ныне государи на своей земле, а поставления как есмя наперед сего на хотели ни от кого, так и ныне не хотим».

Иван Грозный в одном из своих писем к кн. А. М. Курбскому так формулирует свое понимание царской власти: «Самодержавство Божиим изволением почни от великого князя Владимира..., не восхитихом ни под ким же царства, но Божиим изволением и прародителей своих благословением, яко же родихомся во царствии, такое и возрастохом и воцарихомся Божиим велением и родителей своих благословением свое взяхом, а не чужое восхитихом». Об отношении к управляемым царь пишет далее, что русские самодержцы *изначала сами владеют всеми царствы*, а не бояре и вельможи».*)

*) Конечно, и на Западе в эпоху абсолютизма в устах абсолютных государей и их слуг — политических и литературных — можно услышать не мало заявлений о божественном происхождении королевской власти и об ее абсолютном характере, но как сам абсолютизм не

Вотчинно-династическая основа царской власти над Русской землей, которая «изначала» «иссгарины от прародителей» является «отчиной» царствующего дома, прочно вошла в сознание правителей и управляемых. Наоборот, избирательно-договорное начало представлялось обоим сторонам полной несообразностью. «Выборный царь,—говорит В. О. Ключевский, — был для народной массы такой же несообразностью, как выборный отец, выборная мать. Вот почему в понятие об «истинном» царе простые умы не могли, не умели уложить ни Бориса Годунова, ни Василия Шуйского, а тем паче польского королевича Владислава: в них видели узурпаторов, тогда как один призрак природного царя в лице пройдохи неведомого происхождения успокаивал династически-легитимные совести и располагал к доверию... Царь Михаил утвердился на престоле не столько потому, что был земским всенародным избранником, сколько потому, что доводился племянником последнему царю прежней династии».

Естественно, что при столь различном понимании власти монарха у нас и на западе, царь Иван IV, проникнутый сознанием величия и святости своего сана, невысоко ценил власть западных королей. Польскому королю Сигизмунду-Августу он колет глаза избирательным характером его власти: «Ты еси посаженой государь, а не вотчинный, как тебя захотели паны твои, так тебе в жалование государство и дали». В письме к Стефану Баторию он пишет про себя, что он — царь «Божиим изволением, а не многомятежного человечества хотением»... Про шведского короля царь Иван замечает, что советники королевства — его товарищи, «а он у них в головах, кабы староста в волости». Елизавету Английскую царь горько упрекает за то, что она не «сама владеет», а допускает вершить государственные дела — «мужикам торговым», — «а ты пребываешь в своем девическом чину, как есть пошлая девица»...

Зато восточные владетели, султан турецкий или хан крымский, представляются Москве настоящими государями, и московских царей нисколько не шокирует наименование их не только царями, но и «братьями»...

Иностранные путешественники, от Герберштейна до Фоккеродта, подчеркивают в своих описаниях России беспредельную, неограниченную власть царей Московских над всеми подданными. Они приводят обычную московскую поговорку: «про то знает Бог, да великий государь», свидетельствующую о безграниченном благоговении подданных перед царской властью.

Впрочем, будучи формально беспредельной, власть государя московского ограничивалась, с одной стороны, старинным исконным обычаем (московский государь не совершал того, что «не повелось»), а с другой — влиянием церкви и духовенства. О важнейших делах государственной жизни московский государь обычно «советовал с отцом своим и богомольцем» — патриархом и, «со всем освященным собором», и затем, он внимательно выслушивал «печалования», и челобитья представителей русской церкви...

являлся на Западе длительно господствовавшей формой политической жизни, так и теократически-абсолютистские воззрения не были господствовавшей теорией европейского государственно-правового сознания

7

Помимо указанных различий в областях экономической, социальной и политической, мы видим между Россией и Европой труднее поддающиеся точной формулировке, но по существу еще более важные различия церковно-религиозного и общественно-психологического характера. Между миром восточно-православным и миром западно-католическим существовали глубокие *силы отталкивания*, и это отталкивание древне-русского человека от «поганой латины» едва ли когда было сильнее отталкивания его то «поганых бусурман». — «Иностранные писатели говорят единогласно, что в Москве ни к каким иностранцам не относились с таким отвращением и недоверием, как к католикам» (В. О. Ключевский, «Сказания иностранцев о Московском государстве»).

В нашем своде церковных законов, в т. наз. Кормчей книге (я имею в виду печатное издание 1653 г.) *на первом* месте помещено «сказание известно о том, чесо ради» восточные патриархи «римских пап от божественные восточные церкви, от обычного поминания и любовнаго союза извергоша»... В Риме, повествует это сказание, «дерзнуша истину превратити,... и таковым злым падением падоша, не мню аще восхотят: возлюбиша бо славу человеческую неже славу Божию... И сего ради папа римский с последовавшими ему четырех патриарх, паче же и от божественные вселенские церкве от обычного поминания и любовного союза изверже бывает, и старейшинства отпадает, яко же к тому прочим патриархом от римского настоятеля ничтоже требовати, но яко еретика и злославна суща и вместо пастыря губителя суща Христову стаду бывша вменяти»...

Таким «еретиком» и «губителем» оставался все время римский папа и его агенты для благочестивой православной Руси, в чем проявлялось если неясное сознание, то глубокое чувствование противоположности тех духовных начал и тех внешних проявлений, которые характеризуют церковь западную и церковь восточную.

В отношении к государству и к светскому обществу вообще западную церковь характеризуют два начала: *теократические стремления и клерикализм*. Общеизвестно стремление папства к господству над миром (вплоть до постановления и низложения королей) и борьба его с светскими государями, вызывавшаяся этим стремлением. И вся иерархия Запада стремится к светской власти и мирскому могуществу: архиепископы, епископы, аббаты выступают в роли светских князей («Fürst-Bischof»), со всеми атрибутами государственной власти,— и эти духовные князья, наравне со светскими, входят в общую цепь феодальной иерархии, при чем в Германии одно время играют даже численно преобладающую роль (в XIV ст. в Германии насчитывалось

духовных князей свыше 60, светских — около 40). В своих областях эти духовные князья имеют свое войско*), свое управление, свою монетную систему, при чем интересно отметить, что право чеканки собственной монеты они начали получать от королевской власти раньше, чем того же права добились светские князья. В коллегии курфюрстов, избиравших германского императора, как известно, из семи князей-избирателей трое было духовных (архиепископы майнцский, кельнский и трирский).

В сословно-представительных собраниях духовные князья и выборные от клира составляют «первое сословие» среди иных сословий, разделяющих государственную власть с монархом...

Так на Западе происходит омирщение церкви, затмение ее духовно-религиозного смысла.

Наша церковь чужда теократических притязаний и не стремится к мирскому господству (некоторые крайности во взглядах патриарха Никона — явление эпизодическое и не устраняет правильности указанного общего положения). Ее руководящим правилом было евангельское повеление: «Воздадите убо кесарево кесареви, а Божие Богови»... У русского духовенства по отношению к светской власти — лишь обычай совета, да нравственное право печалования.

Нечестивые — с точки зрения католических ревнителей — короли Франции Генрих III и Генрих IV пали под ударами католических кинжалов. Русский митрополит Филипп, обличая пастырским словом нечестивого властителя, сам принял венец мученический...**)

8.

Если «феодализм и католицизм легли в основу быта западной Европы, в основу жизни общественной — государственной, правовой и хозяйственной — в основу духовной культуры — морали и всего мироосмысления» (Н. И. Кареев), если, таким образом, католицизм составлял душу Европы, а феодализм — ее тело, то у нас и тело и душа были иные. И если в своем историческом развитии мы миновали многовековые «стадии» католицизма, феодализма, сословно-представительной монархии, городского хозяйства, цехового строя, — это значит именно то, что мы шли своим особым путем, отличным от путей

*) Наша Кормчая книга, в статье: «о фрязех и о прочих латинех», замечает с осуждением: «Епископы их во время брани и сами ополчаются, и прежде инех входяще в брани бьются»...

**) Подробнее и обстоятельнее о религиозно-метафизической противоположности между Россией и латинством и об их исторических отношениях см. в сборнике: «Россия и латинство», Берлин, 1923.

Запада, а не являлись лишь «наиболее отсталой страной Европы», страной, которая ковыляла в хвосте иных европейских государств,*) подчиняясь мнимым «законам исторического развития»...

9.

Внешние отношения Руси к Западу и Востоку в традиционном представлении сводятся к являвшейся будто бы нашей главной исторической задачей «сторожевой службе», «охране тыла европейской цивилизации» от натиска дикого, варварского Востока. Весь пафос нашей истории якобы составляла непримиримая, на жизнь и на смерть, борьба с Востоком и стремление к сближению с нашими западными со-братьями, от которых мы были отделены случайными и внешними причинами вроде татарского ига. Однако исторические факты плохо вяжутся с таким односторонним и схематическим представлением. Мы не отрицаем факта вековой борьбы России с Востоком, но утверждаем, что эта борьба была не проявлением «заветной племенной ненависти» (как думал Н. И. Костомаров), но — велением политической необходимости, и как только миновала эта необходимость и прекращалась вооруженная борьба, тотчас русский народ находил modus vivendi со своими восточными соседями и в дальнейшем мирно с ними уживался, гораздо легче, чем с соседями западными.

Там, где русский мир приходил в непосредственное соприкосновение с латинским западом, как это было на псковско-ливонской границе, эти два мира вступали между собою в упорную, почти непрерывную, ожесточенную борьбу, длившуюся веками, и будучи близкими соседями, Русь и «латина» жили бок-о-бок враждебно-неприязненно и упорно не смесимо. Многократно нападая на псковскую землю, немцы брали псковские пригороды, избивая их население, и опустошали псковские волости. И вслед затем обычно псковичи, с своей стороны, «месть мстили», предпринимая опустошительные набеги на немецкие владения.

Со страниц псковской летописи слышится лютая ненависть к «поганой латыне» и пафос псковской истории действительно заключается в завете — «хранити сей град Псков от находящих латынь и соблюдати от поганых и безбожных немец». Борьба Пскова с немцами, начавшись во втором десятилетии XIII в., продолжается до начала XVI в., т. е. до конца самостоятельного существования Псковского государства, и борьба эта носит не только национально-политический, но и религиозный характер (ведь ливонские рыцари и католические князья-епископы Риги и Юрьева имели благочестивую задачу распространения — христианства на востоке!). При нападении на Псковскую область в 1299 г. немцы убили игуменов монастырей Спасо-мирожского

*) «В арьергарде Европы», по выражению В. О. Ключевского.

и Богородицко-Снетогорского и перебили много чернецов и черниц... Псковичи, с своей стороны, при походе в немецкую землю в 1460 г., как отмечает с удовлетворением псковская летопись, «немцам много шкоты учинили и божницу велику выжгоша, и крест с божницы взяша и четыре колоколы сняша, и попа немецкого поимаша»... Вот каким тоном говорит псковская летопись о нашествиях «поганых» немцев: под 1480 г. — «тогда поганый князь местер (т. е. магистр Ливонского ордена) въ'ярився и понухиев лицем, приде со своими силами ко Пскову, августа в 20 день, скрежеща своими многоядными зубы на дом святыя Троицы и на мужей Псковичь...» С другой стороны, с каким восторгом описывает псковский летописец военную помощь, которую Псков получил в борьбе со своими исконными неприятелями от москвичей и татар! Запись под 1502 г.: «Тоя же осени... послаша великие князи Иван Васильевич и Василий Иванович своего воеводу князя Александра Оболенского с силою московскою и царя татарского с татары, а велели им великие князи ити в немецкую землю со псковичами воевати». В происшедшей битве московский воевода был убит «на первом ступе», но все же немцы потерпели полное поражение: «и бища поганых немец на 10 веретах, и не оставиша их ни вестоноши, а не саблями светлыми секоша их, но бища их москвичи и татарове аки свиней шестоперы...»

Если на западе граница русского мира была резко определенною, то на востоке она как-то терялась в необ'ятных просторах приволжских и сибирских степей. Вслед за военными столкновениями и завоеваниями — сначала татар на Руси, потом — русских на Востоке, происходит мирное проникновение русского элемента в восточную среду и восточного — в русскую. Русские поселенцы растекаются в пределах царств Казанского, Астраханского, Сибирского, мирно уживаются с местным населением и частью совершенно с ним смешиваются... После первого, военного, происходит второе, мирное завоевание Востока русским народом, и вместо проявлений «заветной племенной ненависти» происходит настолько быстрое сближение и смешение русских с инородцами, что это даже беспокоит светскую и церковную власть. В половине XVII в. московское правительство начинает заботиться об отдалении русских сибиряков от инородцев, опасаясь дурного влияния на нравственность русских людей. Царь Алексей Михайлович приказывает тобольским воеводам «разводить» русских с татар, чтобы они вместе не пили и не ели и не жили. На это сближение русских с татарами жаловался тобольский архиепископ Симеон в 1654 г.. После пожара 1643 г., по его словам, «тобольского города всяких чинов жиленкие люди живут в татарских юртах под горой и те православные христиане ожились и живут с татарами вместе, а живучи в татарских юртах русские люди скверняться: пьют и едят из одних сосудов и в пост с ними упиваются»...

С другой стороны, множество татар принимает православную веру, татары массами едут на русскую службу, татарские царевичи, ради их «великой породы» пользуются в Московском царстве преимуществом чести перед

русскими боярскими родами,*) множество служилых татар «испомещается» — в одиночку и целыми группами — на окраинах и внутри государства, многие знатные татарские роды входят в ряды русской служилой знати и совершенно с нею сливаются**) (князя Мещерские, Черкасские, Кугушевы, Кудашевы и др.); при вооруженных столкновениях с западными врагами — немцами, шведами, поляками, литовцами — на помощь русскому войску привлекаются многотысячные вспомогательные отряды, составленные из восточных инородцев. Количество вспомогательных татарских войск на московской службе определяется (на рубеже XVI и XVII ст.) около 30 тысяч человек, по тогдашним военным масштабам — сила весьма значительная. Таким образом, если Россия защищала Европу от татар, то, с другой стороны, татары защищали Россию от — Европы!

Времена татарского ига, конечно, были для России временем бедствия и унижения, но нельзя все же не отметить, что татары не только не обнаруживали систематических стремлений к уничтожению русской веры и народности, но, наоборот, проявляя полную веротерпимость, ханы татарские выдавали ярлыки русским митрополитам на охрану прав и преимуществ русской церкви, угрожая тяжкими карами, тем, кто причинит русской вере вред или оскорбление. «Татары, — пишет историк русской церкви Е. Е. Голубинский, — стали к вере и к духовенству русских в отношения самой полной терпимости и самого полного благоприятствования. Ни целый народ, ни кого бы то ни было в отдельности, они вовсе не принуждали к перемене веры; за духовенством нашим они вполне признали его существующие гражданские права... —Татары стали в отношения полной и совершенной терпимости к вере русских не потому, чтобы они хотели сделать исключение именно для них, а потому, что в такие отношения они становились к верам всех покоренных ими народов, — потому что полная веротерпимость была общим их правилом в приложении ко всем». В государстве монголов «со времени самого Чингизхана существовал органический закон, чтобы все веры оставались неприкосновенными и права духовенств всех вер ненарушимыми» (Е. Голубинский).

В первом (из дошедших до нас) по времени ярлыке, который дан был ханом Менгу-Темиром митрополиту Кириллу (1267 или 1279 г.) находятся следующие постановления: вера Русских ограждается от всяких ее хулений и оскорблений, кто же (из татарских чиновников) дерзнет похулить или поругать русскую веру, «тот ничем не извинится и умрет злою смертию»; внешние принадлежности православного богослужения, книги и иконы, ограждаются

*) Гр. Котошихин говорит о крещеных царевичах Сибирских и Касимовских; «честию они бояр выше». И в торжественных случаях придворной жизни татарские царевичи выступают и затем называются в официальных актах впереди бояр.

**) «Князья татарского и мирзинского происхождения составляли значительный элемент среди высшего служилого класса в Московском государстве» (С. В. Рождественский).

от всяких посягательств на них, в смысле похищения или повреждения; духовенство русское освобождается от платежа всяких даней*) и пошлин и от исполнения всяких повинностей; все церковные недвижимые имения признаются неприкосновенными, и церковные слуги (принадлежащие церковным властям холопы) об'являются свободными от каких бы то ни было общественных работ.

После этого татарскими ханами даны были русским митрополитам еще четыре ярлыка: Узбеком — св. Петру, Чанибеком — Феогносту, Бердибеком — св. Алексею и Атюляком или Тулунбеком нареченному митрополиту Михаилу (Митяю). Все они подтверждают первый ярлык с добавлением, что митрополитам и иным духовным властям предоставляется суд над принадлежащими им людьми или холопами во всех уголовных делах.

Должно отметить, что на широкую религиозную терпимость татар русские ответили тем же, когда военно политический перевес в борьбе склонился на нашу сторону. Когда по завоевании Казанского царства в нем была учреждена православная архиепископская кафедра, то в наказе, данном (в 1555 г.) назначенному на нее архиепископу казанскому и свияжскому Гурию предписывалось всеми способами приучать к себе татар, но отнюдь не принимать насильственных мер для обращения их в православие: «приводить их любовью на крещение, а страхом ко крещению никак не приводить...**)» Сравним с этими фактами то что происходило на западных границах славянского мира. Еще раньше, чем Русь подверглась татарскому завоеванию, западно-славянские племена — ободриты, поморяне, лютичи — подвергались натиску германского Drang nach Osten, и в результате этого натиска славяне прибалтийские и полабские исчезли с лица земли...

«Еще семь столетий слишком тому назад, — пишет Н. Первольф***), — все земли на правом берегу Лабы — теперь корень могучей германской империи — были населены почти исключительно племенами славянскими, а немецкий элемент был тут лишь редким исключением. Во второй половине XII в. падает независимость полабских и балтийских славян окончательно: на развалинах славянских возникают новые государственные тела, либо чисто

*) Уже в 1246-47 г. г., когда производилась перепись русского населения для обложения его данью, духовенство не подвергалось этой переписи.

**) Были отдельные противоположные факты, но они остались именно эпизодами, — при том приурочении их, по преимуществу, к периоду крайней «европеизации» русской власти (методы действия «Новокрещенской конторы» 1731 года!). Если бы русские не были религиозно терпимы, были бы невозможны такие факты, как отмечаемое этнографами укрепление ислама во всей массе волжско-камских татар (а не только в верхах) именно уже в период русского владычества, и даже (в западной Сибири) обращение «на глазах у русских» в ислам барабинских татар, дотоле не мусульман.

***) «Германизация балтийских славян». Спб. 1876.

немецкие, либо онемеченные славянские. Славянский элемент мало-помалу уступает перед наступающим элементом немецким, и наконец исчезает совсем»...

Племенному названию славянина немцы придали значение — раба (Slave — Sklave)... Борьба между немцами и западными славянами идет не только племенная, но и религиозная. — «Кто же является апостолами Христова учения? Немецкие епископы и священники, окруженные полками ратников, в одной руке держат крест, а в другой меч; они заставляют славян отказаться от Святовита, чтоб преклониться перед святым Витом и платить подать епископам — бискупщину; вооруженные помощники тех апостолов лишают славян свободы, налагают на них другую подать, герцогу — войводницу»... (І. Первольф).

Настоящими губителями славян оказываются не те татарские ханы с «варварскими» именами Чанибеков и Бердибеков, но эти «благородные» германские герцоги и маркграфы, особенно, знаменитые деятели XIIст. — Генрих Лев, герцог Саксонский*) и Альбрехт Медведь, маркграф Бранденбургский...

И много позже, уже в XVII ст. воплощающий германизм, в лице Фердинанда II Габсбурга и его правительства, делает отчаянный натиск на сохранившуюся крайнюю западную ветвь славянства, стремясь насильственно онемечить и окатоличить чешский народ. После Белогорской битвы начинается жестокое и систематическое преследование немецким правительством всего Чешского и «еретического», т. е. не католического, в пределах «королевства Богемского», в котором отпало в то время от католицизма огромное большинство населения. Дело доходит (в 1626-1627 г. г.) до приказаний — всем не-католикам, живущим в Чехии, к положенному сроку обратиться в католическую веру или — выселиться из страны... В результате как военных опустошений, так и жестоких национально-религиозных гонений, вызвавших массовую эмиграцию из Чехии, к концу 30-тилетней войны в Чешском королевстве оставалось лишь около 800.000 жителей, тогда как перед ее началом в нем насчитывалось до 3 миллионов населения...

Во второй половине XVII в. и в XVIII в. продолжались менее жестокие, но столь же систематические попытки онемечить чешский народ. Ему, как иным западно-славянским племенам, грозила полная гибель, и лишь героические усилия национальной воли «будителей» чешского народа спасли его от участи лютичей и ободритов...

*) Интересно сопоставить с ярлыками татарских ханов русским митрополитам грамоту, которою Генрих Лев основывает и жалует Ратиборскую епископию (1158 г.). В этой грамоте (цитирую по І. Первольфу) он говорит: «Языческие соседние с нами племена славянские искони, со времени Карла Великого, всегда восставали

Таким образом, национально-религиозное угнетение славянского мира европейским западом было гораздо более опасным (иногда — прямо гибельным) для национального бытия славян, чем политическое господство татар над восточным славянством. — Принцип же веротерпимости, до которого Европа дошла лишь в XVIII в. — после «крестовых походов» для массового истребления «еретков» и язычников и после костров инквизиции — существовал в царстве Чингис-Хана и его преемников уже в XIII столетии...

С. Пушкарев

и враждовали против Бога и святой церкви. Когда же наконец они, после больших усилий, склонили свою упрямую голову перед христианством, то все-таки еще несколько раз возвращались к отвратительному идолопоклонству. Они сделались данниками наших предков и достались нам по праву наследства; мы не переставали поражать мечем рабские шеи неверных и, вследствие их злобы, значительно умножили их подати; они, таким образом притесняемые, жили долго и смирно под нашим владычеством, и значительно увеличили наши доходы. Вместе с проповедниками слова Божия мы, как светский государь, маханьем меча сгоняли грубый и строптивый народ к столу Божиему, и таким образом возвратили его христианству»...

МОНГОЛЬСКОЕ ИГО В РУССКОЙ ИСТОРИИ

1.

Сто лет тому назад, в 1826 г., русская Академия Наук предложила такую задачу на разрешение современных ученых: «Какия последствия произвело господство монголов в России, и именно, какое имело оно влияние на политические связи государства, на образ правления и на внутреннее управление оного, равно как на просвещение и образование народа». Сроком для представления ответа было назначено 1-е января 1829 г.

К назначенному сроку поступило лишь одно сочинение на немецком языке, которое не было признано достойным награды.

Через несколько лет после неудачной попытки, Академия вновь предложила задачу из той же области, но определила ее гораздо более узко. В новой постановке (1832 г.) задача была выражена следующим образом: «Написать историю Улуса Джучи или так называемой Золотой Орды, критически обработанную на основании как восточных, особенно Магометанских, историков и сохранившихся от Ханов сей династии монетных памятников, так и древних Русских, Польских, Венгерских и проч. летописей и других, встречающихся в сочинениях современных Европейцев, сведений».

Срок для решения этой новой задачи поставлен был также трехлетний (1 августа 1835 г.). На этот раз в Академию поступила также работа на немецком языке, большая и значительная, но однако, после отзывов академиков Френа, Шмидта и Круга, премия за работу и на этот раз не была присуждена.*)

С тех пор прошли десятки лет. Несколько поколений русских ученых трудились над изучением вопросов, поставленных Академией Наук в первой половине XIX века. Многое исследовано и уяснено; помимо источников арабских и персидских привлечены к рассмотрению источники китайские.**)

Однако, если мы приблизились теперь к разрешению второго вопроса,

*) Работа эта была опубликована через несколько лет. Она принадлежала перу известного ориенталиста Гаммера-Пургштали (Geschichte der Goldenen Horde. 1840).

**) Здесь нужно отметить выдающуюся роль нашей духовной миссии в Пекине (о. Иакинф Бичурин в первой половине XIX в., о. Палладий Кафаров — во второй половине).

поставленного Академией (о Золотой Орде), то первый общий вопрос об удельном весе монгольскаго ига в истории русскаго народа, остается в сущности до сих пор без ответа. Между тем, то или иное решение этого вопроса имеет громадное значение для понимания всего хода русской истории.

Русскую историю можно рассматривать с двух точек зрения. Можно изучать внутреннее развитие русской жизни и русского народа безотносительно к окружающим народам. Можно с другой стороны стремиться выяснить развитие русской истории на фоне истории мировой.

Когда смотрели на русскую историю с этой последней точки зрения, то обычно под мировой историей понимали историю западно-европейского мира. Русская история являлась тогда как бы только привеском истории Западной Европы. Все мировое значение России во времени представлялось лишь в том, что она оберегала западно-европейскую цивилизацию от азиатского «варварства».

Излагая происхождение «восточного вопроса» во время русско-турецкой войны при Александре II, историк Соловьев писал так: «У нашего героя древнее и знаменитое происхождение... Восточный вопрос появился в истории с тех пор, как европейский человек сознал различие между Европою и Азиею, между европейским и азиатским духом. Восточный вопрос составляет сущность истории древней Греции; все эти имена, знакомые нам с малолетства, имена Мильтиадов, Фемистоклов, близки, родственны нам потому, что это имена людей, потрудившихся при решении восточного вопроса, потрудившихся в борьбе между Европою и Азиею. Ожесточенная борьба проходит через всю Европейскую историю, проходит с переменным счастием для борющихся сторон; то Европа, то Азия берет верх: то полчища Ксеркса наводняют Грецию; то Александр Македонский с своею фалангою и Гомеровою Илиадой является на берегах Ефрата; то Аннибал около Рима; то римские орлы в Карфагене и в его метрополии; то гунны на полях Шалонских и аравитяне подле Тура; то крестоносная Европа в Палестине; то татарский баскак разъезжает по русским городам, требуя дани, и Крымский хан жжет Москву; то русские знамена в Казани, Астрахани и Ташкенте; то турки снимают крест со Св. Софии и раскидывают дикий стан среди памятников древней Греции; то турецкие корабли горят при Чесме, при Наварине, и русское войско стоит в Адрианополе. Все одна великая борьба: — все один восточный вопрос».

«Но, разумеется, — добавляет Соловьев, — Восточный вопрос имеет наибольшее значение для тех европейских стран, которые граничат *с Азией*, которых борьба *с нею составляет существенное содержание истории*, таково значение восточного вопроса в истории Греции; таково его значение в истории России вследствие географического положения обеих стран».

Конечно, в историческом весе России этот элемент — защита Европы от Азии — играл роль. Понятно также и возмущение русских мыслителей, когда в Европе об этом забывали. В свое время (1834 г.) ярко выражено было это возмущение А. С. Пушкиным: «Долго Россия была совершенно отделена

от судеб Европы. Ее широкие равнины поглотили бесчисленные толпы Монголов, остановили их разрушительное нашествие. Варвары не осмелились оставить у себя в тылу порабощенную Русь и возвратились в степи своего Востока. Христианское просвещение было спасено истерзанной, изнуренной Россией, а не Польшей, как еще недавно утверждали Европейские журналы; но Европа в отношении России всегда была столь же невежественна, как неблагодарна».

Несомненно, в исторической роли России была и эта сторона. Русь была в течение ряда веков рубежом между Западом и Востоком, Европой и Азией. Этой стороной однако далеко не исчерпывается историческая роль России в истории мировой. Мировая история — понятие гораздо более широкое, чем история европейская.

У нас создалась искривленная историческая схема мировой истории. Германороманская Европа нам представляется основным стержнем исторического процесса. Такое представление создалось главным образом на основании бурного роста европейской культуры в XV - XIX веках.

Между тем эта культурная гегемония Европы (при том ее надо понимать преимущественно в ограниченном смысле развития прикладного естествознания и техники промышленной, военной и политической жизни) — явление временное. Как сложится мировая жизнь уже в XX веке — большой вопрос и большая загадка. Среди романо-германских народов все больше выдвигаются в жизни новые образования — Америка англо-саксонская, а также Америка испано-португальская. Предстоит колоссальные сдвиги народов Азии и Африки — индусов, китайцев, японцев, монголов, турок, негров.

Картину столь же непохожую на романо-германскую гегемонию XV — XIX веков, мы находим в прошлом.

Так называемое «падение римской империи» есть соприкосновение средиземноморского греко-римско-сирийского и еврейско-арабского мира с миром средне-азиатских и южно-русских кочевников. Кажущийся «регресс» материальной культуры Средиземноморского мира, был с другой стороны глядя, «прогрессом» — грандиозным раздвиганием культурно-исторических и культурно-географических рамок. Кочевники, шедшие волнами друг за другом из черноморских степей и из глубин континента, оказывались часто посредниками между цивилизацией и культурою средиземноморскою и дальне-азиатскою (китайскою и индусскою), не говоря о том, что сами кочевники несли с собою совершенно новую культуру, например, в области искусства.

Материальная культура «римской империи» оказалась бессильна перед напором культуры новых народов, «варваров».

Но духовный под'ем средневекового мира, связанный с новой религией-христианством, в значительной степени совпадал с разбушевавшимися историческими стихиями.

Церковь была связующим началом между миром средиземноморским и миром «варварским». Через церковь многие элементы «варварской» цивили-

зации проникли в жизнь народов подчиненных ранее римскому мечу. С другой стороны, церковь захватывала в черту своего влияния и своей организации новые «варварские народы».

Все дальше на восток двигался центр церковного влияния. Первый церковный «Рим» был в старом средиземноморском Риме. Второй, Новый Рим, был уже на рубеже Европы и Азии, на Босфоре, в Византии. Третий Рим был еще дальше на Восток в недрах восточной, монгольской Руси — в Москве.

Царьград, он же Константинополь, Византия тож — был центр Православия в Средние Века.

В разные стороны от этого центра, по мере уменьшения его влияния, распространялись боковые (со всемирной для Средневековой истории точки зрения) ветви христианства, — на Западе, в мире романо-германской Европы, латинство, — на Востоке, в мире Иранской Азии и турецкой и монгольской степи — несторианство.

2

Вся история Византийского царства пронизнута взаимоотношениями со степным Востоком. Теми же отношениями окрашены ранние века русской истории, ее «домонгольский период» — Киевская Русь. Печенеги, Половцы, Торки, Берендеи, Черные Клобуки — все эти по преимуществу турецкие народы южнорусских степей входили в постоянное соприкосновение с миром греческим и русским, то враждовали и воевали с Царьградом и Русью, то в отдельных частях и в разных комбинациях вступали с ними в союзные и дружественные отношения.

Русская цивилизация и культура постепенно пронитывалась началами с одной стороны византийской (т. е. греко-восточной) цивилизации и культуры, с другой — цивилизации и культуры степных кочевников, перенимая от них одежду и оружие, песнь и сказку, воинский строй и образ мыслей.

С этой точки зрения, монгольское нашествие XIII в. не было чем-то принципиально новым. Это была такая же глубинно-материковая волна, только волна необычайной силы и невиданной ранее степени напряжения. Притом эта волна совершенно захлестнула собою русский мир, по крайней мере, восточную его половину. Этим и создана была новая основа русско-восточных отношений. Началось политическое подчинение Русской Земли Востоку — «монгольское иго».

3

В нашем сознании понятие «монгольского ига» связано прежде всего с отрывом русской земли от Европы. Однако, это обстоятельство имело и обратную сторону.

Если «монгольское иго» способствовало отрыву русской земли от Европы

(большой вопрос, насколько глубок был этот отрыв), то с другой стороны, то же «монгольское иго» поставило русскую землю в теснейшую связь со степным центром и азиатскими периферіями материка.

Русская земля попала в систему мировой империи — империи монгольской.

Мировой характер этой империи как-то недостаточно до сих пор нами сознается.

Мировое значение имела римская империя времен Траяна и историческое продолжение ее — византийская империя эпохи Юстиниана, а затем эпохи Василия II. Мировая империя Византии была разрушена крестоносцами-латинянами в 1204 г. Латинские же средневековые империи — учрежденная Карлом Великим в 800 г. «священная римская империя германской нации», и другая — Константинопольская империя Балдуина — мирового значения иметь не могли. Империя «германской нации» имела значение лишь провинциально-европейское. Империя Константинопольская Латинская не имела и такого значения.

Роль Рима и Византии — об'единительницы культур Запада и Востока, культуры земледельческой морской и культуры кочевнической степной — эта роль в начале XIII века, после падения империи Византийской, — перешла на империю Монголов.

При этом однако круг земель и народов, охваченный монгольской саблей, был значительно шире того, который очерчен был ранее римским мечом.

Римская и позднее Византийская империя построены были на системе взаимоотношения средиземноморского очага цивилизации (земледельческо-морской) и степной культуры кочевников.

Монгольская империя захватила уже два очага цивилизации (земледельческо-морской): с одной стороны Китай, с другой — земли, входившие в византийскую империю (Малая Азия, Кавказ, Крым, Балканы) *). При этом произошло перемещение центра тяжести из одного типа в другой.

Византийско-римская империя основана была на морском-земледельческом типе, и из этой основы вступила в соприкосновение с типом кочевническим континентальным. Монгольская империя имела как раз центр в кочевническом мире, а боковые ветви этой империи — земледельческие очаги (Китай и М. Азия-Балканы).

---

*) После смерти болгарского царя Ивана Асеня II (1241) Болгария признала власть монголов и в течение ряда лет платила данъ ханам Золотой Орды. В Болгарии в 1242 г. Батый устраивал смотр своим войскам после Венгерского похода и Далматинского рейда. Позже Болгария находилась в зависимости от хана Ногая (узурпатора — правителя орды на юге России); в 1292 г. и Сербия признала власть Ногая. Вполне возможно, что тырновские болгарские цари признавали верховную власть Кипчакских ханов до самого турецкого завоевания.

Русская земля имела ранее культурную связь с одной мировой империей—Византийской. Политическая гегемония Византии имела однако характер довольно слабой связи (за исключением церковных отношений). Связь эта совсем расшаталась и ослабла с падением Византии и установлением в Константинополе латинской империи (1204).

В результате монгольского завоевания, русская земля попала в систему другой империи — Монгольской, за исключением только церковных отношений; в церковном отношении Русь продолжала подчиняться вселенскому патриарху, который большую часть XIII в. пребывал уже не в Константинополе, а в Никее (в Малой Азии).

Подчинившись государям из дома Чингисхана, русская земля в политическом отношении была включена в огромный исторический мир — простиравшийся от Тихого Океана до Средиземного Моря. Политический размах этого мира наглядно рисуется составом великих монгольских курултаев XIII века: в этих курултаях участвовали (помимо монгольских князей, старейшин и администраторов всей средней, северной и восточной Азии) русские великие князья, грузинские и армянские цари, иконийские (сельджукские) султаны, кирманские и моссульские атабеки и пр. К центру монгольской власти должны были тянуться люди из разных концов Материка по своим разным делам — административным, торговым и т. п.

Для Руси оказались открытыми дороги на Восток. Русские военные отряды ходили с татарскими царями далеко за Дон, из которого раньше половцы мешали им испить воды шеломом.*) «Гости Рустии» — русские купцы — были в большом числе в Орде на Северном Кавказе во время убиенья князя Михаила Ярославича Тверского (1319 г.). По всему северному Кавказу можно было найти в это время «церкви христианские», где молились эти купцы.

Русские военные отряды участвовали также в войсках Кубилая при завоевании южного Китая во второй половине XIII в.

Монгольская империя, совершенно единая при первых великих ханах, быстро начала распадаться на отдельные государства — китайское, персидское, Джагатайское, Золотую Орду. Тем не менее связь между отдельными монгольскими государствами продолжала еще долго существовать, и долго еще поддерживались вассального типа отношения различных монгольских государей к лицу великого хана, пребывавшего в Китае со времени знаменитого Кубилая.**) Таким образом, до падения монголов в Китае, т.е. до сре-

*) Интересен напр. поход ростовских и ярославских князей с царем Менгу-Тимуром в Дагестан на ясский град Дадаков (1277-1278).

**) Хотя между собою отдельные монгольские государи часто упорно враждовали, как напр. персидский Хулагу и Джучид Берке.

дины XIV века (1368) поддерживалось, хотя и ослабленное, единство всей имперской монгольской системы.

Наглядным документом этого имперского единства является любопытный чертеж монгольской империи, относящийся к 1331 г.

На этом чертеже монгольская империя разгорожена чертою на несколько отдельных частей, но все они вместе слагаются в целое единство.

Части эти следующие: 1) Основное ядро — Срединная Империя (Китай) — империя Тоб-Тимура. 2) Персия — держава Бу-са-ина (Абусаида). 3) Туркестан — Джагатайская держава.*) 4) Кипчакское царство — держава Юдау-бу (Узбека).

Согласно этому чертежу, Русская земля (А-ло-сы в передаче монгольского чертежника — — ср. мадьярское «орош», калмыцкое «орос», кавказское «урус») является крайним северо-западным уголком великого азиатского мира, который можно сопоставить со «вселенной» (икумен, ойкумена Византийцев).

Русская земля выступает однако не самостоятельным членом этого мира; Великому Хану она подчинена не прямо; Русская земля входит в царство Узбека — составляет часть Улуса Джучиева.

I

Из русских земель северо-восточная и юго-восточная Русь вошли на более продолжительное время в состав Улуса Джучиева. Другая половина Руси уже в середине XIV в. оказалась под властью Запада. Хотя русские земли вошедшие в состав Польского, Литовского и Венгерского государств, во многом сохранили свои культурные начала, но культуру национально-государственную они утратили.

Основное русло исторического процесса развития русской государственности пролегло не в западной, охваченной латинством, Руси, а в восточной, захваченной монгольством.

Восточные русские земли тоже вошли в состав государства иноплеменного — монгольского. Однако это государство было — мировая империя, а не провинциальная держава.

Эта империя не мешала внутренней культурной жизни своих частей — в том числе и земли русской.

Империя эта вела борьбу со своими западными соседями — Литвою, Венгрией, Польшей — а эти соседи были как раз и неприятелями общерусского. Монгольско-татарская волна поддержала на своем гребне оборону русского народа от латинского Запада. Когда Монгольская империя окончательно распалась, прежняя ее часть, Улус Джучиев, Золотая Орда, продолжала традиционную имперскую политику борьбы с Западом.

Как и Москва, Сарай боролся с Литвою. Исторически роль Сарая в этом

*) В первой половине XIV она раздел. ась на две половины.

направлении была не меньше. Нападая на Литву, Сарай защищал этим русскую культуру даже тогда, когда политически уже враждовал с Москвою.

В 1380 г. на Куликовом поле Москва в первый раз открыто выступила против Сарая — и устояла. Устояла ли бы она в эти же годы против Литвы без монгольской помощи — далеко неизвестно. Сильный Литовский князь Витовт расширял все больше на Восток свои владения. Большой вопрос, без вмешательства Сарая в борьбу, чем кончилось бы дело: укрепился ли бы центр русской государственности в православной Москве или в полуополяченной Вильне.

Сарай решил дело.

В 1399 г. рать Витовта потерпела на реке Ворскле страшное поражение от Эдигея. После этого поражения Литва долго не могла оправиться; напор латинства на Восток был с тех пор подорван. Историческое значение битвы на Ворскле 1399 г. не меньше, чем битвы на Ворскле же с небольшим 300 лет спустя (Полтава — 1709 г.).

Битва на Ворскле 1399 г. — одно из величайших событий в русской истории, хотя в этой битве восточно-русские полки не участвовали вовсе, а западно-русские — участвовали на стороне Витовта.

Успехом Сарая исторически воспользовалась — Москва.

5

Совместная историческая жизнь русской земли и Улуса Джучиева в течение двух столетий имеет громадный исторический интерес и большое историческое значение.

Монгольская империя распалась на несколько держав. Большая часть из них совершенно слилась с теми старыми государствами, в рамках которых возникли монгольские новообразования. В историю этих государств монгольский элемент вошел просто в виде определенной династии. Такой характер имеет период монгольской династии Кубилая и его преемников в Китае (1260 — 1368) или период монгольской династии Хулагу и его преемников в Персии (1256 — 1334)*).

Иная историческая судьба была суждена Джучиеву Улусу. Мы не видим полного слияния его с русской государственностью. Мы видим как бы два центра: Сарай и Москву. Первый центр имеет главное, основное значение в административно-государственной жизни всего царства Золотой Орды — но все-же это не единственный центр. Исторически это может быть об'ясняется тем, что Золотая Орда явилась преемницею сразу двух государственных миров: степного (частью половецкого) и лесного (северно-русского).

В пределах первого—в южно-русских степях—оказался главный центр

*) То же значение имеет образование Татарского Казанского царства на месте государства волжских Болгар.

Золотой Орды — не даром государство Джучидов известно было на всем востоке под именем «Кипчацкого царства». *)

В пределах второго — в северно-русских лесах — возник дополнительный, русский, центр Улуса Джучиева — Владимир, потом Москва.

Теоретически мыслимо было течение дальнейшаго процесса двумя руслами.

Или могло постепенно возрастать внутреннее значение северного, русского дополнительного центра — т. е. Москвы, — до тех пор, пока этот дополнительный центр не стал бы сильнее прежнего, главного центра, — тогда уже был неизбежен разрыв, распадение на два центра. В действительности, как известно, так и произошло. Когда Сарай ослаб, а Москва усилилась, царство Джучидов разорвалось на две половины: Золотую Орду и великое княжение Московское.

Но мыслимо было обратное явление. Главный центр мог получить преобладающее значение и постепенно захватить и переработать все внутренние и внешние силы обоих половин Улуса Джучиева — татарской и русской. Золотая Орда могла стать если не прямо русским, то монголо-русским государством, как было монголо-китайское, монголо-персидское, а с другой стороны — литовско-русское.

Существенным для такого слияния в новых монгольских государствах был вопрос религиозный.

Культурное слияние было полным и решительным, когда правящая монгольская аристократия принимала веру большинства населения страны, куда внедрилась эта аристократия (буддизм в Китае, мусульманство—в Персии)**). Иными словами, если бы монгольские ханы, потомки Джучи, приняли православие, то вероятно не Москва, а Сарай оказался бы духовным и культурным центром русской земли.

В обычном сознании так прочно укоренились представления о чуть-ли не исконном мусульманстве татар и монголов, что предположение о переходе в Православие ханов Золотой Орды покажутся м. б. праздными и пустыми фантазиями. Однако фантазии эти несколько раз близки были к осуществлению. Мусульманство вовсе не было исконною верою монголо-татар.***)

Не кто иной, как сын Батыя Сартак, был вероятно или очень близок к Православию, или прямо в Православие перешел. О христианстве Сартака есть показание добросовестного арабского историка аль-Джаузджани, автора книги «Насировы таблицы». Аль-Джаузджани в 657 г. мусульманского летосчисления (1258-59 г. от Р. Хр.) видел в Дели приехавшего из Самарканда

*) Кипчаки — половцы (и киргизы).

**) Легко представить себе, какое решающее значение в русских исторических судьбах имело бы, если бы литовские князья прочно приняли Православие, а не латинство.

***) См. об этом в IV книжке «Временника» в моей статье о св. Александре Невском.

по торговым делам сеида Ашрафа-эд-дина. Сеид расказывал историку следующее о Сартаке и его смерти. *) Сартак, гонитель мусульман, наследовал своему отцу Батыю после смерти его. Вступив на престол, Сартак должен был отправиться на поклонение великому хану Менке. На обратном пути Сартак проехал мимо орды дяди своего Берке и повернул в сторону, не повидавшись с ним. Берке послал спросить его о причине такого оскорбления. Сартак ответил: «Ты мусульманин, а я исповедаю христианскую веру; видеть лицо мусульманина есть несчастье». Берке заперся в своей палатке, положил веревку себе на шею и трое суток провел в плаче и молитве: «Боже, если вера Мухамеда согласна с истиною, отомсти за меня Сартаку». На четвертый день после этого Сартак умер.**)

Преемник Сартака, Берке, наоборот, оффициально принял мусульманство. Обращение Берке не означало однако окончательного обращения в мусульманство всей Орды. Один из следующих «ордынских царей», Тохту (1291-1313 г. г.) был ревностным почитателем шаманства и ламаизма. Преемник его Узбек, на сестре которого женат был московский князь Юрий Данилович, был очень расположен к Православию. ***) На Сарайских монетах относящихся повидимому, ко времени Узбека, встречаются изображения двуглавого орла и вероятно Богородицы (женщины с младенцем). Узбек перешел однако в мусульманство: «Царь Озбик обесерменился» отмечают и наши летописи. Лишь с этого времени (начало XIV в.) положена была окончательная грань между Золотою Ордою и Русью. Впрочем и сам Узбек и его ближайшие преемники доброжелательно относились к русской церкви и давали «ярлыки» в обеспечение прав русских митрополитов и епископов, точно также, как не ставили никаких препятствий переходу монголо-татар в Православие.

6

Два культурных центра Джучиева Улуса — Сарай и Москва — тесно связаны между собою в устройстве величайшей русской исторической культурной силы — Православной Церкви.

Вскоре после монгольского завоевания, руководители русской Церкви поняли и осознали необходимость крепче связаться с новым государственным центром, Сараем. Русская церковь пережила время неустройства. Кафедрою

*) Сартак умер в 652 г. по мусульманскому летосчислению (1254-5 г. от Р. Хр.).

**) По другому известию (Абуль-фараджа) Сартак посвящен был даже в диаконы.

***) Узбек женат был на византийской царевне, получившей имя Байлунь. Одновременно Узбек поддерживал хорошие отношения и с Римом.

митрополита с самого начала на Руси был Киев. После монгольского погрома 1240 г. Киев потерял значение и долго не мог оправиться.

Митрополиты стали подолгу жить в северо-восточной Руси, во Владимире на Клязьме, в конце XIII в. окончательно переселились во Владимир, а затем в Москву.*)

Митрополит жил во Владимире (потом в Москве) п. ч. Владимир (Москва) был государственным центром русских земель, входивших в Улус Джучиев.

Митрополит не мог однако оставить без внимания главный центр Улуса Джучиева — Сарай. Каждый русский митрополит XIII-XIV в.в. должен был часто ездить в Сарай и подолгу пребывать там. Понятна была мысль — устроить в Сарае нечто вроде постоянного своего представительства. Таким представительством была основанная в 1261 г. митрополитом Кириллом Сарайская епископская кафедра**). С своей стороны и «царь татарский» требовал, чтобы в столицу его назначен был «большой поп». Сарайский епископ был как бы представителем митрополита всея Руси, подобно тому, как этот последний сам был на Руси как бы представителем Вселенского Патриарха Царьградского.

Сарайский епископ служил посредником между митрополитом и монгольским ханом с одной стороны, вселенским Царьградским императором и патриархом — с другой. К патриарху и к царю греческому в Царьград ездил Сарайский епископ с грамотами от царя ордынского и от митрополита всея Руси.

Таким образом, если было два центра в Улусе Джучиевом — Сарай и Москва — то эти же центры служили средоточиями и церковного устройства Руси.

С точки зрения государственно-административного механизма главный центр был Сарай, дополнительный — Москва.

В церковном отношении было наоборот. Главный центр был Москва, дополнительный — Сарай.

Но, если бы оправдались вышевысказанные предположения о переходе сарайских ханов в Православие — ясно, что быстрее переместились бы роли Москвы и Сарая и в церковном отношении. Митрополия всея Руси утратив Киевские корни укрепилась бы окончательно не в Москве, а в Сарае.

Сохранились кое-какие исторические следы притязаний Сарайского епископа на внушительную роль в русской церковной жизни. Сарайский епископ постоянно настаивал на расширении своей власти в сторону русских земель. В течение второй половины XIII и первой половины XIV века шли постоянные споры за пограничные приходы рязанской земли (по верховьям Дона) между владыками Сарайскими и Рязанскими. Митрополит Феогност ре

*) Кафедра же еще долго считалась в Киеве.

**) Можно думать, что об учреждении Сарайской епархии хлопотал и вел. князь Александр Ярославич (Невский).

шил спор в пользу Сарая, и с тех пор Сарайский владыка стал именоваться «Сарайским (позже Сарским) и Подонским», — даже когда спорные приходы отошли снова к Рязани. Один из Сарайских епископов, Измаил, питал какие то замыслы против самого Московского митрополита, так что митрополит Московский Петр (позже причисленный к лику святых) лишил Измаила сана и епархии (1312).

Притязания Сарайского владыки в действительности не осуществились. Центр православной государственности укрепился в Москве, а не в Сарае.

Церковно-политическое значение Сарая падало вместе с падением силы Золотой Орды — и наконец пало окончательно. В средине XV в. Сарайский епископ Вассиан перенес свою кафедру в Москву, поселившись в Крутицах, которые уже с конца XIII в. служили подворьем сарайских епископов в Москве. Сарайский епископ превратился в епископа (затем митрополита) Крутицкого.

Крутицкий митрополит, викарий и правая рука Патриарха Московского и всея России — представляет собою таким образом исторический пережиток глубокого значения.

Крутицкий митрополит, викарий Московского Патриарха, есть напоминание о неосуществившейся исторической возможности — патриархе Сарайском, для которого святитель Московский был бы наоборот викарием.

Крутицкий митрополит — глубокий символ монгольского влияния на развитие русской культуры.

Г. Вернадский

Ноябрь 1925 г.

К УКРАИНСКОЙ ПРОБЛЕМЕ

I.

Петровская реформа составляет резкую грань между двумя эпохами истории русской культуры. С первого взгляда кажется, что при Петре произошел полный перерыв традиции, и что культура послепетровской России не имеет ничего общего с допетровской, ничем с ней не связана. Но такие впечатления обычно бывают ошибочны: там, где с первого взгляда существуют такие резкие перерывы традиции в истории какого нибудь народа, ближайшее рассмотрение большею частью обнаруживает призрачность этого перерыва и наличие с первого взгляда незаметных связей между двумя эпохами. Так обстоит дело и с отношением послепетровской культуры к допетровской. Как известно, историки русской культуры постоянно указывают на целый ряд явлений, связующих послепетровский период русской культуры с допетровским и позволяющих утверждать, что петровская реформа была подготовлена определенными течениями допетровской культуры. Если окинуть взглядом все эти указываемые историками связующие нити между допетровской и послепетровской культурой, то получается картина, которую можно описать так: о резком и полном перерыве традиции можно говорить только в том случае, если под «русской культурой» разуметь только ее великорусскую разновидность; в культуре же западнорусской (в частности украинской) при Петре резкого перерыва традиции не произошло, а поскольку эта украинская культура и до Петра начала проникать в Москву, порождая там определенные сочувственные ей течения, можно считать, что культурная реформа Петра была подготовлена и в Великороссии.

В течение XV, XVI и первой половины XVII века культура Западной Руси и культура Руси Московской развивались настолько разными путями, что к половине XVII-го века различие между этими двумя культурами стало

чрезвычайно глубоким. Но, в тоже время, живое сознание общерусского единства и общности византийского культурного преемства не позволяли рассматривать обе культуры как вполне независимые друг от друга и заставляли смотреть на эти две культуры, как на две разные редакции (разные индивидуации) одной и той же общерусской культуры. После присоединения Украины на очередь стал вопрос о слиянии обеих этих редакций русской культуры воедино. При этом, однако, вопрос ставился в форме довольно обидной, как для великорусского, так и для малорусского*) национального самолюбия: думали не столько о слиянии обеих редакций русской культуры, сколько об упразднении одной из них, как редакции «испорченной», и сохранении другой, как единственной «правильной» и подлинной. Украинцы считали московскую редакцию русской культуры испорченной благодаря безграмотности москвичей, попрекали москвичей отсутствием школ и кичились перед ними постановкой школьного дела. Москвичи же считали украинскую (вообще западнорусскую) редакцию русской культуры испорченной благодаря еретическому латинскопольскому влиянию. М. б. благоразумные люди понимали, что в этом споре каждая из сторон была одновременно и права и неправа, что великороссам надо было заводить школы, а украинцам — избавиться от многих черт, позаимствованных у поляков. Но благоразумных было мало, а большинство и с той и с другой стороны занимало непримиримую позицию. Поэтому, практически вопрос сводился к тому, — какую из двух редакций русской культуры следует целиком принять, и какую целиком отвергнуть. Решать должно было правительство, т. е., в конечном счете, — царь. Правительство встало на сторону украинцев, — что с точки зрения политической было совершенно правильно: неизбежное недовольство великороссов могло привести разве только к бунтам чисто местного характера, тогда как неудовольствие украинцев могло значительно затруднить и даже сделать невозможным настоящее воссоединение Украины. Но, вставши на сторону украинцев, московское правительство сделало в направлении признания «правильности» украинской редакции русской культуры только первые шаги. Правда, это были самые ответственные шаги, — «исправление» богослужебных книг (т. е. замена московской редакции этих книг редакцией

*) Говорим «малорусский», «украинский», хотя во всех этих случаях правильнее было бы говорить «западнорусский»; в названную эпоху в верхних (в культурном отношении) слоях западнорусского общества различия между малороссами и белоруссами не делалось.

украинской) и вся реформа Никона. В этой области была проведена полная унификация, при чем великорусское было заменено украинским. Но в остальных областях культуры и жизни такой унификации до Петра проведено не было: в Украине царила чистая западнорусская редакция культуры без всякой великорусской примеси, в Великороссии — смесь московской культуры с западнорусской, при чем в этом подмешивании западнорусских элементов к великорусской культуре одни представители высшего класса (тогдашние «западники») шли довольно далеко, другие же (тогдашние московские националисты), наоборот, старались соблюдать чистоту великорусской традиции.

Царь Петр поставил себе целью европеизировать русскую культуру. Ясно, что для выполнения этой задачи могла быть пригодна только западнорусская, украинская редакция русской культуры, уже впитавшая в себя некоторые элементы европейской культуры (в польской редакции этой последней) и проявлявшая тенденцию к дальнейшей эволюции в том же направлении. Наоборотъ, великорусская редакция русской культуры, благодаря своему подчеркнутому европофобству и тенденции к самодовлению, была не только непригодна для целей Петра, но даже прямо мешала осуществлению этих целей. Поэтому, Петр эту великорусскую редакцию русской культуры постарался совсем искоренить и изничтожить, и единственной редакцией русской культуры, служащей отправной точкой для дальнейшего развития, сделал украинскую редакцию.

Таким образом, старая великорусская, московская культура при Петре умерла; та культура, которая со времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным продолжением не московской, *а киевской, украинской культуры*. Это можно проследить по всем отраслям культуры. Возьмем, например, литературу. *Литературным языком*, применяемым в изящной, в религиозной и в научной литературе как в Московской, так и в Западной Руси, был язык церковнославянский. Но редакция этого языка в Киеве и в Москве до XVII -го века были не совсем одинаковы, как в отношении словарного состава, так и в отношении синтаксиса и стилистики. Уже при Никоне киевская редакция церковнославянского языка вытеснила московскую в богослужебных книгах. Позднее тоже вытеснение московской редакции редакцией киевской наблюдается и в других видах литературы, так что тот церковнославянский язык, который послужил основанием для «славяно-российского» литературного языка петровской и послепетровской эпохи, является именно церковнославянский язык киевской редакции. В

Московской Руси существовала богатая *поэтическая (стихотворная) традиция*, но традиция эта была преимущественно устная; писанных поэтических произведений до нас дошло немного, но по тем, которые дошли (напр. «Повесть о Горе-Злочастьи»), мы можем составить себе отчетливое представление об особенностях этой поэтической традиции: язык ее был довольно чистый великорусский с небольшой примесью церковнославянского элемента и уснащенный некоторой традиционной поэтической условностью, стихосложение было не силлабическое и не тоническое, а покоилось на тех же принципах, как стихосложение великорусской народной песни. Между тем, в Западной Руси сложилась иная, чисто книжная поэтическая традиция, примыкающая к польской, и потому основанная на силлабическом стихосложении и на употреблении рифм. Писались эти «вирши» в Западной Руси как на том русско- (точнее белорусско-)польском жаргоне, который в Западной Руси служил разговорным и деловым языком высших классов русского общества, так и на языке церковнославянском. В Великороссию такие западнорусские стихотворения (при том, разумеется, на церковнославянском — т. е. общерусском литературном языке того времени) проникали уже и до Петра: популярны были напр. подобные стихотворения Симеона Полоцкого. Завелись в Москве даже и местные подражатели этому роду поэзии: назовем хотя бы известного Сильвестра Медведева. Со времен Петра русская поэзия старого великорусского типа окончательно ушла «в народ»: для высших (в культурном смысле) слоев общества отныне стала существовать только поэтическая традиция, ведущая свое начало от западнорусских силлабических вирш на церковнославянском языке. *Прозаическая повествовательная литература* существовала как в Московской, так и в Западной Руси, но в этой последней подавляющее польское влияние не позволяло развиться самостоятельному творчеству, так что повествовательная литература была почти всецело переводная; в Московской же Руси существовала и своя самостоятельная традиция прозаической повести, которая как раз в XVII-м веке стала особенно крепнуть и подавать надежды на успешное дальнейшее развитие (ср. напр. «Повесть о Савве Грудцыне»). В то же время в течение всего XVII-го века западнорусская переводная повесть широким потоком вливается в Московскую Русь. Русская повествовательная прозаическая литература послепетровского периода примыкает именно к этой западнорусской традиции переводных повестей: туземная московская традиция погибла, так и не успев вполне развиться. *Ораторское искусство*, по всей вероятности, существовало

и в Московской Руси: стиль произведений протопопа Аввакума — определенно ораторский, и, несмотря на свою кажущуюся безыскусственность, предполагает старую устную традицию проповедничества. Но эта традиция не имеет ничего общего с традицией схоластической риторики, насажденной в Западной Руси братскими школами и Могилянской Академией. Москва познакомилась с этой украинской проповеднической традицией за долго до Петра. При Петре же знаменитые ораторы-украинцы, Феофан Прокопович и Стефан Яворский, окончательно закрепили эту традицию. Вся русская риторика послепетровского периода, как церковная, так и светская, восходит именно к этой украинской традиции, а не к традиции московской, которая так и погибла окончательно, не оставив о себе других свидетельств, кроме указаний, извлекаемых из произведений расколоучителей, вроде Аввакума. — Наконец, *литература драматическая* в допетровскую эпоху имелась только в Западной Руси. В Москве своей самостоятельной традиции драматической литературы не было: при дворе ставились, и то очень редко, — драматические произведения украинских авторов (напр. Симеона Полоцкого). Русская драматическая литература послепетровского периода генетически связана именно с украинской школьной драмой. — Таким образом, мы видим, что во всех своих отраслях послепетровская русская литература является прямым продолжением западнорусской, украинской литературной традиции.

Ту же картину мы наблюдаем и в других видах искусства, — в области музыки, как вокальной (преимущественно церковной), так и инструментальной, в области живописи (где великорусская традиция продолжала жить только у старообрядцев, а вся послепетровская русская иконопись и портретопись восходит к традиции западнорусской) и в области церковной архитектуры (т. е. того единственного вида архитектуры, в котором за «русским стилем» признавались известные права*). Но это же примыкание к западнорусским традициям и отвержение московских традиций наблюдается не только в искусствах, но и во всех прочих сторонах духовной культуры послепетровской России. Отношение к религии и направление развития церковной и богословской мысли естественно должны были примкнуть именно к западнорусской традиции, раз западнорусская редакция русского богослужения еще

*) О западнорусской традиции в русском зодчестве, живописи и ваянии послепетровского периода ср. замечания П. Н. Савицкого в статье «Великороссия и Украина в русской культуре», в журнале «Родное Слово», 1926, № 8.

при Никоне была признана единственной правильной, раз Могилянская Академия стала общерусским рассадником высшего духовного просвещения, и раз большинство русских иерархов долгое время были именно питомцами этой Академии. Западнорусской являлась и традиция послепетровской русской школы, методов духа и состава преподавания. Наконец, характерно, что и самый взгляд на старую великорусскую культуру, усвоенный в послепетровскую эпоху был по происхождению своему западнорусский: о культуре допетровской московской Руси было принято (да, можно сказать, и сейчас еще принято) высказывать те же суждения, которые в XVII-м веке высказывали «ученые» украинцы...

2.

Таким образом, на рубеже XVII и XVIII-го веков произошла *украинизация великорусской духовной культуры*. Различие между западно-русской и московской редакциями русской культуры было упразднено путем искоренения московской редакции, и русская культура стала *едина*.

Эта единая русская культура послепетровского периода была западнорусской, украинской по своему происхождению, но русская государственность была по своему происхождению великорусской, а потому и центр культуры должен был переместиться из Украины в Великороссию. В результате и получилось, что эта культура стала ни специфически великорусской, ни специфически украинской, а *общерусской*. Все дальнейшее развитие этой культуры в значительной мере определялось именно этим ее переходом от ограниченного, местного к всеобъемлющему, общенациональному. Западно-русская редакция русской культуры сложилась в эпоху, когда Украина была провинцией Польши, Польша же была в культурном отношении провинцией (при том, глухой провинцией) романогерманской Европы; но со времени Петра эта западнорусская редакция русской культуры, став единой общерусской, тем самым сделалась для России *столичной*, Россия же сама к тому времени стала претендовать на то, чтобы быть одной из важнейших частей «Европы». Таким образом, украинская культура как бы переехала из захудалого уездного городка в столицу. Сообразно с этим ей пришлось существенно изменить свою дотоле сильно-провинциальную внешность. Она стремится освободиться от всего специфически-польского и заменить все это соответ-

ствующими элементами коренных, романогерманских культур (немецкой, французской и т. д) Таким образом, украинизация оказывается мостом к европеизации. В то же время меняется языковая база культуры. Прежде в Западной Руси на ряду с книжным литературным церковнославянским языком существовал особый русско-польский жаргон, служивший разговорным и деловым языком высших классов общества. Но, после того как украинская редакция русской культуры стала общерусской, этот русско-польский жаргон, символизировавший собой польское иго и провинциализм, разумеется, не мог продолжать существовать. Господствовавший в Великороссии, выработавшийся в среде московских приказных великорусский разговорный деловой язык испытал на себе чрезвычайно сильное влияние этого русско-польского жаргона, — но в конце концов, все таки, победил и вытеснил его и сделался единственным деловым и разговорным языком высших классов, при том, не только Великороссии, но и Украины. Между этим языком и языком церковнославянским, продолжавшим играть роль литературного, завязались тесные отношения как бы некоего осмоса (взаимопросачивания): русский разговорный язык высших классов сильно «оцерковнославянился», литературный церковнославянский язык сильно «обрусел», и, в результате, оба совпали в одном современном, русском языке, который одновременно является и литературным, и разговорно-деловым языком всех образованных русских, т. е. — языковой базой русской культуры.

Таким образом, культурная украинизация Великороссии и превращение украинской культуры в культуру общерусскую совершенно естественно привели к тому, что эта культура утратила свой специфически-украинский провинциальный характер. Специфически же великорусского характера она приобрести не могла уже в силу того, что, как сказано выше, преемственность специфически великорусской культурной традиции была окончательно и бесповоротно пресечена, и сохранялась разве только преемственность канцелярского языка московских приказных. Отсюда — отвлеченно общерусский характер всей послепетровской «петербургской» культуры.

Но подчеркивание отвлеченно-общерусского вело практически к отвержению конкретно-русского, т. е. к национальному самоотрицанию. А такое самоотрицание естественно должно было вызвать против себя реакцию здорового национального чувства.

Положение, при котором во имя величия России практически преследовалось и искоренялось все самобытно русское, — это положение было

слишком нелепым, чтобы не породить против себя протеста. Неудивительно поэтому, что в русском обществе появились течения, направленные к утверждению самобытности и выявлению русского национального лица. Но, поскольку эти течения направлены были именно противъ отвлеченности общерусской культуры и стремились заменить ее конкретностью, они неминуемо должны были принять определенно областнический характер: при всякой попытке придать русской культуре более конкретно-национальное обличие неизбежно приходилось выбирать одну из индивидуаций русского народа, — великорусскую, малорусскую или белорусскую, ибо конкретно существуют великороссы, малороссы и белорусы, а «общерусы» являются лишь продуктом абстракции. И действительно, мы видим, что течения в пользу конкретно-национальной русской культуры протекают параллельно в двух руслах — великорусском и малорусском.*) Замечателен именно строгий параллелизм этих двух русел. Параллелизм этот приходится наблюдать во всех проявлениях помянутого течения. Так, в области литературы мы видим, начиная с конца XVIII-го века, целый ряд произведений нарочито простонародных по языку и по стилю; произведения эти образуют две строго параллельные линии эволюции — великорусскую и малорусскую; в обеих наблюдается сначала народнно-юмористическое направление (в великорусской — «Богатырь Елисей» В. Майкова, в малорусской — «Энеида» Котляревского), которое затем сменяется романтически-сентиментальным направлением с упором на народнопесенную стилистику (кульминационный пункт в великорусской — Кольцов, в малорусской — Шевченко), а это направление, в свою очередь, в половине XIX-го века переходит в направление «гражданской скорби» (явившегося своеобразным русским вырождением европейской «мировой скорби») и обличительства. Романтическая идеализация допетровской старины, нашедшее себе выражение и в литературе, и в историографии, и в археологии, и порожденное тоже тою же потребностью к конкретнонациональному, — выступает тоже одновременно и параллельно все в тех же двух главных руслах, великорусском и украинском. То же следует сказать и о народничестве и о разных видах «хождения в народ». Всякий народник (поскольку он, устанавливал свое сознание на реальной, конкретный »народ») непременно становился до известной степени и «краевиком» и пламенным поборником определенных специфически

*) Белорусское русло тоже всегда существовало, но всегда было развито слабее.

великорусских или специфически украинских**) простонародных черт или бытовых форм.

Таким образом, несмотря на то, что влечение к конкретно-национальному в санктпетербургский период принимало формы областничества или установки на какую нибудь одну определенную индивидуацию русского племени (великорусскую, украинскую и т. д), — самое это явление было общерусским. Ибо общерусскими были самые причины этого явления, — отличительный для России послепетровского периода отрыв верхов русской культуры от конкретного народного фундамента и вызванные этим отрывом специфическая отчужденность между интеллигенцией и народом и тоска по воссоединению народа с интеллигенцией. А потому, общерусской является и проблема реформы культуры, или построения нового здания культуры, в которой верхние этажи органически выростали бы из народного фундамента. Проблема эта стоит и сейчас перед всеми частями русского племени, перед великорусами так же, как перед украинцами и белорусами.

3.

В связи с проблемой реформы русской культуры в указанном выше направлении возникает вопрос: должна ли эта новая реформированная культура быть общерусской, или же общерусская культура вовсе существовать не должна а должны быть созданы новые реформированные культуры для каждой отдельной разновидности русского племени?

Вопрос этот с особой остротой ставится именно перед украинцами. Он сильно осложнен вмешательством политических факторов и соображений и обычно соединяется с вопросом о том, должна ли Украина быть совершенно самостоятельным государством, или полноправным членом русской федерации, или автономной частью России? Однако, связь между политическим и культурным вопросом в данном случае вовсе необязательна. Мы знаем, что существует общенемецкая культура, несмотря на то, что все части немецкого племени не об'единены в одном государстве, знаем, с другой стороны, что-ни-

**) Для краткости мы всюду говорили только о двух наиболее крупных частях русского племени или территории. Но аналогичные явления возникали (хотя и с меньшей интенсивностью) и в других, более дробных частях, — в Белоруссии, в разных казачьих областях, в Сибири и т. д.

дусы имеют свою вполне самостоятельную культуру, несмотря на то, что давно лишены государственной независимости. Поэтому, и вопрос об украинской и об общерусской культуре можно и должно рассматривать вне связи с вопросом о характере политических и государственно-правовых взаимоотношений между Украиной и Великороссией.

Мы видели выше, что общерусская культура послепетровского периода имела некоторые крупные недостатки, породившие влечение к ее реформе в конкретнонациональном направлении. Некоторые поборники украинского культурного сепаратизма стараются представить дело так, будто та культура, которая существовала в России до сих пор, была вовсе не общерусской, а только великорусской. Но это фактически неверно: мы уже видели выше, что началом создания общерусской культуры послепетровского периода послужила духовная украинизация Великороссии, что эта общерусская культура преемственно связана только с западнорусской, украинской культурой допетровского периода, а не с старой великорусской культурой, традиция которой оборвалась в конце XVII-го века. Нельзя отрицать и того совершенно очевидного факта, что не только в создании, но и в развитии этой общерусской культуры на ряду с великоруссами принимали активное участие и украинцы, при том, именно, как таковые, не отбрасывая своей принадлежности к украинскому племени, а, наоборот, утверждая эту свою принадлежность: нельзя выкинуть из русской литературы Гоголя, из русской историографии — Костомарова, из русской филологии — Потебни и т. д. Словом, что русская культура послепетровского периода является общерусской, и что для украинцев она не чужая, а своя — этого отрицать невозможно. Таким образом, если эта культура воспринималась некоторыми украинцами как неполне своя, и если при сопоставлении ее с духовным и бытовым укладом украинского простонародия несоответствие между культурным верхом и народным фундаментом бросалось в глаза, — то это наблюдалось не только на Украине, но и в Великороссии и, следовательно, было вызвано не тем, что культура была якобы великорусской, а совсем иными причинами.

Каждая культура должна иметь между прочим две стороны: одну — обращенную к конкретному этнографическому народному фундаменту, другую — обращенную к вершинам духовной и умственной жизни. Для прочности и здоровья культуры необходимо, во-первых, чтобы между этими двумя сторонами существовала органическая связь, а, во-вторых, чтобы каждая из этих сторон действительно отвечала своему назначению, — т. е.

чтобы сторона, обращенная к народным корням, соответствовала индивидуальным чертам данного конкретного этнографического фундамента, а сторона, обращенная к духовным вершинам, по своему развитию соответствовала духовным потребностям избранных, выдающихся представителей нации.

В общерусской культуре послепетровского периода эти две стороны или «этажи» культуры развиты были неодинаково. «Нижний этаж»*), обращенный к народным корням, был очень мало приспособлен к конкретным чертам русского этнологического типа и, потому, плохо выполнял свое назначение: вследствие этого, человек «из народа» мог приобщиться к культуре, только вполне (или, в лучшем случае, — почти вполне) обезличившись, подавив в себе и утратив некоторые существенные именно для «народа» черты. Наоборот, «верхний этаж» общерусской культуры, обращенный к высшей духовной и умственной жизни, развит был настолько, что, во всяком случае, вполне удовлетворял духовные потребности русской интеллигенции.

Представим себе теперь, что должно произойти, если всю эту общерусскую культуру на территории Украины заменить новосозданной специально украинской культурой, неимеющей ничего общего с прежней общерусской. Населению Украины придется «оптировать» за ту или за другую культуру. Если новой украинской культуре удастся приспособить свой нижний этаж к конкретному этнографическому фундаменту, — то народные низы, разумеется, будут оптировать именно за эту новую украинскую культуру, ибо, как сказано выше, в прежней, общерусской культуре эта обращенная к народным корням сторона развита была очень плохо и к индивидуальным чертам народа совсем не была приспособлена. Но, для того, чтобы за эту новую украинскую культуру оптировали не только народные низы, но и квалифицированные верхи (т. е. наиболее качественная интеллигенция), — нужно, чтобы и верхний этаж этой культуры соответствовал высшим духовным за-

*) Во избежание недоразумений спешим оговориться, что в выражении «верхний» и «нижний» этаж мы не вкладываем никакого элемента оценки. Мы не только не хотим решать здесь вопроса о том, который из этих этажей «ценнее», но просто отрицаем даже самую правомерность постановки такого вопроса. Образы верхнего и нижнего этажей здесь изображают не разные степени совершенства или ценности культуры, а лишь две разные функции культуры, ценность же и совершенство зависит не от этих функций, а от одаренности творца, совершенно независимо от того, работает ли он в верхнем или в нижнем этаже. Поэзия Кольцова эстетически гораздо ценнее, чем поэзия Бенедиктова: вместе с тем Кольцов был в «нижнем», а Бенедиктов — в «верхнем» этаже культуры...

просам квалифицированной интеллигенции Украины еще в большей мере, чем соответствующая сторона прежней, общерусской культуры. В противном случае интеллигенция (при том, именно, качественная, квалифицированная, наиболее ценная с точки зрения культурного творчества интеллигенция) Украины в своем подавляющем большинстве будет оптировать за общерусскую культуру, а самостоятельная украинская культура, лишенная сотрудничества этой наиболее ценной части украинского народа, будет обречена на вырождение и смерть.

Беспристрастно взвешивая шансы, приходим к заключению, что насколько вероятно и правдоподобно, что новая украинская культура удовлетворительно разрешит задачу приспособления нижнего этажа культурного здания к народным корням, настолько же совершенно невероятно, чтобы эта культура сколько нибудь удовлетворительно могла разрешить другую задачу, — создания нового «верхнего этажа», способного удовлетворить высшим запросам интеллигенции в большей мере, чем сответствующий верхний этаж прежней, общерусской культуры. Успешно конкурировать с общерусской культурой в удовлетворении высших духовных запросов новая украинская культура не будет в состоянии. Прежде всего, она не будет обладать той богатой культурной традицией, которой обладает общерусская культура: а примыкание к такой традиции и исхождение из нее значительно облегчает работу творцам высших духовных ценностей, — даже в том случае, когда дело идет о создании принципиально совершенно новых ценностей. Далее, для создания высших культурных ценностей громадное значение имеет качественный отбор творцов. Поэтому, для успешного развития этой стороны культуры необходимо, чтобы об'ем того этнического целого, в котором данная культура развивается, был как можно больше: чем многочисленнее носители данной культуры, тем больше (при прочих равных условиях) будет и абсолютное число рождающихся среди этих носителей культуры талантливых людей, а чем больше талантливых людей, тем, во-первых, интенсивнее развитие «высшего этажа» культуры, а, во-вторых, тем сильнее конкуренция; конкуренция же повышает самое качество культурного строительства. Таким образом, даже при прочих равных условиях, «верхний этаж» единой культуры крупной этнологической единицы будет всегда качественно совершенее и количественно богаче, чем у тех культур, которые могли бы выработать отдельные части той же этнологической единицы, работая каждая за себя, независимо от других частей. Каждый непредубежденный представитель данного

этнологического целого не может ни сознавать этого, и потому, естественно, при полной свободе выбора будет «оптировать» за культуру этнологического целого (в нашем случае, — за культуру общерусскую), а не за культуру части этого целого (в нашем случае, за украинскую культуру). Оптировать за украинскую культуру может следовательно только либо человек определенным образом предубежденный или, человек, свобода выбора коего стеснена. При этом, все сказанное относится как к творцам высших культурных ценностей, так и к «потребителям» т. е. ценителям этих ценностей: по самому существу дела всякий творец высших культурных ценностей (если только он действительно талантлив и сознает свое силу) стремится к тому, чтобы продукты его творчества стали доступны и были оценены возможно большим числом настоящих ценителей; а каждый настоящий ценитель («потребитель») таких культурных ценностей высшего порядка, в свою очередь, стремится к тому, чтобы пользоваться продуктами творчества возможно большего числа творцов; значит, — обе стороны заинтересованы в расширении, а не в с'ужении поля данной культуры. Ограничение этого поля может быть желательно только с одной стороны для бездарных или посредственных творцов, желающих охранить себя против конкуренции (настоящий талант конкуренции не боится!) а с другой стороны — для узких и фанатичных краевых шовинистов, недорослих до чистого ценения высшей культуры ради нее самой и способных ценить тот или иной продукт культурного творчества лишь постольку, поскольку он включен в рамки данной краевой разновидности культуры. Такие люди и будут главным образом оптировать против общерусской культуры и за вполне самостоятельную украинскую культуру. Они сделаются главными адептами и руководителями этой новой культуры и наложат на нее свою печать, — печать мелкого провинциального тщеславия, торжествующей посредственности, трафаретности, мракобесия и, сверх того, дух постоянной подозрительности, вечного страха перед конкуренцией. Эти же люди, конечно, постараются всячески стеснить или вовсе упразднить самую возможность свободного выбора между общерусской и самостоятельно-украинской культурой: постараются запретить украинцам знание русского литературного языка, чтение русских книг, знакомство с русской культурой. Но и этого окажется недостаточно: придется еще внушить всему населению Украины острую и пламенную ненависть ко всему русскому и постоянно поддерживать эту ненависть всеми средствами школы, печати, литературы, искусства, хотя бы ценой лжи, клеветы, отказа от собственного исторического

прошлого и попрания собственных национальных святынь. Ибо, если украинцы не будут *ненавидеть* все русское, то всегда останется возможность оптирования в пользу общерусской культуры. Однако, нетрудно понять, что украинская культура, создаваемая в только что описанной обстановке, будет из рук вон плоха. Она окажется не самоцелью, а лишь орудием политики и, притом, плохой, злобно-шовинистической и задорно-крикливой политики. И главными двигателями этой культуры будут не настоящие творцы культурных ценностей, а маниакальные фанатики, политиканы, загипнотизированные навязчивыми идеями. Поэтому, в этой культуре все, — наука, литература, искусство, философия и т. д., — не будет самоценно, а будет тенденциозно. Это откроет широкую дорогу бездарностям, пожинающим дешевые лавры благодаря подчинению тенденциозному трафарету, — но зажмет рот настоящим талантам, не могущим ограничивать себя узкими шорами этих трафаретов. Но, главное, можно очень сомневаться в том, что эта культура будет действительно *национальна*. Полно воплощать в культурных ценностях дух национальной личности могут только настоящие таланты, работающие вовсе не *для* каких то побочных политических *целей*, а лишь *в силу* иррационального внутреннего *влечения*. Таким талантам в описанной выше злобношовинистической обстановке не окажется места. Политиканам же нужно будет главным образом одно — как можно скорей создать свою украинскую культуру, все равно какую, только, чтобы не была похожа на русскую. Это неминуемо поведет к лихорадочной *подражательной* работе: чем создавать заново, не проще ли взять готовое из заграницы (только бы не из России!), наскоро придумав для импортированных таким образом культурных ценностей украинские названия! И, в результате, созданная при таких условиях «украинская культура» не будет органическим выражением индивидуальной природы украинской национальной личности и мало чем будет отличаться от тех «культур», которые наспех создаются разными «молодыми народами», — статистами Лиги Наций. В этой культуре демагогическое подчеркиванье некоторых отдельных, случайно выбранных и, в общем, малосущественных элементов простонародного быта будет сочетаться с практическим отрицанием самых глубинных основ этого быта, а механически перенятые и неуклюже применяемые «последние слова» европейской цивилизации будут жить бок о бок с признаками самой вопиющей провинциальной ветоши и культурной отсталости; и все это — при внутренней духовной пустоте, прикрываемой кичливым самовосхвалением, крикливой рекламой, громкими фразами о

национальной культуре, самобытности и проч... Словом, — это будет жалкий суррогат, не культура, а карикатура...

Таковы те неприглядные перспективы, которые ожидают украинскую культуру в том случае, если она пожелает *заменить* общерусскую, *вытеснить* общерусскую, вообще если она вступит на путь *конкуренции* с общерусской культурой. Положение, при котором каждому культурному украинцу придется решать, желает ли он быть русским *или* украинцем, это положение неизбежно повлечет за собой крайне невыгодный с точки зрения развития украинской культуры отбор культурных работников. Ставя вопрос об украинской и общерусской культурах в форме *дилеммы* («или-или»), украинцы обрекают свою будущую культуру на то незавидное состояние, которое мы обрисовали выше. Из этого следует, что такая постановка вопроса для украинцев по существу невыгодна. Во избежание вышеобрисованного плачевного будущего украинская культура должна быть построена так, чтобы не конкурировать с общерусской, а дополнять собой общерусскую, другими словами, *украинская культура должна стать индивидуацией культуры общерусской*.

Выше мы уже указали на то, что «нижний», т. е. обращенный к народному фундаменту, этаж культурного здания должен быть построен заново, и что в этой постройке украинская культура вполне естественно может и должна проявить свою индивидуальность; с другой стороны, мы указали и на то, что в верхнем этаже культуры, включающем в себя высшие культурные ценности, украинской культуре невозможно конкурировать с общерусской. Таким образом, здесь намечается некоторое естественное разграничение сферы общерусской и украинской культуры. Разграничение это, конечно, еще не исчерпывается вышеизложенным, т. к. ведь кроме упомянутых нами «нижнего» и «верхнего» этажей культура должна иметь еще и этажи «средние», промежуточные. Но, все же, самый принцип разграничения этим указан.

4

Те же принципы и соображения должны быть положены в основу разграничения сфер общерусской и белорусской, великорусской и т. д. областных культур. Ведь, как сказано выше, неприлаженность нижнего этажа культурного здания к конкретному народному фундаменту, была в послепетровской русской культуре явлением повсеместным. Въ будущем предстоит исправить

этот недостаток, согласовать с конкретной национальной индивидуальностью русского народа ту сторону русской культуры, которая обращена к народным корням, другими словами, — плотнее пригнать культуру к народу и тем обеспечить постоянное участие «людей из народа» в культурном строительстве. При этом естественно, что поскольку культура в упомянутой своей стороне будет приспособляться к *конкретным* индивидуальным чертам русского народа, вся эта работа должна быть сильно дифференцирована по отдельным краевым и племенным районам: ведь «русский народ вообще» есть абстракция, конкретно же существует великорусс (со своими разновидностями — северный великорус, южный великорус, помор, волгарь, сибиряк, казак и т. д.) белорус, малорос-украинец (тоже со своими разновидностями) и приспособляться нижний этаж культуры в каждом данном краю должен именно к данной конкретной индивидуальной разновидности русского народа (к данной краевой индивидуации русской национальной личности). Благодаря этому, русская культура в будущем должна внешне сильно дифференцироваться по отдельным краям и областям, и вместо прежней отвлеченной мундирно-безличной однородности должна появиться радуга ярко выраженных местных оттенков.

Однако, величайшей ошибкой было бы видеть в развитии этих местных разновидностей единственную или главную цель культурной работы. Не следует забывать, что кроме стороны, обращенной к народным корням, у всякой культуры должна быть и другая сторона, — обращенная к духовным вершинам. И горе той культуре, в которой эта сторона развита недостаточно, вследствие чего культурные верхи нации вынуждены удовлетворять свои высшие духовные потребности ценностями не своей родной, а иноземной культуры! Поэтому, одновременно с разработкой и развитием тех сторон культуры, которые обращены к народным корням, должна итти интенсивная работа в области «верхних» культурных ценностей. И, если работа над «нижним» этажем здания русской культуры, как указано выше, по самой природе своей требует дифференциации применительно к отдельным русским племенам и краям, то, наоборот, работа над «верхним этажем» русской культуры — опять таки по самой своей природе — требует сотрудничества всех русских племен. Насколько в области работы над «нижним этажем» краевые перегородки естественны и необходимы для достижения максимальной пригнанности культуры к конкретному этнографическому фундаменту, — настолько в работе над «верхним этажем» эти перегородки искусственны, излишни и

вредны. Самое существо этой стороны культуры требует максимальной широты диапазона и всякое ограничение этого диапазона рамками краевых перегородок будет ощущаться как ненужная помеха и творцами культурных ценностей и потребителями этих ценностей. Воздвижения краевых перегородок в этой области культуры могут желать только посредственные, боящиеся конкуренции творцы, да маниакально-фанатичные краевые шовинисты. Но, если в угоду таким посредственным творцам и недоразвитым ценителям культурных ценностей краевые перегородки будут утверждены не только в нижнем, но и в верхнем этаже культурного здания, — то в отдельных частях страны создастся такая удушливая атмосфера провинциального застоя и торжествующей второстепенности, что все действительно одаренные и духовно возросшие люди будут бежать из провинции в столицу, а на местах в конце концов не окажется и тех культурных работников, которые необходимы для вышеупомянутой работы в нижних этажах культурного здания.

Итак, краевая и племенная дифференциация русской культуры отнюдь не должна доходить до самого верха культурного здания, до ценностей высшего порядка. В «верхнем этаже» будущей русской культуры племенных и краевых перегородок быть не должно; этим он будет отличаться от «нижнего этажа», в котором племенные и краевые перегородки должны быть сильно развиты и отчетливо выражены. Резкой грани между этими двумя «этажами», конечно, быть не должно: один должен постепенно и незаметно переходить в другой, — иначе культура не будет *единой системой*, т. е. не будет культурой в истинном смысле слова. Поэтому, и краевые перегородки, ярко выраженные в нижней части культурного здания, будут постепенно стушевываться чем выше и чем дальше от народного фундамента, а на самой вершине культурного здания этих перегородок и вовсе заметно не будет. Важно, чтобы между вершиной и низом культурного здания существовало постоянное взаимодействие, — чтобы вновь создаваемые ценности верхнего запаса определяли собой направление дифференцированного и индивидуализованного в краевом отношении творчества ценностей нижнего запаса, и, наоборот, чтобы культурные творения краевых индивидуаций России, суммируясь друг с другом, нейтрализуя друг в друге специфически местные, частные черты, но подчеркивая общие, определяли собой дух культурной работы верхнего этажа. Этим требованием постоянного взаимодействия между верхом и низом культурного здания должны определяться роль, форма и размеры краевых перегородок: эти перегородки должны обеспечивать правильную

краевую индивидуализацию культуры, но отнюдь не должна мешать взаимодействию верха и низа культурного здания. Ясно, что точно регламентировать всего этого невозможно: в каком нибудь одном частном вопросе данная краевая перегородка будет выше, в другом — ниже; важно только, чтобы смысл этих перегородок понимался правильно, и чтобы их не превращали в самоцель.

Для того, чтобы русская культура, несмотря на краевую и племенную дифференциацию в нижней своей части, все же была единой системой, необходимо одно главное условие: в основе как единого «верхнего этажа», так и всех краевых вариантов «нижнего этажа» здания русской культуры должен быть положен один и тот же организующий принцип. Таким принципом, одинаково родным для каждой племенной индивидуации русского народа, заложенным в глубине народной души и в то же время способным стать основой и для ценностей верхнего запаса, расчитанных на квалифицированных носителей высшей общерусской культуры,— является Православная Вера. Некогда именно этот принцип был жизненным нервом всей русской культуры, и именно благодаря ему западнорусская и московская индивидуации русской культуры оказались способными вновь воссоединиться. Позднее характерное для послепетровского периода слепое увлечение секуляризованной, обезбоженной и безбожной, антихристианской европейской культурой*) в значительной мере подорвало и разрушило в культурных верхах русской нации этот завещанный от предков устой русской жизни, не заменив его ничем; поскольку умонастроение этой отвергнувшей православные устои интеллигенции проникло в народные массы, оно породило в этих массах полное духовное опустошение. Но лучшие представители как простого народа, так и интеллигенции болезненно ощущали эту духовную пустоту, и, потому, религиозные искания, часто принимающие самые парадоксальные формы, являются характерной чертой жизни русского народа и интеллигенции всего послепетровского периода. Эти религиозные искания не могли найти себе удовлетворения, пока русская культура была по существу внерелигиозна, а Церковь, поставленная государством в подчиненное положение,

*) Христианской в своем целом эта европейская культура была (или, по крайней мере, хотела быть) лишь в средние века; со времени т. н. «возрождения» она стала противупоставлять себя христианству, и именно эта ее форма, противупоставленная Церкви, а в конце концов и всякой религии вообще, и усваивалась европеизованной Россией после Петра.

стояла вне культуры (— во всяком случае, вне основного русла высшей общерусской культуры). Поэтому религиозные искатели шли в разброд, и только случайно некоторые из них в своих исканиях «открывали» Православие. После переживаемой ныне эпохи владычества коммунизма, когда духовная опустошенность безрелигиозной (а потому и антирелигиозной) культуры предстала в своем обнаженном виде и дошла до кульминационной точки, несомненно должна (уповая на помощь Господню) наступить решительная реакция. Будущая русская культура должна стать в идеале оцерковленной сверху донизу. Православие должно проникнуть не только в народный быт, но и во все части здания русской культуры, вплоть до высших вершин этого здания. Только тогда каждый отдельный русский человек будет находить в русской культуре полное успокоение и удовлетворение для всех самых глубинных потребностей своего духа, и только тогда русская культура будет сверху донизу единой системой, несмотря на внешнюю свою краевую и племенную дифференцированность.

В настоящее время мы присутствуем при увлечении краевой дифференциации русской культуры. В частности на Украине преобладают прямо таки стремления к полному культурному сепаратизму. В значительной мере об'ясняется это политикой советской власти, потворствующей культурному сепаратизму для того, чтобы этим обезоружить сепаратизм политический, далее — устранением большинства наиболее квалифицированной интеллигенции Украины от решающей роли в культурной работе и, с другой стороны, наплывом галицийской интеллигенции, национальное самосознание которой совершенно изуродовано как многовековым приобщением к духу католицизма, так и польским рабством и той атмосферой провинциально-сепаратистской национальной (точнее, — языковой) борьбы, которая всегда была так характерна для прежней Австро-Венгрии. Что касается до населения Украины, то известные слои этого населения сочувствуют не столько тем конкретным формам, которые принимает украинизация, сколько тому, что это движение с виду направлено к отделению от Москвы, — от Москвы коммунистической: таким образом, культурный сепаратизм на Украине питается анти-коммунистическими (мелкобуржуазными по советской терми-

нологии) настроениями известных кругов населения; настроения же эти сами по себе вовсе не связаны логически с культурными сепаратизмом и напр. при старом режиме служили, как раз наоборот, опорой централизма. Ко всему этому присоединяется и то обстоятельство, что творчество в «верхнем этаже» культуры, в котором общерусское единство сильнее всего может и должно проявляться, сейчас затруднено и искусственно ограничено, благодаря политическому господству коммунизма, который не дает другим создавать культурных ценностей,, а, в то-же время, сам неспособен создать высших ценностей, отвечающих сколько нибудь развитым духовным потребностям. Но, главным образом, увлечение украинизацией об'ясняется, конечно, прелестью новизны и тем, что украиноманам, долгое время подавлявшимся и загнанным в подполье, вдруг предоставили полную свободу действия. Как бы то ни было, в этой области в настоящее время несомненно наблюдается много уродливого. Украинизация обращается в какую то самоцель и порождает неэкономную и нецелесообразную растрату национальных сил. В будущем жизнь внесет, разумеется, свои поправки и очистит украинское движение от того элемента карикатурности, который внесли в это движение маниакальные фанатики культурного сепаратизма. Многое из того, что создано и создается этими ретивыми националистами, обречено на гибель и забвение. Но самая правомерность создания особой украинской культуры, несовпадающей с великорусской, уже не подлежит отрицанию, а правильное развитие национального самосознания укажет будущим творцам этой культуры как ее естественные пределы, так и ее истинную сущность и истинную задачу, — быть *особой украинской индивидуацией общерусской культуры*. Только тогда культурная работа на Украине приобретет такой характер, при котором в ней получат возможность принять участие (при том, не за страх, а за совесть) действительно лучшие элементы украинского народа.

Это случится тогда, когда в основу народной жизни Украины (а также и других областей России-Евразии) будет полагаться не потворство эгоистическим инстинктам и голому самоутверждению биологической особи, а *примат культуры* и как личное, так и национальное *самопознание*. К борьбе за эти идеалы евразийство и призывает всех русских, как великоруссов, так и белоруссов и украинцев.

кн. Н. С. Трубецкой

ОСНОВЫ ПОЛИТИКИ

1

Для обозначения систематического учения о культуре, как о целом, мы избираем старый Аристотелевский термин «политика» (от «полис» — огосударствленное целое). Таким образом «снимается» господствующая доныне антитеза общества и государства и вместе с тем государственность признается моментом, качеством или признаком, определяющим единство и целостность культурного организма. Изучая культуру со стороны ее единства, мы принципиально отвергаем и понимание культуры, как простого систематического единства ряда «самостоятельных» сфер (государственности, социального строя, экономического строя, духовной культуры), и монистическое понимание ее путем выведения всех частных сфер из одной какой-нибудь частной же сферы (например — экономической), и пренебрежение к самому существенному моменту культуры, к принципу ее единства, не совпадающему ни с одной из частных сфер, хотя и участвующему в одной из них (именно — в государственной). Всем этим знаменуется решительный разрыв с «социологией», которая до сих пор без успеха притязает на звание науки и беспомощно путается в приблизительных обобщениях и примитивных попытках определить свой «метод». Социология является характерным продуктом европейского рационалистически-индивидуалистического развития; и не случайно самою стройною и влиятельною социологическою системою оказался материалистический марксизм, теоретически (не на практике!) отрицающий государственность, т. е. живое и духовно-личное единство культуры. Мы, русские, находимся в исключительно благоприятном положении. У нас была своя «Европа» в лице дореволюционного правящего слоя. И эта «Русская Европа» опередила свою метрополию — «Европу Европейскую», бесстрашно сделав последние выводы из предпосылок европейской культу-

ры и жизненно предвосхитив угрожающий ей смертельный кризис. Но в гибели «Русской Европы» возрождается Евразийская Россия, раскрывая себя, как великую мировую культуру и как новое миросозерцание. Уже не годятся старые формы и старые термины: в новых обнаруживается вечное существо всякой культуры. И не в маленьких поправках, не в наивных переименованиях социологии в «обществоведение» заключается проблема, а в новой миросозерцательной установке. Вместе с новою культурною эпохою на смену «социологии» приходит «политика».

Политика строится не на индивидуалистически-материалистических и не на бездейственно релативистических предпосылках и гипотезах, а на философском учении о личности (*просопологии* или *персонологии*). Из учения о личности выясняются природа и строение суб'екта культуры, как личности соборной, природа государственности, как формы, определяющей личное бытие этого суб'екта и органичность культуры, смысл духовного и материального творчества культуро-суб'екта и, наконец, отношение культуро-суб'екта к своему совершенству, т. е. его религиозно-нравственная деятельность и смысл права.

Здесь дается лишь первоначальный очерк политики, по внешним условиям неравномерный в отдельных своих частях и даже не затрагивающий ряда важных проблем. Так не затронуты проблемы историософские, только намечена проблематика духовной и материальной культуры и устранена критика современного индивидуалистического миросозерцания. Равным образом не взята в надлежащей глубине проблема религиозная. Приходилось считаться с ограниченностью места, с актуальностью тех или иных вопросов и со степенью разработки их в евразийской литературе. Тем не менее нам кажется, что общий остов системы выступает с удовлетворительною ясностью, а на большее пока мы и не притязаем.

2

Смысл существования определяется теми культурными ценностями, которые хранит и многообразно видоизменяет *суб'ект развития*. Эти ценности составляют некоторое органическое единство; и его-то мы и называем *культурою*. Таким образом культура не простая сумма ценностей и даже не система их, но их *органическое единство*,

всегда предполагающее существование некоторого суб'екта, который их создает, хранит и *развивает*, который — нужно сказать и так — *сам в них и только в них развивается*. Живая еще культура всегда обладает способностью к развитию и совершенствованию. И *каждый ее «момент»* отличается *своею особою и особенною, неповторимою и незаменимою, единственною и необходимою для существования культуры, как целого, ценностью*. Однако, именно с точки зрения целого культуры, *есть более и менее ценные ее моменты и периоды*. Таким образом все моменты культуры обладают «первичным равенством» и «соотносительным неравенством» или «иерархическим взаимоотношением». Вытекающее отсюда противоречие, с которым эмпирически считаться необходимо, преодолимо вполне только в метафизике и религии.

Культура создается *свободным суб'ектом и есть свободное его самопроявление*, частью живое и становящееся, частью словно отрывающееся от суб'екта и застывающее в форме *традиции*, которую он свободно приемлет, одобряет и видоизменяет соответственно «духу» или целому культуры, т. е. в конце концов, соответственно себе самому. В культуре поэтому следует различать прошлое или историческую традицию, настоящее и будущее или сферу свободно полагаемых целей. Впрочем, как полагаемые самим суб'ектом культуры, эти цели определяются его свойствами и тем самым согласуются с исторической традицией. Так сохраняются *единство культуры и свобода ее суб'екта*, ибо, если моменты культуры и распределяются во времени и пространстве, суб'ект ее не ограничен *своими* временем и пространством, а *содержит их в себе и выше их**).

Культуре, как целому и как органическому единству, принадлежит *примат над отдельными ее проявлениями или моментами*, откуда вытекает уважение к традиции в самом акте творчества нового и оправдание этого акта в самой охране традиции. В частности, культуре *принадлежит примат и над внешним выражением ее единства или внешнею ее органи-*

*) О связи свободы со «всевременностью» см. в моей статье «О свободе» («Мысль», I, Петербург, 1922).

зациею, т.е. над ее государственностью (*см. далее*, § 6).

Суб'ект развития может быть индивидуальным или соборным (*симфоническим*). Понятие и термин «культура» применяются почти всегда к суб'ектам второго рода. Так говорят о «культурном человеке», предполагая освоенность им культуры и о «культуре» человечества, народа, сословия, класса, а «класс», «сословие», «народ», «человечество» и являются примерами «соборных» суб'ектов. Симфонический суб'ект не агломерат или простая сумма индивидуальных суб'ектов, но — их согласование (симфония), согласованное множество и единство и — в идеале и пределе — всеединство. Поэтому и народ не сумма социальных групп (сословий, классов и т. д.), но их организованное и согласованное иерархическое единство; культура народа — не сумма, а симфоническое единство более частных культур, и она не существует иначе, как их реально-конкретное единство, и вне их. Таким же образом народные культуры могут составлять большее культурное единство (эллинистическое, европейское, евразийское), предполагающее существование особого соборного суб'екта. Поскольку же мы говорим о культуре человечества, мы предполагаем не отвлеченное единство, по отношению к которому безразличны многонародные и народные культуры, и не одну какую нибудь из них, но реально-конкретное единство их всех, распределенное во времени и пространстве.

Отсюда следует, что можно созидать общечеловеческую культуру, но только путем созидания своей частной, народной и многонародной, и что события данного культурного круга могут обладать иногда решающим значением для всего культурного развития человечества. Таким событием является и русская революция, в которой проблема России-Евразии обнаруживает свой общечеловеческий смысл и раскрывается как историческая миссия России. С судьбами России связаны сейчас и судьбы вновь осознающих себя азийских культур и выход европейской культуры из переживаемого ею индивидуалистического кризиса, выход или — смерть.

Соборный или симфонический суб'ект есть действительность, не меньшая, чем индивидуум, но даже большая. Индивидуум в том виде, как его обычно себе представляют, просто не существует и является вымыслом или фикцией. Человек «индивидуален» вовсе не потому, что он отделим и отделен от других и целого и замкнут в себе, но потому, что он по своему, по особенному, специфически выражает и осуществляет целое, т. е. высшее сверх'индивидуальное сознание и высшую сверх'индивидуальную волю. Другие «индивидуумы» выражают и осуществляют то же самое иначе, каждый по своему, несводимо на других и целостно, т. е. именно неразложимо или «индивидуально». Если уничтожить это высшее, индивидууму нечего будет по особому выражать и не в чем себя осуществлять, т. е. его совсем не будет. Напротив, чем богаче по содержанию это «высшее», тем богаче и полнее индивидуальное существование. Однако вне «индивидуальных» своих проявлений, вне свободных индивидуумов и иначе, как свободного их единства, высшего нет; и оно может осуществляться только чрез индивидуумов и в индивидуумах. Поэтому нельзя его понимать, как отвлеченное от индивидуумов нечто, которое бы стесняло их свободу и предопределяло их действия; и потому же можно сказать, что «высшее» само себя осуществляет в свободных актах каждого индивидуума (§2). Высшее есть единство всего индивидуального, входящего в данное единство и выражающего его, и вместе — само это множество индивидуального. Поэтому «соборное» не отрицает и не ограничивает индивидуального, как его ограничивает и отрицает «коллективное», т. е. «собранное» или «сборное». Для бытия соборного целого необходимо, как выражение его множества, т. е. сферы индивидуального бытия, — так и выражение его единства, т. е. взаимная согласованность индивидуумов. Есть единство, но не только как единство, а и как единство необходимо выражаю-

щееся во множестве. И есть множество, есть индивидуум, как отдельный центр специфического выражения целого, но не только как множество и не только как отдельный, но и как единство и как единый со всеми. Единство индивидуумов вовсе не безличная сфера ценностей и не метафорический суб'ект. Тогда бы как индивидуум мог лично его выражать, быть личностью? Это единство — не меньшая, а большая, чем индивидуум личность, однако, лично осуществляющая себя только в свободных индивидуальных личностях и их согласовании.

Однако надо считаться с тем, что вся эмпирическая действительность и всякий эмпирический суб'ект несовершенны. Эмпирически ни один соборный суб'ект не достигает полного своего единства, но остается только на пути к нему, только «согласованным» или «симфоничным», да и то не до конца. Мы не хотим сказать, что это состояние согласованности не нужно и не ценно абсолютно. Оно необходимо, как необходимый момент в становлении и бытии симфонического суб'екта, который сверх того и абсолютно един и абсолютно множественен. Не данную эмпирически полную множественность пытается признать единственною реальностью индивидуализм; не данное эмпирически полное единство пытается утвердить за счет множественности отвлеченный универсализм. Такими путями отрицается специфичность и реальность эмпирии. Эмпирия должна отрицаться только в том смысле, что она не все бытие симфонического суб'екта, а лишь момент этого бытия, и к тому же момент несовершенный. Эмпирически соборный суб'ект «забывает» о своем единстве и о своем множестве. Эмпирически бытие его связано с борьбою и некоторым насилием. Индивидуум преувеличивает свое значение, как «отдельного»; от'единяется от других и целого и стремится стать самоцелью. Он то отрицает целое, то считает выражением целого свое «только-единичное», призрак, возникающий как следствие отрицания целого, «забвения» о нем или «лжи» (ибо «истина» есть «память»).

Все это тем легче, что наше «самосознание», наше «я», никоим образом не может быть уподобленным какой то резко и раз навсегда очерченной сфере. Скорее всего оно подобно центру, который иногда совпадает с математическою точкою, иногда расширяется и превращается в сферы разных радиусов, в зависимости от «об'ема» индивидуализуемого. Так иногда «я» обозначает сферу узких эгоистических интересов, противопоставляемую другим таким же, иногда — самосознание социальной группы, когда человек делает своими ее волю и ее идеологию, правда, всегда их индивидуализируя, иногда (например, в актах знания) — сознание всего человечества, хотя и тоже индивидуализуемое. Однако «я», выражая целое, выражает его однозначно-индивидуально; и потому оно — носитель «cantus firmus» в вызываемой им к бытию полифонии. В этом своеобразном строении личности — тайна личного бытия; в нем же разгадка таких создающих жизнь актов, как самопожертвование (всегда — жертва низшею или меньшею сферою «я» ради высшей его сферы), и самого строения общества. В несовершенной эмпирической действительности индивидуум неизбежно тяготеет к низшим сферам своего «я». Он стремится замкнуться в сфере своих эгоистических интересов, из нее оценивая другие индивидуальные сферы и целое, в нее стараясь вобрать и превратить все остальное. Если не будут положены границы индивидуально-эгоистическому интересу, самим ли индивидуумом или извне, — индивидуум разрушит целое и, уничтожив других индивидуумов, тем самым уничтожит и себя. (Обратное наблюдаем в коллективизме, который из высшей сферы единства индивидуумов выпаривает индивидуумов, превращая таким образом это единство в безличное и абстрактное и, разрушая индивидуальные сферы, разрушает себя самого). В этом смысле можно и должно сказать, что право ограждает и сохраняет индивидуальное бытие; однако не тем, что признает его абсолютно непроницаемую сферу, а тем, что ставит границы его эгоистическим проявлениям.

Итак целое не существует само по себе, отвлеченно, но — только чрез индивидуумов, в индивидуумах и в качестве всевременного и всепространственного единства индивидуумов, которые и являются его «моментами», выражающими его каждый по своему. Поэтому, раз целое существует, существует уже и выражающее его множество индивидуумов, существует и каждый из них, как само свободно осуществляющее себя в специфической сфере целое. Таким образом целое не сумма индивидуальных сфер, и нет непроницаемой для целого индивидуальной сферы, ибо тогда бы они не являлись целым и оно само не существовало. Но равным образом вне индивидуальных сфер нет особой сферы целого. Однако есть реальное единство и (эмпирически:

только —) реальная согласованность множества индивидуальных сфер, как само целое. Это понимание одинаково отлично и от чистого индивидуализма, который признает лишь индивидуальные сферы и от коллективизма, который знает лишь всеоб'емлющую сферу отвлеченного целого.

4

Мы не утописты и строго отличаем существо и идеал от несовершенного эмпирического факта. По идеалу и существу соборная личность есть всеединство своих индивидуальных и низших соборных личностей. Она есть всякая своя индивидуация, и всякая ее индивидуация есть вся она в особом качестве; но она — и все свои индивидуации, а потому всякая ее индивидуация есть и все другие. Она есть и абсолютное единство их и абсолютное множество их, т. е. она и есть и не есть (ибо абсолютное множество равно небытию, как давно уже показал Платон). Она: и есть, и не есть, и переходит от бытия к небытию, т. е. становится или возникает чрез погибание и погибает чрез возникание. Поэтому она и согласование своих индивидуаций и их иерархическая (ибо ведь она едина!) и движущаяся (динамическая) система. Такое всеединство, в котором часть совпадает с целым, но и качественно отлична от всех прочих частей и как часть для целого необходима, достижимо лишь во всевременном единстве и чрез посредство полной взаимоотдачи (т. е. совершенного взаимообщения), чрез единство бытия и небытия каждой «части» и всех «частей».

Эмпирически всякая личность отказывается от себя и жертвует собою (преодолевая свою низшую эгоистическую сферу, разную, конечно, в зависимости от иерархического положения личности, т. е. одну у индивидуума, другую у социальной группы и т. д. ср. § 3) лишь до известной степени. Она пытается утвердить себя в себе, бережет себя, но все же (в силу самого строения всеединства) — погибает, хотя уже и не путем свободного самопожертвования, а путем роковой необходимости. Взаимоотдача принимает форму борьбы, и на место свободной жертвы становятся насилие и убийство*).

*) Ограничиваюсь здесь простым утверждением и намеком. Подробнее см. в других моих работах.

Впрочем, все это не всецело, а — до известной степени, определенной религиозно-нравственным уровнем общества. Во всяком случае, эмпирически соборная личность (а следовательно и всякая ее индивидуация) не обладает полнотою своего единства (а также — и полнотою своего множества). Потому то эмпирически она и не всеединство, но только согласованность, притом неполная, т. е. соотносительная несогласованности или раздору.

Отсюда опять (ср. §3) ясно, что эмпирически должны существовать индивидуальные и частные сферы, и еще — как сталкивающиеся друг с другом и взаимно друг друга ограничивающие. Но ясно также, что в подобном эмпирическом состоянии и само целое не может предстать, как таковое, во всей своей полноте и чистоте. Становясь в соотношение с обособленными индивидуальными сферами, подчиняясь факту дурного, т. е. не воспоимаемого единством раз'единения, и оно обособляется, как особая, хотя и высшая сфера. Это значит, что во всякой соборной личности (в семье, социальной группе, нации, культуро-суб'екте) должен всегда быть преимущественный носитель и выразитель ее целости и единства. Иногда, особенно в малой соборной личности (семья, небольшая социальная группа), таким преимущественным носителем единства может быть одно лицо (отец, старший брат, «большак», «староста», «председатель»); иногда, особенно в больших соборных личностях, преимущественные носители единства сами являются некоторыми соборными личностями (совет старейшин в роде, «президиум» или «исполнительный комитет» в социальных группах, правящий слой и правительство в народе и т. д.), хотя и здесь, как мы увидим далее (§6), нормальным представляется опять таки единоличное возглавление подобной социальной руководящей группы. Во всяком случае, чем длительнее и непрерывнее жизнь соборной личности, тем необходимее некоторое постоянство ее возглавления. Указываемый факт эмпирически приводит к тому, что соборная личность обладает некоторою организацией, тем более развитою и прочною, чем больше и выраженнее сама личность и ее воля. В силу же первенствующего значения, которое принадлежит преимущественному выразителю единства личности, т. е. ее соборного сознания и ее соборной воли, между ним и прочими моментами личности должны установиться отно-

шения господства и подчинения, а сам он должен обладать некоторою сферою или областью безусловного господства, т. е. властью. Однако, определяя власть, как область безусловного господства, не следует думать, будто это совпадает с так называемою абсолютною или деспотическою властью. Абсолютная власть отличается от не-абсолютной тем, что сфера или область первой не ограничена, не определена. В сфере же, определенной для нее, всякая власть абсолютна: иначе она бы не являлась властью.

Так и во всяком народе, во всякой единой (национальной или многонациональной) культуре необходимо приходит социальная дифференциация и выделяется в качестве носительницы и выразительницы, целого некоторая социальная группа, которая и противостоит другим индивидуациям целого, хотя и не на равных с ними основаниях, ибо она и их выражает. Такую группу мы называем правящим слоем. Естественно, что между выражаемым им государством и индивидуациями государственного целого, т. е. низшими соборными и индивидуальными суб'ектами, эмпирически неизбежна борьба за разграничение их сфер, которая и приводит к некоторой закрепляющей на неопределенное время результаты ее норме. Конечно, «олицетворяющий» и преимущественно воплощающий целое правящий слой тоже эмпирически несовершенен. Он выражает целое «более или менее», «приблизительно». Но пока целое, как таковое, существует эмпирически, пока оно «государственно», он все же его хоть немного, да выражает.

Из этого эмпирического, но плохо понимаемого ими факта исходит все государственно-правовые теории, либо — в индивидуализме — отрицая сферу государства или допуская ее лишь как минимальное зло, либо—в коллективизме (этатизме) — пытаясь отрицать индивидуальные сферы низших соборных суб'ектов. Таким образом признается факт, что не худо. Но уже худо, что этот факт искажается, что он теряет свой символический по отношению к совершенному целому смысл, что он берется только как эмпирический и в эмпиричности своей наделяется абсолютным смыслом и значением. Мы же, не отрицая факта и относительной полезности закрепляющих его норм, исходим все же не из него, а из того, что он символизирует. Поэтому, с одной стороны, получает известное об'яснение и оправдание динамика политической и социальной жизни, а с другой стороны — устраняется вредное действие ошибочно

абсолютируемых и, все равно, существующих только в воображении теоретиков конкретных норм. Во всяком здоровом государстве есть и сфера собственно государства и сферы индивидуаций целого, в частности — сферы индивидуумов, причем принципиально и — до известной степени — фактически и материально эти сферы разграничены. Без такого разграничения не может быть в эмпирии целого и нет нормальной государственности. Ведь целое в том и существует, что является согласованностью своих моментов, которые свободно выражают его, как самих себя. Но раз навсегда точно эти сферы разграничить нельзя, ибо эмпирически целое развивается и его индивидуации находятся в состоянии вечно меняющегося и напряженного равновесия. Государство всегда стремится расширить свою сферу и растворить в себе индивидуальные и частные; но в этом движении оно наталкивается на известный предел, за которым начинается гибель индивидуаций и потому и его самого. Подобным же образом наступают на государство и индивидуации, останавливаясь лишь пред гибелью его и потому и себя самих. Отсюда не следует, что некоторое закрепление отношений бесполезно. Напротив, оно и полезно и нужно, и в осуществлении его смысл права. Не надо только придавать этому закреплению абсолютный смысл, верить в его незыблемость, чрезмерно его детализировать, одним словом — смешивать проблемы практические с теоретическими, государственное искусство с теорией права.

5

Эмпирическое несовершенство соборного суб'екта определяется эгоистическим самоутверждением всякого его «момента», всякой его «индивидуации», т. е. всякого из осуществляющих его индивидуальных или частно-соборных суб'ектов (социальных групп). Это эгоистическое самоутверждение (§§3,4), будучи качеством всех индивидуаций данного соборного суб'екта, тем самым должно быть и качеством, присущим ему, как целому.

Так оно и есть на самом деле. — Соборный суб'ект данной культуры эгоистически обособляется от других таких же суб'ектов и утверждает себя в борьбе с ними. Даже человечество, как высший соборный суб'ект, эгоистически самоутверждается в противопоставлении себя миру природы, к тому же пополняя рабочий скот рабами или деклассированным пролетариатом. В последней глубине своей эгоистическое самоутверждение человечества есть самозамыкание его в себе от Бога или раз'единение его с Богом, которое и выражается в самом человечестве, как внутреннее его самораз'единение. Следовательно и в основе эгоистического самоутверждения всякой соборной личности и всякого индивидуума тоже лежит от'единение их от Бога, условие единства с которым есть любовь (к Богу и людям). Но наибольшая любовь у того, кто «душу» (— жизнь) свою полагает за других. Существо любви в отказе от всего «своего», от себя самого ради других, в свободной жертве, в самоотдаче (§4).

Но, если так понятая, т. е. истинная, любовь и является отрицанием эгоистического самоутверждения личности, любовь вовсе не уничтожает личного своеобразия и личности. Напротив, — тот и находит себя как личность, «душу» или жизнь свою, кто теряет свою «душу», отдавая ее другим. Так человек может умственно и духовно развиваться лишь в том случае, если он перестает быть прежним (умирает) для того, чтобы становиться новым, если он, отвергая свою косную самоутвержденность в себе, подчиняется тому, кто открывает ему истину, и самой истине. Не принося в жертву предвзятых своих убеждений, «части своей личности», человек ничего познать не может, не может раскрыться, как личность. Замыкаясь в себе, он становится нищим, хиреет и погибает. Преодолевая же себя, свое ограниченное, маленькое эгоистически-личное бытие, человек расширяется и обогащается, делается истинною личностью. Только чрез общение с другими людьми, т. е. чрез самоотдачу, без которой такое общение невозможно, достигается личное многообразие и личное единство индивидуума. Ведь и единство личности существует потому, что оно коренится в сверх'индивидуальном личном единстве и его индивидуализирует. Все это справедливо и для личности соборной. На гибель обрекает себя народ, замыкающийся в себе от других народов и лично, т. е. по своему, специфически (!) не осваивающий их труда*). Гибнет сословие, огораживающее себя привилегиями и кастовым духом от других сословий: желая утвердить себя и повелевать над другими, оно само разлагается. Если есть еще в мире личное бытие, если мир не погиб, так только потому, что в нем не совсем еще иссякла любовь. Мы стремимся к самоутверждению и считаем плодом этих стремлений наше личное бытие. Но мы просто не замечаем, что мы развиваемся только теряя себя, т. е. вольно или невольно, сознательно или бессознательно себя отдавая, и что наше «самоутверждение» нас только ограничивает, обедняет, обессиливает и обезличивает.

Таким образом эгоизм должен приводить и приводит к умалению личного бытия в индивидууме и во всяком соборном суб'екте. Индивидуум начинает считать свое индивидуальное сознание чем-то раз навсегда и непреложно очерченным (ср. §3 о «я»). Он утрачивает сознание своего личного единства. До самого последнего времени он считал правильным и «научным» рассматривать свою душевную жизнь, как сочетание и чередование во времени раз'единенных «ощущений», своего рода «душевных атомов», и даже признавать сознание продуктом материальных процессов, чем то вроде мочи. Когда сама наука отказалась от этих заблуждений, индивидуум не сдался и об'явил ее «буржуазною». Теряя сознание своего личного единства и своеобразия, индивидуум предполагает, будто все люди рождаются «совсем одинаковыми» и что только внешние условия (воспитание, влияния среды) делают их непохожими друг на друга. В социальном общении замыкающийся в себе индивидуум не раскрывает себя другим всецело, а показывает им только тот либо другой свой лик (лик «политического деятеля», «профессора», «бездушного чиновника - формалиста» и т. п.), или обманчивую личину более либо менее искусного актера.

Конечно, такой индивидуум перестает ощущать себя живым членом той либо иной социальной группы. Для него эта группа делается простою совокупностью похожих на него и друг на друга индивидуумов, которых соединяет лишь общий партийно - экономический, профессиональный или политический интерес. Не желая знать, что такое социальная группа и как

*) Необходимо строго различать *личное усвоение чужого*, т. е. усвоение в котором личность *преобразует* усваимое и специфически свое, и *усвоение подражательное* или *внешнее*, в котором личность утрачивает свою специфичность. Примерами последнего изобилует истории европеизации России.

в ней, в соборной личности, относятся друг к другу индивидуумы, он уже не в состоянии оценить единственное значение всякой индивидуальной личности и их иерархическое взаимоотношение, несмотря на абсолютную ценность всякой личности и, в этом смысле, на «первичное равенство» всех (§2). Естественно, что сама социальная группа хиреет и, переставая многообразно связывать индивидуумов, *теряет свое личное бытие*. Она делается либо «*инструментальною*» по отношению к индивидуумам, т. е. средством для осуществления ими своих эгоистических интересов, либо «*только-функциональною*» по отношению к высшему целому (государству), которое пользуется ею для того, чтобы господствовать над индивидуумами. Но если утрачивают соборное сознание и соборную волю, т. е. перестают быть *действительными* соборными личностями, оставаясь ими лишь в возможности, социальные группы, то и само огосударствленное целое также уже не воспринимается, как личное и своеобразное единство, и действительно перестает быть таковым. Государство воспринимают, как неудобную, но неизбежную для существования индивидуума организацию, и противопоставляют его «свободному обществу» (§1), хотя без своего огосударствления общество вообще не может быть, а тем более — быть свободным.

Всякий индивидуум есть свободное и своеобразное выражение «первичной», т. е. ближайшей к нему соборной личности или социальной группы. Но и всякая социальная группа может быть действительною личностью лишь в том случае, если она не только выражается в индивидуумах, но и сама выражает в себе высшую соборную личность. Так евразийско-русская культура может обладать личным бытием своего суб'екта только потому, что она своеобразно осуществляет человечество и сама осуществляется в ряде соборных личностей или наций. Всякая нация, в свою очередь, должна осуществляться в ряде дальнейших соборных личностей, из которых каждая определена своим особым качеством, своею особою по отношению к нации *функцией*, но для полноты личного бытия нуждается в многообразии своих проявлений. Тот же процесс продолжается вниз, пока мы не дойдем до *первичных соборных личностей или первичных социальных групп*, составленных непосредственно из индивидуумов. Таким образом культура и раскрывается, как *личное иерархическое* (§2) *много-*

единство. Конечно, в каждом ряду соборных личностей все они, различаясь качественно и, по отношению к высшей личности, функционально, соотносительны, связаны друг с другом и нуждаются друг в друге. Но каждая нация специфически осуществляет *всю* культуру, культуру как целое. Она может поэтому, оторвавшись от связи с другими нациями, образовать некоторое самостоятельное целое, хотя в силу обособления и ущербленное. Несколько иначе обстоит дело со вторыми (считая сверху) индивидуациями культуры (— с первыми индивидуациями наций), например — с правящим слоем, суб'ектом хозяйства и т. п. Вторые индивидуации тоже соотносительны и качественно-функционально определены. Но соотносительны они не только в пределах нации, а и в более широких пределах всей культуры, так что, например, правящие слои еще и об'единяются в один правящий слой, тем самым об'единяя нации в одну многонациональную культуру. С другой стороны, вторые индивидуации ограниченнее наций в личном своем бытии.

Функция нации — своеобразное осуществление многонациональной культуры, как целого; функция второй индивидуации — осуществление национальной и всей культуры только в одном из ее аспектов. *Нация — функциональный организм; вторая индивидуация — функция-орган*. Разумеется, вторая индивидуация может и должна расширить свои качествования за пределы качествования функционального; и только в этом случае она станет многообразною личностью. Так наиболее развитая из вторых индивидуаций, правящий слой, не только осуществляет соборную волю культуры. Правящий слой создает свою собственную духовную культуру, как специфическое выражение культурно-соборной: свою идеологию, свои формы быта, свои ученые и учебные учреждения. Равным образом он может хозяйствовать, создавая государственные предприятия, организуя государственную торговлю и т. д. Однако все это является *вторичными* его качествованиями, *подчиненными* определяющей его функции. И потому духовная культура и хозяйство правящего слоя соотносительны духовному творчеству и хозяйству вне правящего слоя (§6). Благодаря *своей* духовно-культурной деятельности и *своему* хозяйствованию правящий слой лучше и легче выполняет свое функциональное задание, т. е. регулирует деятельность суб'ектов духовной культуры и хозяйства. Если он попытается устранить их и присвоить себе их функции всецело, он обнаружит все недостатки коммунистического пра-

вящего слоя и даже правящим слоем быть перестанет, ибо — чем же он будет «править»? Ясно, что второй индивидуации, которую можно назвать функциональною личностью, несравнимо труднее стать самостоятельною, чем нации. Вторая индивидуация, взятая сама в себе, обладает меньшею полнотою личного бытия. Это особенно ясно в сферах духовной культуры и хозяйства. Обе они в современных культурах предстают, как мало организованные. Суб'екты их не получают определенности, остаются почти в потенциальном состоянии, как бы сливаясь с суб'ектом культуры. И, если деятельность правящего слоя явственно предстает «качествованием» суб'екта культуры чрез посредство именно правящего слоя, — духовное творчество, техника и хозяйствование без труда представляются непосредственными качествованиями самого суб'екта культуры. Однако и здесь должны быть вторые индивидуации, как частные соборные суб'екты, хотя бы и потенциальные. Об этом свидетельствует существование низших соборных суб'ектов в названных сферах (например, ученых и учебных учреждений, хозяйственных организаций, индивидуальных хозяйств и т. д. ср. § 2). Стремление к борьбе с хозяйственной анархией и к организации хозяйства также является симптомом того, что нормальное состояние хозяйства нуждается в большей выраженности суб'екта хозяйствования, который, стало быть, существует.

Мы отнюдь не склонны к выдумыванию несуществующих соборных личностей, но мы усматриваем умаление личного бытия в том, что существующие остаются потенциальными, и этим об'ясняем дезорганизованность культуры. Понятно, что еще менее выраженным оказывается личное бытие в «третьих индивидуациях», функции которых ограниченнее, чем функции вторых. Опускаясь далее вниз, мы встретимся с социальными группами, личное бытие которых почти совсем не проступает. Однако как раз первичные (т. е. ближайшие к индивидуумам) социальные группы снова выделяются своим более развитым личным бытием, достигая довольно ясного соборного сознания (первичное профессиональное об'единение, сельская община, индивидуальное хозяйство). Происходит это именно от того, что первичные соборные личности непосредственно осуществляются в индивидуумах, а индивидуумы и существуют прежде всего, как их свободные и своеобразные самовыражения (§§3,4). В индивидуумах последний упор собор-

ного суб'екта культуры, но обособленный индивидуум, индивидуум без социальных связей с другими — фикция.

Как ясно уже из характеристики вторых индивидуаций, функциональная личность не может обладать полнотою личного бытия только в себе и чрез себя; и чем она ограниченнее и ниже иерархически, тем — менее. Функциональная личность становится многообразною, действительною личностью лишь путем постоянного и живого взаимообщения с другими такими же личностями. Только чрез это взаимообщение приобретает она вторичные качествования и делается «многоликою», т. е. настоящею личностью. В основе же взаимообщения лежит любовь (§4), эмпирически выражаемая еще идеею служения другим и целому, онтологически тожественная взаимоотдаче. Конечно, эмпирически взаимоотдача никогда не бывает полною и совершенною. Только в течение довольно долгого времени данная социальная группа погибает и растворяется в сменяющей ее другой (пример — смена правящего слоя в революции). Но все же взаимоотдача, как социальное взаимообщение групп, существует и является необходимою для существования соборной личности. Социальные группы взаимно ограничивают друг друга, вступая в соглашение, усваивая одна от другой быт, нравы, идеологию. Сливаясь друг с другом, группы образуют «переходные группы»; а индивидуумы «передвигаются» из одной группы в другую, вечно изменяя личный состав социальных групп. «Передвижение» индивидуумов представляется особенно важным, так как всякая соборная личность существует лишь в индивидуумах и чрез индивидуумов. Благодаря «подвижности» индивидуумов возможны и «переходные группы», нуждающиеся в некотором описании их.

Собственно говоря, всякое взаимообщение индивидуумов всегда предполагает, что они образуют некоторое единство, некоторую соборную личность. Она может быть очень ограниченною, в случае, например, мимолетной встречи, но может стать и довольно многообразною и длительною (дружба, научная экспедиция). С этой точки зрения особую соборную личность образует даже об'единяемая какою нибудь одною целью или одним чувством (молитвенным экстазом, страхом, яростью и т. п.) толпа. Таким образом на основе первичного и потенциального единства все время возникают и погибают соборные личности, разрушая или сливая на некоторое время уже существующие и относительно устойчивые и делая личным все социаль-

ное бытие. Ежемгновенно возникает и погибает бесконечное множество таких «социальных эфемерид». Часть из них остается, как более длительные и социально-существенные, которые, при благоприятных условиях, могут явиться зачатками устойчивых социальных групп и заменить собою уже существующие социальные группы. И вот чрез посредство таких «социальных эфемерид» осуществляется социальное взаимообщение соборных суб'ектов внутри высшего соборного суб'екта.

Таким образом вскрывается природа и динамика социального бытия. Оно является потенциально личным и, осуществляясь, становясь из возможного действительным, предстает, как бесконечное множество соборных личностей, в разной степени ограниченных и длительных, вечно распадающихся на новые соборные личности или сливающихся в новые соборные личности, причем все эти процессы получают выражение свое лишь чрез индивидуумов и в индивидуумах. Среди прочих выделяются наиболее устойчивые и социально-политически существенные соборные личности, тоже достигающие разной степени многообразия и оформленности в процессах самообразования и общения с другими. Так создается некоторая иерархия культурного целого, однако иерархия, не исключающая социальной динамики, но только в силу этой динамики и возможная. По истине, в социальной действительности не меньше жизни, и жизни личной, чем в органическом мире с его мириадами существ, видимых и не видимых невооруженному глазу*).

Личное бытие несовершенного соборного суб'екта умалено, и притом в разных направлениях. Устойчивые социальные группы ограничиваются, сводя свое бытие к чисто функциональному и оставаясь или становясь потенциальными личностями. Это особенно характерно для «средних» социальных групп, так что личное бытие преимущественно обнаруживается с одной стороны,

*) Я не касаюсь здесь метафизической проблемы о соотношении личного бытия с органическим и материальным. Укажу только на связь ряда соборных личностей (семьи, рода) с фактами характера биологического. И, конечно, эту биологическую связь придется расширить, если вдуматься, как следует, в значение общей пищи, общего воздуха, которым дышат люди данной местности, общих географических «условий» данной культуры и т. д. Нельзя забывать, что личное единство есть не только единство «сознания», но и единство «телесного».

наверху — в культуро-суб'екте (не в человечестве, как в целом!), в нациях, частью во вторых индивидуациях (правящий слой), с другой стороны, внизу — в «первичных» социальных группах и осуществляющих их индивидуумах. Индивидуумы утрачивают свое внутреннее личное единство и как бы распадаются на множество ликов и личин, редко гармонически об'единяющихся, с чем связан и современный распад семьи, этого биологически обоснованного микрокосмоса культуры. Распад соборных личностей вообще знаменует собою не рост социального общения, а его умаление. Оно умаляется, поскольку всякая соборная личность эгоистически замыкается в себе и, стремясь стать кастою, хочет господствовать над другими (привилегированное сословие, освобождающееся от своих обязанностей по отношению к целому; пролетариат, притязающий на единовластие; теория классового строения общества и классовой борьбы). Ведь такое самозамыкание социальных групп, в конце концов, приводит к их распаду и к действительному перерождению общества в простую совокупность эгоистических индивидуумов, к индивидуалистическому анархизму.

Суб'ект культуры дифференцируется в первую очередь (в многонациональной культуре чрез посредство наций, но вместе с тем и непосредственно) на ряд частных соборных суб'ектов (на «вторые индивидуации», §5) по принципу функционального различия их качествований*). Притом эти частные суб'екты в современных культурах не являются, за редкими исключениями, вполне определившимися в личном своем бытии и строго отличимыми друг от друга и от самого суб'екта культуры. С другой стороны, и по существу их качествования суть вместе с тем и качествования самого культуро-суб'екта. По этим двум основаниям, мы и не проводим резкого различия между частными соборными суб'ектами и суб'ектом культуры, когда определяем сферы их качествований, а говорим просто о «сферах культуры». К тому же надо всегда помнить, что данная сфера культуры не может

*) О понятии «качествования», в общих чертах ясном из контекста, см. мою «Философию Истории», Берлин 1923. Там же более детальное рассмотрение и обоснование ряда затрагиваемых в этой статье вопросов. Учение о личности подробнее излагается в I т. моей работы «О началах», Берлин 1925.

быть резко отделена от других не только по определяющему ее частному соборному суб'екту, но и в силу органического взаимопереплетения ее с другими сферами (§5).

Со всеми высказанными оговорками мы считаем возможным установить следующие основные сферы культуры: 1) сферу государственную или политическую, в которой преимущественно осуществляются единство культуры и личное бытие ее суб'екта; 2) сферу духовного творчества или духовной культуры, духовно-культурную сферу и 3) сферу материально-культурную или сферу материальной культуры. Несмотря на многообразное взаимопереплетение, эти сферы различимы сравнительно легко и относятся друг к другу в порядке иерархическом, определяемом значением их в культуре, как целом.

Иерархически низшее место принадлежит сфере материально-культурной. Она существенно определена отношением суб'екта культуры (и его соответствующих индивидуаций) к миру природы и использованием этого мира ради высших, духовных заданий культуры, причем в эти высшие задания входит и одухотворение («лицетворение», в частности—познание) самой природы. Именно потому ценности материально-культурной сферы и предстают, как раз'единенные и следовательно сравнительно легко определимые. Однако было бы ошибочным считать их материальными. В культурной деятельности само материальное одухотворяется; и лишь потому и может быть устанавливаемо взаимоотношение наиболее «материальных» ценностей, ибо даже связь двух материальных тел уже духовна и познается и осуществляется вполне только в сознании. Но в сферу материальной культуры входят и чисто-духовные ценности, поскольку они материально определены, хотя бы и опосредствованно. Так «хозяйственною» ценностью или «хозяйственным» благом являются не только материальные вещи, но и труд, производящий или преобразующий их, и чисто духовные акты (например, услуги, продаваемая умственная работа ученого, литератора, публициста). Отсюда не следует, что все духовное становится и может стать хозяйственным. Духовное становится и хозяйственным благом только чрез отнесение его к благам чисто материальным,

и далеко не все духовное может быть отнесено к хозяйственным ценностям. Вопреки мнению бывшего марксиста г. Петра Струве, любовь, общественно-политические убеждения и многое другое не продажны и не могут стать хозяйственными ценностями, не переставая быть собою. Но многое из духовного бытия (именно — отделимые от личности продукты ее духовной деятельности, «уже осуществленное» личностью) может без всякого повреждения становиться и соотнесенным с материальными ценностями, т.е. и хозяйственным благом. В таких, по удачному определению П. Н. Савицкого, «двуаспектных» ценностях и обнаруживается яснее всего взаимопроникновение разных сфер культуры. Для материальной сферы остается определяющим непосредственное или опосредствованное отношение к природе ради использования ее, но эта сфера частично вовлекает в себя и явления других сфер, иногда, впрочем, их искажая (торговля убеждениями и т. п).

В материальной сфере необходимо различать ряд частных сфер, главным образом: технику и хозяйство. Техника преобразует и одухотворяет самое природу и (материальные и духовные) средства такого преобразования и одухотворения ради целей хозяйства и целей духовной культуры. Таким образом техника, с одной стороны, служебна по отношению к хозяйству, с другой стороны — стоит рядом с ним, являясь как и оно, служебною по отношению к духовной культуре. Хозяйство определяется таким преобразованием и одухотворением природы, в которых господствуют принципы специфической заменимости и принципиальной соотносительности*). Его роль служебна по отношению к духовной культуре. Из развиваемого нами учения следует, что природа при всем служебном ее значении обладает и некоторою самоценностью (как одухотворяемая или лицетворимая), а потому требует и религиозного к ней отношения, т. е. религиоз-

*) Во избежание недоразумений еще раз подчеркиваем наличие в хозяйственной сфере не только материальных, но и духовных благ. Подробнее см. в статье *П. Н. Савицкого* «Хозяин и хозяйство» («Евразийский Временник» кн. 1-я, Берлин 1925) § 2.

ного осмысления материальной культуры, в частности — техники и хозяйства. С другой стороны, в хозяйстве представляются неободимыми как существование частно-соборных и индивидуальных хозяйств, так и их согласование или об'единение в одно хозяйство, соборное. Такое согласование и об'единение предполагает организацию, т. е. действительное личное бытие суб'екта хозяйства, а не распадение его в хозяйственной анархии, и подчинение хозяйственной сферы сфере государственной, преимущественно осуществляющей единство всей культуры. Для того же, чтобы это подчинение оказалось реальным и плодотворным, а не бюрократически-некомпетентным, необходимо соучастие правящего слоя в хозяйствовании в качестве одного из частных соборных его суб'ектов, т. е. государственное хозяйство рядом с частным (государственно-экономический дуализм; ср. §5 и «Евразийскую Хронику» № IX).

Сфера духовного творчества определяется тем, что в ней абсолютно истинное (как и смысл природы) опознается и осуществляется чрез свое отнесение к идеалу культуры и ее ценностям. Таким образом сфера духовного творчества есть сфера свободного познания и самопознания культуро-суб'екта в его религиозно-метафизических исканиях, науке, искусстве, в его религиозно-нравственной деятельности. Как вполне свободная и в то же время единая, эта сфера существует лишь в соборной Православной Церкви, а менее выраженно — во всякой религии. Вне Церкви и религии духовное творчество ограничено в своей свободе и своих возможностях, хотя этого отчетливо и не осознает, и вместе с тем, особенно в современных культурах, дезорганизовано и индивдуалистично. Достаточно напомнить о дезорганизованности современной науки и явно упадочных течениях современного искусства. Само собой разумеется, что и духовная сфера культуры настоятельно нуждается в самоорганизации и внутренней собранности, т.е. в личном самоопределении ее соборного суб'екта. И точно так же, как организация хозяйства, организация духовной культуры предполагает соучастие в ней и направляющую деятельность государства (правящего слоя).

На первое место в иерархии сфер культуры следует поставить сферу государственную, преимущественным выразителем и суб'ектом которой является правящий слой (§4). С точки зрения современного демократического понимания государства это может казаться крайним «этатизмом». Но такое впечатление быстро рассеивается, если вполне уяснить себе природу государственности и отношение ее къ другим сферам.

Государственная или политическая сфера обладает первенствующим значением потому, что чрез нее и в ней осуществляется и выражается единство всех сфер, как сама и внешне единая культура. Благодаря политической организации получают выражение и оформление сознание и воля симфонического суб'екта, а сам он приобретает действительное личное бытие. Государственность, государство можно определить, как форму личного бытия и личное качествование культуры. Только не следует представлять себе соборное сознание по типу индивидуального (скорее наоборот) или как что-то отвлеченно-общее и отдельно существующее. Оно есть сознание «симфоническое», «согласованное», а потому содержащее в себе всякое свое индивидуальное выражение. Индивидуальное сознание, как и отвлеченно-общие формулы, может лишь «означать» или «символизировать» сознание соборное, но никак не выражать его исчерпывающим образом.

Ошибочно всякое обоготворение государства и всякое признание его последнею целью культурного развития и бытия. Из нашего определения этого никак не вытекает. Как «личная форма» культуро-суб'екта, государство подчинено его целям, на чем мы и настаиваем, утверждая примат культуры (§2). Как форма, «само по себе», государство не обладает творческою силою, хотя именно чрез него осуществляется творческая деятельность культуро-суб'екта. Государство может мешать культурному развитию, но оно не может создавать, будучи лишь орудием суб'екта культуры, который его создает и чрез него действует. Мешать же развитию культуры государство может уже потому, что по самой природе своей всякая государственность обладает большею устойчивостью и косностью, меньшею гибкостью, чем иные сферы культуры. Проистекающие отсюда трудности можно ослабить только некоторым ограничением политической сферы и последовательною борьбою со всяким стремлением к чрезмерной детализации и фиксации государственного строя. Подмена же примата культуры приматом

государства и вера в единоспасающее значение второго как раз и ведут к непомерному расширению политической сферы, а в связи с ним к вредному формализму.

Итак государство по отношению к культуре вторично и является только формою ее личного бытия. Оно не должно стеснять свободного саморазвития культурно-народной или культурно-многонародной, как Россия-Евразия, личности, в себе и чрез себя открывая ей путь для свободного выражения и осуществления ее воли. Государство направляет развитие культуры, но направляет в качестве преимущественного выразителя воли культуро-суб'екта. Смысл же и существо политической организации заключаются в следующем.

Индивидуум реагирует на внешние события единично-индивидуально. Как единично-ндивидуальные осознает он свои цели, осуществляя их путем единично-индивидуальных же актов. Именно в меру этого он — индивидум (ср. §3). Всякий акт и всякая реакция соборной личности, как таковые, не индивидуальны, но являются согласованием множества индивидуальных актов, из которых каждый специфичен и единично-индивидуален, но тем не менее об'единяется с другими в целое, хотя в эмпирической действительности и несовершенно, т. е. не без борьбы и насилия (§4). С другой стороны, всякая реакция и всякий акт соборной личности должны быть в некотором смысле и единичными. Иначе невозможны ни взаимодействие соборных личностей (например — народов, социальных групп), ни осознание соборных актов индивидуумами, ни сознание последними своей укорененности в соборной личности.

Определенность и единичность симфонического акта достижима только одним путем. — Из множества индивидуумов, которые составляют данную соборную личность (например — народ) и которые склонны действовать так, что единично-индивидуальные акты их «означают» или «символизируют» друг друга и единый симфонический акт, — органически вырастает правящий слой. Внешние эмпирические уловия его возникновения могут быть весьма различными. Существенно, что он находится в органической связи с массой населения и способен выражать ее сознание и волю. Сохраняя эту органическую связь с народом и это органическое взаимодействие с ним, правящий слой сам становится некоторою соборною личностью, что и сказывается в известном едином

стве миросозерцания, волеустремления и — на высших ступенях развития — в организации. Так же органически, как он рождается сам, правящий слой порождает правительство, уже обязательно организованное. А оно благодаря своему организационному единству и количественной ограниченности своего состава способно к определенным единичным актам.

Органическое взаимодействие членов правительства и его органическое взаимообщение с правящим слоем, а чрез него и со всем народом позволяют устранять и, во всяком случае, ослаблять суб'ективную односторонность и ограниченность единичных правительственных актов. Будучи единичными, эти акты получают возможность быть действительными и общезначимыми символами народных, реально симфоничными. Выражая свое миросозерцание и осуществляя свою волю, правительство тем самым выражает и осуществляет народное миросозерцание и народную волю. Своим единичным актом оно «дает выход» для множества единично-индивидуальных актов: индивидуумы признают, одобряют и поддерживают действие правительства, индивидуализируя и осуществляя его каждый в своей сфере. Так правительство чрез посредство правящего слоя становится носителем народного миросозерцания и народной воли; и вне его — это миросозерцание остается невыраженною системою трудно даже определимых тенденций, эта воля — бессознательною.

Для того, чтобы единичные акты правительства получали полную определенность и конкретность, а не превращались в абстрактные компромиссные формулы, необходимо и в самом правительстве некоторое преобладание индивидуально-личного начала (ср. §3). И для того, чтобы длительная и многообразная деятельность правительства являлась целостною и последовательною, необходимо постоянство этого начала. Надо учитывать вред коллегиальности, и полезно помнить мудрые слова одного из римских императоров: «Senatores — optimi viri, senatus — mala bestia». Нормальная, т. е. наиболее соотвествующая природе своей, организация государства предполагает единоличное его возглавление.

Итак государственностью мы называем единство большой соборной личности (многонационального культуро-суб'екта или народа, нации). Государственно все постольку, поскольку оно относится к единству и органически входит в целое. Государство же есть внеш-

нял форма этого единства и преимущественная сфера его выражения, как сфера деятельности частного соборного суб'екта, преимущественно осуществляющего соборную волю. Таким образом существование государства предполагает 1) существование преимущественного суб'екта государственности, т. е. правящий слой, 2) организацию, как форму бытия и деятельности правящего слоя, 3) организационные формы, определяющие его отношение к другим частным соборным суб'ектам, индивидуирующим целое, и, конечно, к индивидуумам, 4) область его, правящего слоя, деятельности, т. е. его суверенную власть (§ 4) и внешние пределы ее действенности или территорию.

7

Уясненные нами основные черты политической организации являются некоторым общим социологическим фактом. Его легко можно уяснить путем исторических примеров и анализа современности, тем более, что уже на наших глазах протекает само образование нового правящего слоя в России и Италии. Неумение или нежелание видеть и понимать описываемый нами факт об'ясняется предрассудками и предвзятостью современных идеологов демократии и социализма. Однако признавая всеобщность описанного нами социологического факта, надо раз навсегда устранить утопическую мысль о возможности создать идеальную государственную организацию, которая бы годилась для всех народов и всех времен, никогда не старела и не подвергалась опасности вырождения. Всякая государственность подвержена присущим самой природе ее опасностям. Их надо знать, надо с ними бороться, надо изыскивать пути наиболее безболезненного (не-революционного) их устранения; но совершенно устранить их невозможно уже потому, что они связаны с возрастом культуры и степенью ее здоровья. Так и кризис современной европейской государственности лежит не столько в господствующих формах демократии и их технической непригодности, сколько в органической болезни самой европейской культуры.

Государственности всегда угрожает разрыв между народом и его правящим слоем, нарушение органического их взаимодействия. Эта опасность особенно велика, если сами формы государ-

ственности заимствуются извне (в Европе — из Англии, в России — из Европы), а не являются плодом органического развития или, по крайней мере, освоения. Трансплантация головы — операция неслыханная. В связи с этим может обнаружиться (и даже непременно обнаруживается) разрыв между правительством и правящим слоем, т. е. саморазложение правящего слоя. А раз такая болезнь уже налицо, — деятельность самого правительства неизбежно или направляется по пути отвлеченных и безжизненных компромиссных актов, что связано с ослаблением в правительстве лично-индивидуального начала, или превращается в ряд судорожных «индивидуалистических» актов, не «означающих» соборной воли, что связано с индивидуалистическим преувеличением личного начала. Конечно, идеальная государственность невозможна, а потому фактически всегда неизбежна та либо иная степень расхождения между управляющими и управляемыми. Но отсюда не следует, что невозможно постоянное приближение к наилучшему и что не надо к такому приближению всегда и неутомимо стремиться. Неправильно предаваться оптимизму и не видеть всей трагичности нашего эмпирического бытия, которого мы совершенным сделать не можем. Но еще более ошибочно опускать руки и не сознавать абсолютной ценности всякого улучшения.

Государственное искусство и заключается, с одной стороны, в изыскании возможно наилучших форм взаимодействия между индивидуально-личным и «общим» в самом правительстве и, с другой стороны, в изыскании форм, которые бы наилучшим в данных условиях образом обеспечивали нормальное и по возможности непрерывное взаимообщение правительства, правящего слоя и широких масс населения, т. е. народность или демотичность государственной власти. Ясно, что задача не в построении общеобязательных и «вечных» форм государственности, а в предельно конкретной постановке проблемы, т. е. в постановке ее применительно к данным условиям и времени и к данному культурному целому. Притом не следует ни на одно мгновение забывать о том, что государственность лишь форма и средство, а не цель. Цель наша выше и значительнее. Она — в раскрытии культурою ее возможностей и ценностей, ее идеи и миссии. Идея культуры определяет ее государственность; и государство должно быть не демократическим и не аристо-

кратическим, ибо не для того существует культура, чтобы хорошо жилось «всем» или «лучшим», но для того, чтобы наилучшим и возможно полным образом осуществилась идея культуры. Государство должно быть идеократическим, идеократией; условием же идеократии является демотичность власти*).

Устроение государства должно исходить из ясного осознания его значения, как преимущественной сферы единства всей культуры (§6), его органической связи с другими сферами культуры, его формально первенствующего положения среди них и служебной по отношению к целому культуры роли. В государстве находит себе выражение и необходимую форму личное бытие суб'екта культуры и слагающих культуру низших соборных суб'ектов и индивидуумов. Поэтому, при самом. решительном отрицании ложного европейского индивидуализма, государство должно открывать путь к актуализации всякой личности, как соборной, так и индивидуальной.

Всякая личность, как индивидуальная, так и соборная, достигает полного раскрытия только как орган высшей соборной личности. Это справедливо и для огосударственной нации, индивидуирующей культуру, и для огосударственного суб'екта многонациональной культуры или народа, который жив и силен своею общечеловеческою, мировою миссиею (§2). И только через иерархический ряд личностей, из коих всякая высшая является согласованностью и единством низших, может личность стать действительным и живым органом такого целого, как культура. Лишь в этом случае взаимоотношения личностей могут быть реальными и конкретными, конкретно-личными, а всякая личность свободно развиваться. Но действительное бытие соборной личности, без которого невозможна и полнота индивидуально-личного бытия, необходимо предполагает внешне выражающуюся связь ее личностей-моментов, т. е. организацию. А так как мы не мыслим культуры-государства иначе как в смысле органического целого, ясно, что не должно быть каких-то внегосударственных

*) См. ст. *Н. С. Трубецкого* в № VIII «Евразийской Хроники».

организаций или об'единений, почто всякая организация должна быть и органом государства. Это не значит, что государственная власть насаждает искусственные организации: таким бюрократическим путем живые организмы не создаются. Государство лишь оформляет и закрепляет свободно возникающие об'единения, а в нормальном государстве и сами они свободно самовозникают, как органы целого, как «государственные», а не как индивидуалистически самодовлеющие. Это не значит, далее, что государство налагает на них обязанности без прав или дает им права без обязанностей. Государство признает их суб'ектами прав-обязанностей, имеющих публичный характер. Это не значит, наконец, что государство закрепощает свободные об'единения, ограничивает их свободу. Такое предположение естественно, если мы будем исходить из современного социального и политического строя Европы. Но оно вовсе не необходимое и не единственно возможное предположение.

Нормальная государственность предполагает прежде всего развитие и огосударствление местно-профессиональных (сельско-хозяйственных) и собственно профессиональных единств, огосударствление, конечно, не в смысле бюрократизации, чем грешит коммунистическая власть, а в смысле установления их функциональности по отношению к государственному целому и органического их в него включения. Таким путем легче всего преодолевается индивидуализм и разрушается фиктивная (но фактически весьма ощутимая по своим последствиям) антитеза государства и индивидуумов, как единственных выразителей социального целого*). Государство имеет свой последний упор не на индивидуума, а на ближайшую к нему, первичную социальную группу, на первичную соборную личность (§5). Первичные социальные группы, будучи живыми органами целого, входя, как живые клетки, в высшие иерархические социальные группы и чрез них в государственное целое, об'единяют индивидуумов и юридически, и политически, и культурно. (В этом смысле назва-

*) При индивидуалистическом миросозерцании эта антитеза совпадает с антитезою общества и государства. Если же индивидуализм преодолен, то антитеза общества и государства теряет, как мы увидим еще далее, всю свою остроту.

ние «профессиональный», разумеется, неудачно и, давая чисто внешний признак, не передает многообразия живого и культурного единства). Упор на социальную группу, на «социальный узел», а не на индивидуума вовсе не знаменует отрицания индивидуума или его «бесправия». Напротив, этот упор впервые дает индивидууму возможность не обособляться и гибнуть в борьбе всех против всех, а нормально развиваться, становясь самостоятельною и личною индивидуацией высшей личности. Этот упор наполняет формальную свободу индивидуума положительным содержанием, оберегая его силою социальной группы. Высшая личность, индивидуацией которой он является, для него не что-то далекое и отвлеченное, а нечто созидаемое и конкретно переживаемое им, он сам. Благодаря же иерархическому строению всего общества, благодаря органическому вхождению низших индивидуаций в высшие, и само государство уже не предстает, как неведомый Левиафан, но становится ощутимою и переживаемою реальностью. Вполне понятно, что при многонародном составе России-Евразии высшими после общегосударственного единства единствами и первыми его членениями должны быть единства национально-областные («нации»).

При нормальном развитии самой культуры народ является иерархически расчлененным организмом, в котором всякое целое составляется из низших целых, из него почерпающих свои жизненные соки и живущих как в себе, так и в нем. Только при этом условии и возможны органическая связь моментов в моменте высшем и вместе с тем непрерывность связи сверху и донизу, нормальное кровеобращение. Конечно, такое конкретно-реальное единство и есть единство государственное и обязательно выражается как государство и чрез государство. С точки зрения европейских представлений о государстве и европейской антитезы «государства» и «общества» это неизбежно будет воспринято, как предельный «этатизм», как неслыханное засилие государства. На самом деле, подобные обвинения нас ни мало не затрагивают; им мы смело противопоставляем связь евразийской идеи с правдою русскаго анархизма, конечно, отнюдь, не не считая себя анархистами. Мы ни минуты не предполагаем, будто современное европейское государство способно приняться за осуществление такой задачи иначе, как путем крайнего деспотизма. Только

чрез совершенно тираническую власть захватившей все в свои руки партии возможен для современного государства выход к новым формам государственности. Блестящими аргументами в пользу этого являются итальянский фашизм, и русская коммунистическая партия, к счастью, уже выполнившая в существе свою историческую задачу, т. е. ставшая ненужною для дальнейшего развития евразийско-русской государственности. Правда, русское государство и теперь еще вынуждено считаться с остатками индивидуалистической эпохи. Но само оно уже определилось, как не индивидуалистическое и не отвлеченно-универсалистическое (коллективистическое, социалистическое, коммунистическое). Поэтому оно и должно, устанавливая и осторожно проводя в жизнь принцип функциональности других сфер культуры, регулировать умирающую индивидуалистическую действительность.

На основе развиваемого нами учения о соборной личности сфера государства выделяется не по принципу одной из частных функций культуры, как все прочие сферы. Функция государства есть функция целого, как такового. Поэтому государство, будучи одною из частных сфер, соотносится с ними и как целое со своими частями. Сфера его определяется не в порядке функционального расчленения целого, а в порядке взаимопересечения частно-функциональных сфер. Правящий слой не такой же субъект, как субъекты хозяйства и духовной культуры; он как бы порождается ими для того, чтобы они чрез него над собою властвовали. Чрез признание всех соборных личностей относящимися к их единству и соотносящимися в их единстве создается естественное и органическое выделение из них «правящих» индивидуумов, которые соотносятся друг с другом сообразно соотношению выделяющих их социальных групп и, не теряя связи с ними, вовлекают их в государственность. Таким образом государство оказывается децентрализованным соответственно природному членению целого, благодаря чему оно должно быть соборным и не может сделаться деспотическим, т. е. выполняющим не соборную, а свою эгоистическую волю. Но вместе с тем, в силу иерархичности целого, государство и централизуется, т. е. объединяется и получает крепкую организацию, т. е. становится сильным.

Ведь государство в таком большом и многонациональном культурном целом, как Евразия-Россия, может только или быть сильным или совсем не быть. Даже самому пламенному (?) либералу (хотя это и «contradictio in adjecto») должно быть ясным, что *только единая и сильная власть способна провести русскую культуру через переходный период, канализировать и направить пафос революции*. Но либерал ошибается, если думает, будто великие и неслыханные по своему размаху задания русской культуры вообще когда либо осуществимы без такой власти. Чтобы остаться сильною, власть должна быть единою. В Европе попытка последовательно провести разделение законодательной и исполнительной властей закончилась жалкою неудачею, прикрытою бумажными фикциями. Обе власти сосредоточились в парламенте, который и законодательствует и «исполнительствует» при помощи выбираемых и свергаемых им правительств и многочисленных комиссий. Так может существовать только слабая власть и в действиях своих неумная власть. В самом парламенте голов больше, чем умов, а «умы» нейтрализуются взаимною борьбою и неизбежною при неорганизованности правящего слоя многопартийностью. Нужен иной исход.

Этот исход дан оформляющимся в России государственным строем*). Здесь нет принципиального разделения между властями исполнительной и законодательной, как нет и различия по характеру и об'ему власти между «советом» и его «исполнительным» органом. Вместо этого вступает в полную силу принцип полного «*замещения*» первого вторым в между-сессионный период первого, причем сессии первого кратковременны. Таким образом, «исполнительный» орган получает всю полноту власти, а ответственность его перед «советом» является не стесняющими каждый его шаг путами, а отчитыванием перед советом» за деятельность в целом и за за сравнительно длительный период. Но и совет не распыляется в мелочах видимостью государственного дела, не запутывается в «вермишели», но определяет *общие* линии и задачи политики и *общую* годность своего «исполнительного» органа. С другой стороны, советы низших степеней органически, чрез посредство своих делегатов, связи с ними не разрывающих, входят в высшие советы, так что существует как бы один совет, несмотря на его дифференциацию во множество иерархически излучающихся из него част-

*) См. *Н. Н. Алексеев* На путях к будущей России, Париж 1927, и его же статью в этой книжке «Временника».

ных, меньших советов, каждый из которых является не только органом высшего совета, но словно и им самим, «советом на местах».

Порядок вхождения низших советов в высшие путем *делегирования* первыми своих членов в высшие можно называть «многостепенными выборами» лишь условно и с оговорками. *Выборная* система характерна для европейской демократии; и для нее и в ней прямые выборы, конечно, справедливее косвенных или многостепенных. При системе же делегирования делегат является постоянным членом своего (низшего) совета. Он связан с другими его членами постоянною деловою работою и многообразными культурными связями. Он хорошо известен им всем, и, назначая его своим делегатом в высшем совете, они могут вполне оценить, насколько он способен быть выразителем их соборной воли даже в непредвидимых заранее случаях. В нем они выбирают не отвлеченную партийную программу, а *живую личность*, притом *личность, выражающую их соборное сознание*. Вступая в высший совет, он не перестает быть членом своего низшего совета, а в случае своего расхождения с ним может быть им и отозван.

Только на этих путях обеспечивается органическая и постоянная связь верхов государства с его низами. Только такая система связует все советы в один совет и позволяет народным низам выбраться из положения голосующей и при нужде прикармливаемой правителями скотинки, из положения, в которое европейская демократия загнала свои низы*). Всякий втягивается в живое государственное дело, а не в бесплодное философствование о безличных партийных программах; и само государственное дело выносит наверх наиболее активных и способных. Таким образом становится возможным осуществление основного принципа *демотии*, т. е. *оформление воли и «мировоззрения» целого организованным меньшинством*.

*) Один ретивый демократ сделал из этой фразы вывод, что евразийцы именно так рассматривают народ. Вот, значит, какое понимание свободы слова и печати воспитывает демократия! да еще у кого? — У человека, который называет себя философом и не стыдится нас обвинять в отрицании права! Из жалости к нему не назову его имени.

Либерально-демократическая психика определена верою в единоспасающее «laissez faire, laissez aller», т. е. верою в имманентную мудрость бессознательного натурального процесса. Все делается само собою, утверждает либерализм, либо склоняясь к мистическому упованию на эту мудрость, либо разочаровываясь и слюняво исповедуя бессилие человеческого разума. Конечно, бессилен разум, если под ним подразумевают то «нечто», которое порождает рационалистические выдумки «марксистов», коммунистов и демократов. Но ведь мы то говорим не о таком нечто, а о подлинном разуме. И в «натуральный процесс» входят сознательные усилия и акты человека, так что сам этот процесс, не будучи вполне свободным, не вполне и необходим. Много делается как бы само собою, очень многое, но далеко не все. Возможны разумное осмысление процесса и разумное руководство им без рационалистической узости и рационалистического высокомерия, особенно же теперь — когда взволнованная революцией стихия входит в свои берега и когда разумное овладение ею становится жизненною необходимостью.

Если так, то возможна единая культурно-государственная идеология. Ее не следует смешивать с идеологией партийною, ибо партийная идеология нечто совсем иное. Культурно-государственная идеология устанавливает основные принципы и задания культуры и ставит их в связь с переживаемым культурою моментом, являясь таким образом необходимою базою, на которой производится конкретная государственная работа и которая сама должна и может служить основанием для индивидуальных построений. Эта идеология не содержит в себе утопических планов будущего социально-политического устроения и не представляет собою детально разработанной, выдуманной в кабинете, но навязываемой жизни программы. Смысл этой идеологии в том, что она приобретает конкретность в самом живом государственном деле. Но она вовсе не сводится к ряду общих высказываний о «любви к отечеству и народной гордости», высказываний, которые находят себе столь жалкое выражение в беспринципной деятельности современных демократических правительств, определяющейся, как равно-

действующая партийной борьбы. Культурно-государственная идеология все же системна и конкретна, хотя и не детально и не безответственно конкретна, как всякая партийная программа; и культурно-государственная идеология, опять таки в отличие от партийной программы, требует постоянной своей конкретизации и потому постоянно поверяется действительностью. Сама действительность является тем регулятором, каким при господстве партийного министерства является давление других партий.

Возможна ли единая культурно-государственная идеология без насилия над свободою индивидуумов, естественна ли она? Но как же такая идеология невозможна и неестественна, если и культура едина и если едино олицетворяющее культуру государство? Если выражающая себя чрез государство культура является действительным единством, определяемым ее мировым заданием и, в конце концов, обоснованным абсолютно, если культура и государство не разваливаются, как может это единство остаться без внешнего выражения, т. е. без идеологии? А мы хотим строить и раскрывать нашу культуру не на индивидуалистических предпосылках и видим, что не на них она строится. Для нас Россия-Евразия не случайный продукт взаимной борьбы между нациями, социальными группами, индивидуумами, а живое, органически раскрывающееся целое. Как же может оно не обладать единою волею и единым миросозерцанием, не отвлеченно-едиными, конечно, а соборно-едиными? Отрицать это значит отрицать истину, хотя бы и в лукавой форме утверждения, будто истина непознаваема. Отрицать это значит быть или нигилистом или скептиком-релативистом. Но релативизм опять-таки характерен для европейской индивидуалистической культуры, а не для России. Он является следствием и проявлением эгоистического самоутверждения, которое пытается обосновать себя ложью — мнимою непознаваемостью истины, но в свою то «истину» верит, как в абсолютную, если, впрочем, не отказывается от всякого действия. Пора бросить либерально-демократическую расслабленность и коммунистический узкий фанатизм! Перед нами, русскими людьми, стоит ясно и резко поставленный вопрос. — Хотим ли мы строить великую и потому единую Россию и верим ли мы в будущее ее величие и единство? Если же да, так неужели мы не сойдемся на некоторых общих целях и задачах? Неужели, стремясь к единству, мы будем мечтать о многопартийности и борьбе партий, т. е. утверждать, что единства нет или

что оно неопределимо даже в основных своих чертах? Если мы так думаем, мы в творческом труде России участия не примем, но будем ему только мешать. Она-то, конечно, и тогда себя раскроет, только... не через нас и не нашими руками.

Единая культурно-государственная идеология правящего слоя так связана с единством и силою государства, что ее нет без них, а их нет без нее. Поэтому возражения против единой идеологии являются по существу возражениями против сильного государства, и обратно. Но, чтобы вполне оценить и устранить все подобные возражения, необходимо понять неизбежность их на почве демократического строя и индивидуалистически-демократического миросозерцания. В демократическом государстве «народ» сводится к голосующему время от времени и дезорганизованному населению, права которого сведены буквально на нет тем, что оно фактически только переизбирает предлагаемых ему и мало ем известных депутатов. Борющиеся же друг с другом на выборах депутаты могут за краткий период избирательной компании сбирать голоса в свою пользу только рекламою и заискиванием перед избирателями, т. е. широковещательными программами, да еще тем, что добьются включения себя в кандидатский список какой-нибудь влиятельной партии путем партийной, а не общегосударственной работы. Партии — удобное средство для учета и распределения голосов избирателей и единственное средство «как-то» организовать для выборов предварительно дезорганизованное население. Но это голосующее население с трудом может даже приблизительно понять партийные программы и отделить в них неосуществимые посулы от осуществимого и государственно-полезного. Ведь в политических правах народ до смешного ограничен и от участия в управлении страною фактически устранен. Государственная же идеология — редкая птица в демократиях.

Вся государственная власть сконцентрирована в небольшом и оторванном от народа правящем слое, на авансцене которого вертятся парламентарии и журналисты, а за кулисами вертят чуть ли не всем банкиры. Но благодаря существованию многолюдного парламента, учреждения неработоспособного, сконцентрированная в небольшой социальной группе государственная власть, по существу олигархическая, по имени демократическая, оказывается совершенно неорганизованною. И опять таки единствен-

ным средством некоторой ее организации является образование ряда политических партий. Именно множество партий обеспечивает всякую из них и весь правящий слой от установления в нем самом сильной власти, которая при оторванности правящего слоя от народа только и может быть «своевольною», т. е. деспотическою. В многопартийности для демократии (!) заключается единственная гарантия против деспотии. Но та же многопартийность позволяет каждой партии быть уверенною в том, что другие наверно не дадут ей целиком осуществить ее программу, и безответственно философствовать и украшать свою программу любыми посулами, любыми цветами красноречия. «Держите меня, а то я набезображу больше, чем русские коммунисты», взывает каждая партия ко всем другим. Только единство и сила государства от этого отнюдь не выигрывают. Напротив, государство становится исключительно непоследовательным в своих действиях и слабым. У него не может быть единого идеологического пути, ибо путь его — путь компромисса между многими отрицающими друг друга партийными программами. Этот путь очень хорошо иллюстрируется «коалиционными» и, особенно, «деловыми» министерствами. Партийные программы, сыграв свою роль, цинично прячутся в карман.

Таким образом демократическое государство обречено на вечное колебание между опасностью сильной, но деспотической власти и опасностью совсем не деспотического бессилия. Оно не может преодолеть своего бессилия иначе, как путем тирании, и не может спастись от тирании иначе, как слабостью. Поэтому и переходною формою от современного государства к лучшему неизбежно должна быть диктатура одной из партий, а одна из современных партий без сдержки со стороны других не может быть не деспотической, как показывают примеры коммунистов и фашистов. Органического (не революционного) перехода здесь нет и быть не может. Вполне естественно, что мысль о сильной власти или о единой государственной идеологии наполняет ужасом сердце всякого «демократа». Кроме того понятие единой идеологии в его ограниченное сознание, знакомое лишь с партийными программами, просто не укладывается.

Где и как возникают партийные программы? — Благодаря ненормальной концентрации государственной власти в небольшой олигархической группе создается особая вне-государственная пустота. Эта пустота заполняется

людьми, в серьезной политической деятельности не участвующими и политически безответственными, и противопоставляется «государству» как «общество», признаваемое настоящим и свободным культурным единством. И понятно, что безответственно живущие в этой вне-государственной пустоте люди могут без всякого опасения измышлять какие им угодно теории общества, государства, социального переустройства и т. д. Если даже они договариваются до самых диких фантазий, они, в большинстве случаев, уверены, что им никто не поверит и что ощутительного вреда их дикие фантазии не принесут. Уверены же они в этом еще и потому, что являются детьми индивидуалистической эпохи, которая просто не верит в истину, исповедуя релативизм, и, не видя единого государства, не имеет оснований допускать и единую идеологию. Душевно-умственное состояние таких теоретиков очень своеобразно. Его бы невозможно было допустить, если бы оно уже не существовало. — С одной стороны, теоретик не верит в общеобязательную истину и в истинность всякой, в том числе и своей теории; с другой стороны, он все чужие теории отвергает и непременно хочет построить свою. За неспособностью он иногда притязает даже на то, что первый пустил в оборот какой нибудь употребляемый другими термин. (За последнее время появились претенденты, правда, основывающие свои притязания не на фактах, а на чем то другом, на изобретение терминов «Евразия» и «демотия»). Таким образом теории и программы растут, как грибы после дождя, и «определяются бытием» — эгоистическим индивидуализмом европейского сознания, а иногда и мелким тщеславием.

Мы знаем уже, что демотическое государство, ныне оформляющееся в России, сочетает децентрализованность и органическую связь с народным массивом с об'единенностью и силою. В этом государстве нет об'ективных условий для появления многопартийности. В нем партии в европейском смысле слова просто не могут появиться. Даже в современной коммунистической России, где деспотически господствует одна из прежних (!) партий, создание многопартийности кажется возможным лишь потому, что с призраками партий борются коммунисты, невольно внушая мысль о реальности призраков. Призраки существуют, пока в них верят. Лишь только прекратится борьба с ними, как их нереальность сейчас же обнаружится. Но невозможность многопартийного режима в демотической России (не говорим уже здесь о его опасностях) повелительно

требует единой государственно-культурной идеологии. Не она уничтожает партии, а невозможность партий вызывает ее к жизни. С другой стороны, единая культурно-государственная идеология представляется нам необходимою еще и потому, что мы утверждаем примат культуры над государством, а культуру русскую определяем ее исторической миссией.

Проблема идеологии связана с проблемою единства государственной власти, равно и с тем, что государство не только вырастает из сферы хозяйственной, но и из сферы духовно-культурной, т. е. преимущественно идеологической. Из всего сказанного должно быть ясным, что демотическое государство по самой природе своей едино и сильно. В нем правящий слой несравнимо об'единеннее и организованнее, чем в демократиях, и потому природно предрасположен к единой идеологии. Как соборная личность, правящий слой предполагает свое возглавление или демотическое правительство. Однако это правительство в силу самой структуры правящего слоя не может совпадать с личным составом высших органов государства. Демотическое правительство должно прорезать правящий слой сверху и донизу. И во избежание вполне естественного смешения с правительствами обычного типа лучше всего и называть его как нибудь иначе, например — «государственным активом».

Вот этот то государственный актив, которому принадлежит в государстве руководящая роль, должен быть и культурно-государственным идеологическим об'единением. Он должен быть стержнем правящего слоя, вонзающимся в глубину народного материка, живым стволом, ветви которого прорастают всю толщу народной жизни. Он прорезает культурное целое и в вертикальном и в горизонтальном направлениях. И при соблюдении этих условий его идеология может быть действительно народною, а он сам — выражать народную волю. Как идеологическое об'единение, государственный актив, распространяясь за пределы правящего слоя и об'единяя вокруг себя и политически не активные элементы, т. е. уподобляясь «партии», основывается на бессознательной идеологии целого, ставит и решает проблемы, предлежащие целому. В нем — лаборатория государственного миросозерцания, на Западе выносимая во внегосударственную пустоту; в нем же государственное миросозерцание выливается в конкретную деятельность. Осмысляя и направляя ход государственной машины, он вместе с тем вводит в русло, упорядочивает и организует то, что

хаотически и бессознательно происходит в европейском правящем слое. Поэтому и нет партий, появление которых свидетельствовало бы о дефективности государственного актива и правящего слоя.

До сих пор мы называли и продолжаем называть государственный актив единственною правительствующею партиею. Тем, что она «единственная», уже исключается смешение ее с европейскими партиями. Их всегда и необходимо много. Каждая из них «часть» (pars) разделенного на многие части правящего слоя и мыслима лишь как соотносительная другим «частям» и потому относительная. Партии могут возникнуть лишь на почве парламентского строя и классовой борьбы, в конце концов — на почве релативизма. Единственная же «партия» связана с единым государством. Она может, при переходе от старого строя к новому, вырасти из одной из партий в старом смысле и долго сохранять их относительность и дурные качества (примеры — коммунистическая партия, фашисты). Но не в этом ее природа. Ее можно также назвать идеологически-политическим союзом или идеологически-политическою лигою, но подобные наименования не будут выражать ее организационного единства и действенности. Лучше всего, пожалуй, назвать ее идеологически-политическим или евразийским отбором.

9

Подчиняя государство культуре мы тем самым отрицаем эмпирическую возможность совершенных форм государственности. Государство могло бы стать совершенным, если бы стала совершенною сама культура. Совершенной же эмпирической культуры мы не только не знаем, но не можем даже ее помыслить. Это вытекает из данного нами в §2 определения культуры. В самом деле, эмпирическое совершенство культуры не совместимо с эмпирическим ее развитием. Допуская такое совершенство, мы бы должны были поместить его либо в прошлое либо в будущее, так как настоящее единой соборно-человеческой культуры, да и всякой частной культуры, очевидно, несовершенно. Но подобное предположение, в свою очередь, предполагало бы, что вся полнота и все развитие культуры сосредоточились в одном каком нибудь из ее моментов. А тогда бы не нужны были, не имели никакой цены

и даже не существовали все прочие моменты культуры. Тогда бы потеряла всякий смысл человеческая деятельность, а у культуры не было ни прошлого, ни будущего. Она бы перестала быть временною и развивающеюся, т. е. тою эмпирическою культурою, о которой мы говорим. Вера в возможность эмпирического «совершенства» культуры является незакономерным и наивно непродуманным смешением двух планов: эмпирического и метафизического. Это — засорение реальности дурною метафизикою и вредная утопия. Примеры — идеалы прогресса и коммунистического «рая» (в древности — понятие «золотого века»).

Поэтому можно и должно стремиться в действенном развитии культуры ко все новому и лучшему ее раскрытию; но не должно ставить целью развития какую то абсолютно совершенную форму культуры, не должно потому, что это просто невозможно и, следовательно, глупо. Стремиться же к новому и лучшему должно, ибо, если не появится нового, — не будет культура полною, а если новое не будет возможно лучшим — культура может погибнуть.

Эмпирически абсолютное совершенство культуры невозможно. Тем не менее осуществляющее ее общество всегда стремится, если только оно не поражено серьезною болезнью, к возможному, даже к предельному эмпирическому совершенству. Такое «совершенство» может быть лишь совершенством всякого момента развития и прежде всего данного, предлежащего и только потому доступного непосредственному воздействию момента. Ведь, чем менее развитым предстанет он, тем меньшего развития достигнут и целое культуры и все прочие ее моменты и периоды. В этом смысле здоровая культура живет настоящим, злобою дня сего. Однако, поскольку она осуществляется в целеполагающей деятельности, в создании нового, ее настоящее уже содержит в себе «завтрашний день», ее ближайшее будущее: в меру непосредственной связанности его с настоящим, его предвидимости и его основных линий. Будущее должно органически вытекать из настоящего, но не отменять и не обесценивать его, не разрушать его, как это происходит при всякой руководящейся отвлеченным идеалом будущего утопической деятельности идеологов прогресса или социализма. Так мы расширяем понятие настоящего культуры, «дня сего» данного ее момента, и противопоставляем нашу точку зрения как бессозна-

тельной, автоматической жизни изо дня в день, так и отрицанию настоящего ради гадательного будущего, утопизму, за которым скрывается наивная вера в возможность эмпирического совершенства культуры или, по крайней мере, полное непонимание того, что такое культура.

Однако, как ни очевидны заблуждения утопизма и как ни убийственны для него уроки истории, его никогда не удастся уничтожить одними эмпирическими аргументами. Он жив и силен исподтишною метафизикою, которую надо обличить и которой надо противопоставить явную и подлинную*). — Очевидно, что стремление к возможному совершенству всякого и прежде всего данного момента развития не лишено смысла только в том случае, если он не исчезает бесследно, а как-то (хотя и не эмпирически) сохраняется, если степень его эмпирического совершенства не безразлична для бытия всей культуры в эмпирическом и сверх-эмпирическом плане и если, стало быть, этот сверх-эмпирический план действительно существует, и притом так, что в качестве своего необходимого момента содержит и самое эмпирию. Можно выразить эту мысль еще и следующим образом. — Эмпирическое совершенство культуры невозможно, а сверх-эмпирическое ее совершенство, содержащее в себе эмпирию, и усовершающее ее, не зависит от наших эмпирических сил. Но от нас зависит, будет ли, есть ли само сверх-эмпирическое совершенство, ибо: если не будет эмпирии, — как оно будет? и если мы не будем стремиться к совершенствованию эмпирии, — как будет она? Мы стремимся к ее усовершению, и только этим, только идеалами и стремлениями нашими мы и живы. А это значит, что сверх-эмпирическое совершенство наверно есть. Оно то и предносится нам, являясь путеводной звездой нашей жизни. И его-то и смешивают, сами того не замечая, с эмпирическим будущим всякие утописты. Каждый из нас внутренно связан со своим совершенством, которое и является нашим идеалом, источником, смыслом и критерием нашей деятельности. И в том же смысле связана со своим идеалом культура, как и всякая индивидуация, всякий момент ее.

---

*) См. кроме цитированной уже «Философии Истории» мои «Диалоги», Берлин 1923, II «О прогрессе».

В идеальном, но более реальном, чем эмпирическое, бытии — основа и источник религиозно-нравственной деятельности. (Просто нравственной, автономно-нравственной деятельности совсем нет; и разговоры об автономной этике — плод философского недомыслия; ибо: раз этический идеал «абсолютен», он тем самым уже религиозен, а об относительном нравственном идеале и говорить не стоит). Совершенство личности, как индивидуальной, так и соборной, противостоит ей, как ее идеальное бытие, как ее «идеал», ее «абсолютное задание», истинная и единственно действительная ее цель, истинный и единственно действительный, хотя и не всегда правильно понимаемый об'ект ее желаний и стремлений. Но совершенство личности или «образ Божий», и есть ее единство с Богом. Поэтому религиозно-нравственная деятельность есть качествование личности, определяемое ее отношением к Богу. Для всякой и во всякой эмпирической и несовершенной действительности идеальное бытие не является чем то осуществленным, но только должным и осуществляемым, не установленным, а становящимся, вечно постигаемым и осуществляемым и тем самым конкретизируемым. Идеал не может быть выражен в каких либо конкретных определенных формулах, ибо он «осуществляется» (хотя в эмпирии и всегда неполно, частично), осуществляется путем развития данной конкретной действительности в новую, конкретную же действительность, которая, именно как новая и небывалая, до осуществления своего еще не действительность (эмпирическая), еще не конкретна, а потому и еще не познаваема конкретно. Но, с другой стороны, идеал не выразим и в отвлеченных, абстрактных формулах, ибо такие формулы — сеть, сквозь которую, как вода, протекает конкретность. В том и природа религиозно-нравственного идеала, что он реально существует и предносится нам, но до своего осуществления может быть лишь условно и приблизительно означен каким нибудь относительно (!) конкретным заданием («помоги этому несчастному») или общею, отвлеченною формулою, отрицательною («не убий», «не укради») либо даже положитель-

ною («любите друг друга», «любите врагов»). Лучше всего существо религиозно-нравственного долга выражается конкретным примером или притчею, в чём и сказывается симфоничность идеала.

Таким образом религиозно-нравственный идеал *нельзя адекватно выразить в нормах* и в «кодексе нравственности», хотя нравственность исторически нормативировалась и кодифицировалась (например, в Ветхом Завете). Последнее об'ясняется смешением ее с правом. Другою особенностью религиозно-нравственной деятельности является ее *свобода*, а потому отсутствие внешней санкции и принуждения. Принудительно никого сделать нравственным нельзя. Принуждение нравственно уничтожает и того кто принуждает, и того кто подчиняется.

Определим все таки (означим) основные религиозно-нравственные идеалы личности, и прежде всего личности соборной (ибо она *онтологически* первее), даже — высшей соборной личности (скажем — «человечества»).

Долг соборной личности заключается в том (ср. §§4,5), чтобы *соединиться с Богом чрез совершенное самоосуществление*. Это значит всецело отдать себя Богу или принести себя Ему в жертву тем, чтобы осуществить *себя*. Но для соборной личности самоосуществление не что иное, как самоисчерпание и, следовательно, самоуничтожение себя в своих индивидуациях (самоотдача, любовь). Вся соборная личность всецело, но специфически выражает себя в первой своей индивидуации для того, чтобы, перестав быть ею и в качестве ее погибнув, выразить себя в иной специфичности: как вторая своя индивидуация и т. д., пока она не исчерпает себя. Так, «уходя во множество», соборная личность погибает и отдает себя Богу, дабы в Нем воскреснуть и истинно быть над бытием и небытием.

Однако всякая индивидуация соборной личности есть сама она и потому в известном смысле даже единственная соборная личность, свободная, самодвижная. Поэтому ее религиозно-нравственный идеал — тот же самый идеал. Она, поскольку она и отлична от высшей соборной личности, отдает себя Богу чрез ее посредство, т. е. она тоже исчерпывает себя в свободных своих индивидуациях, которые и есть ее самоосуществление и самоуничтожение. Однако ее природа, как момента высшей личности, требует и новых форм ее религиозно-нравственной деятельности, определенных ее отношением 1) к самой высшей личности и 2) к другим индивидуациям последней.

По отношению к другим таким же, как она, индивидуациям высшей соборной личности, частная соборная личность осознает свой нравственный долг в том, что она существует и должна существовать, т. е. вполне индивидуировать к выразить себя, и ради них. Она должна за них «положить свою душу», т. е. жизнь, и в этом ее самоосуществление, ибо — как она «положит душу», если души у нее не будет? как отдаст себя, если себя не осуществит?

Отсюда ясно и отношение ее к высшей личности. Ведь, отдавая себя другим индивидуациям этой высшей, она осуществляет волю высшей, как свою свободную волю. Следовательно, по отношению к высшей личности долг ее в самоотдаче себя другим индивидуациям *ради* высшей личности, как *и ради* них она себя осуществляет.

Я думаю, что сказанного достаточно и что мы можем не усложнять анализа рассмотрением дальнейших индивидуаций высшей соборной личности и их взаимоотношений. Религиозно-нравственный долг любой индивидуации, а значит, и индивидуума, который тоже индивидуируется и вовсе не есть последняя индивидуация всеединства, мы определяем следующими положениями. — 1) Индивидуация должна осуществлять, т. е. жертвенно индивидуировать себя, ибо ради своего совершенства, которое есть единство с Богом, и, следовательно, всецело отдавать себя Богу; 2) индивидуация должна согласовать свою волю с истинною волею высшей личности и потому 3) осуществлять себя ради других индивидуаций («любите друг друга» и «больше сея любви никто же имать, да кто душу свою положит за други своя»); 4) индивидуация должна всецело отдавать себя своим (низшим) индивидуациям или своим «моментам», ибо это и есть ее самоосуществление и совершенствование. Если всякая индивидуация выполняет этот свой религиозно-нравственный долг, есть и совершенное всеединство, соборная личность сотворенного Богом мира. Говоря кратко, *всякая совершенная личность определяется полнотою ее любви к Богу и ко всем другим личностям, т. е. полнотою самоотдачи*.

Мне кажется ясным, что наше рассуждение не что иное, как изложение основ христианской нравственности, раскрывающей истинное существо мира. Если нам возразят, что христианский нравственный идеал не осуществим, мы предоставим возражателей их маловерию и выдумываемому ими абсолютному этическому идеалу, который отличается от христианского вовсе не своею осуществимостью, а своею языческою мерзостью. Всякий идеал эмпирически

неосуществим. Если нам возразят, что христианский идеал не осуществляется (конечно, частично и приблизительно) и даже противоречит существованию мира, мы без труда покажем, что мир и существует то лишь в меру осуществления им христианского идеала (в меру стремления его к своему совершенству). Но вот идеи «самоутверждения», самостоятельного в своей уединенности (в «гордом одиночестве») индивидуума, «индивидуальной личности», с которой многие ныне носятся, как курица с яйцом, у нас действительно нет. Да нам ее и не надо. Самоутверждение есть непроизвольное, спонтанное и неизбежное *следствие* самоотдачи и как бы дар Божий за нее. В этом и смысл открытой миру Христом тайны, против которой топорщатся и надуваются мыльные пузыри, разные «индивидуумы», не знающие того, что они такое, и не подозревающие, что скоро лопнут и смердеть будут.

Вполне естественно, что несовершенство и, в частности, эмпирическое несовершенство соборной личности осложняет религиозно-нравственную проблему. Несовершенная соборная личность останавливается и замыкается в своем становлении, не желая и не достигая ни полноты единства ни полноты множества. Вся она и всякая ее индивидуация отличаются тем, что, признавая получаемое ими от Бога за свое, самобытное, т. е. «хищением» равнялись Богу, надеются утвердиться в себе без самоотдачи, но утверждаются в себе, самозамыкаются и уединяются — ценою роковой и нежеланной самоотдачи, т. е. рокового погибания, ибо самоотдача остается необходимым условием всякого самоутверждения (§5). Так возникает несовершенная, дурная раз'единенность мира и становится неодолимым для него фактом. Религиозно-нравственная деятельность этим фактом, разумеется, эмпирически ограничена: она всегда эмпирически встречает некоторый предел в осуществлении идеала, предел, снимаемый лишь метафизически и метаэмпирически — Боговоплощением. В эмпирии религиозно-нравственная деятельность неизбежно направлена не только на самоотдачу, но и на преодоление греховного самоутверждения. Она приобретает характер самопреодоления и даже, так как эмпирически полное самопреодоление невозможно, ибо его ни соборная личность и ни одна из ее индивидуаций не хотят, — характер борьбы с собственным своим хотением, самообуздания. Это свойственно всей соборной личности и всякой ее индивидуации. Поскольку же мы рассматриваем их как множество, т. е. в их взаимоотношениях, относительный (хотя тоже всецело не осуществимый для эмпирии) идеал становится «*распределительным*», т. е. выражается в *идее справедливости**). Идея справедливости ставит грани самоутверждению, не отрицая его, как факта, напротив — считая необходимым его преодоление, но словно закрепляя некоторое его состояние, на почве которого такое преодоление может начаться, и *отражая* в несовершенстве само всеединство. Идея справедливости утверждает абсолютную ценность всякой личности и равноценность их всех независимо от иерархического положения. Она извне ограничивает самоутверждение каждого тем, что защищает от него других. Но вместе с тем она указывает каждой личности ее место в иерархии и таким образом выдвигает согласование их всех и нравственно определяет несовершенное целое, как единую соборную личность. И *только этим путем* делается возможною высшая религиозно-нравственная деятельность для несовершенной личности. В самом деле, я должен любить других, т. е. отдавать им себя *свободно*, ибо религиозно-нравственная деятельность есть деятельность свободная. Конечно, даже если меня оскорбляют, лишают всякой внешней свободы, убивают, я все же могу свободно подчиниться всему этому и сделать таким образом совершаемое надо мною насилие вполне свободным актом моей самоотдачи. Однако я, как человек несовершенный, на подобное напряжение моей воли просто неспособен. И очевидно, что, если не будет ограждена какая то сфера моей свободы, религиозно-нравственная деятельность станет для меня, человека морально среднего, прямо невозможною. Обратно: если мною самим или другими не будет поставлена какая-то граница моему эгоистическому самоутверждению и произволу, я сделаю невозможною религиозно-нравственную деятельность для других. Таким образом из глубины нравственного сознания, из понимания того, что нравственная деятельность должна быть свободною, и того, что *все* эмпирические личности несовершенны, возникает идея справедливости. Стремление к ней тоже свободный акт, возможный в силу реального единства всех людей и непосредственного осознания каждым онтологически первичного равенства всех и особого достоинства каждого. Сфера справедливости — низшая сфера нравственности, являющаяся необходимым условием высшей. Однако и эта низшая по сфере своего действия нравственность, нисколько не отрицающая высшей, а истекающая из нее и направляющая

*) Впрочем, надо заметить, что идея справедливости относится не только к сфере социальной, а и к сфере индивидуальной. Здесь она выражается, как гармония индивидуальной личности, как ее «целомудрие», которого, конечно, не следует смешивать с девством.

кней, не выразима в нормах и требует свободы, т.е. не совместима с каким бы то ни было принуждением.

11

Здесь перед нами и встает проблема права. — Эмпирическая соборная личность должна в меру возможностей своих эмпирически сохранить себя, как единство и как множество, т.е. согласовать свое единство с множеством своих индивидуаций, равно утверждая и первое, и вторых, и их иерархическое взаимоотношение. Иными словами она должна создать эмпирические условия своей религиозно-нравственной деятельности в эмпирии, найти внешнюю форму для выражения своей религиозно-нравственной воли. Из всего сказанного ясно, что, говоря о воле соборной личности, мы говорим о симфонической ее воле, почему всякие возражения с точки зрения насилия над индивидуумом неуместны и глупы. Фактически насилие появиться может, но принципиальной необходимости в его появлении нет. Говоря, далее, о воле, мы не отделяем ее от волящего суб'екта: она и есть он сам. Если же мы называем ее религиозно-нравственной и, следовательно, укореняем ее в Абсолютном, то тут нет никакого ограничения свободы, ибо воля религиозно-нравственна как раз постольку, поскольку она свободно согласуется с Абсолютным. С другой стороны, наша постановка вопроса устраняет многие недоразумения. — Нельзя сказать, что нравственность и право «ниже» соборного (и индивидуального) суб'екта и он их создает, ибо, во первых, они — он сам в своих качествованиях, а во вторых, они определены свободным согласованием его с собственным идеалом и Богом, абсолютно обоснованы. Но нельзя сказать и обратного, т. е. что он «ниже» их», и по тем же самым основаниям.

Итак: поскольку соборная личность определена своим религиозно-нравственным идеалом, а чрез него отношением своим к Богу и поскольку она (считая осуществление этого идеала должным и вместе с тем определяемая своею раз'единенностью,

как своим греховным несовершенством) стремится создать и создает эмпирические условия своей религиозно-нравственной деятельности, она обладает правовым качествованием. Право, следовательно обосновано абсолютно, истекая из идеи справедливости, правды. Но, в отличие от нравственности, право формально, определяя условия религиозно-нравственной деятельности, а не её самое, так что в формах права возможна и деятельность безнравственная. Поэтому оно охранительно. Оно может охранять данный религиозно-нравственный уровень общества и создавать условия для его дальнейшего развития, но не обладает творческими силами нравственности и не может сделать людей нравственно более совершенными.

В связи с формальным характером права стоит то, что оно может выражаться в отвлеченных формулах, как отрицательных или запретительных, так и положительных. Право нормативно, давая отвлеченные общие формулы должного, и в развитом виде предстает как система норм. Само рождение права связано с обобщением конкретно-индивидуальных актов, с отвлечением от полноты конкретности, т.е. с появлением общих норм. В этой нормативности второе отличие права от нравственности.

А с нормативностью права связано и сверхиндивидуальное значение правовых норм, их непреодолимость иначе, как в порядке изменения самой симфонической воли. Конечно, нравственное требование еще неодолимее; но здесь право и нравственность обнаруживают новое, третье различие. Норма права неодолима для соборной и индивидуальной личности, во первых, постольку, поскольку эта норма укоренена в идее справедливости, т. е. обоснована абсолютно. — (В этом, например, отличие основной сферы права от сферы правов и быта). Однако, так как право всегда выражается в норме, и всякая норма условна, правовая норма не обладает в конкретной своей формулировке тою же неодолимостью, как нравственное требование, нормативно невыразимое, но за то и не подверженное относительности всякой формулировки. Во вторых, норма права неодолима потому, что она является свободным волеизлиянием соборной личности, в котором эта личность и всякая ее индивидуация свободно себя связывают. То же самое, разумеется, есть и в нравственном требовании, но оно немыслимо без абсолютной обоснованности, а правовая норма (хотя бы в форме своего

выражения, практически же и по существу) мыслима. Далее, нравственное требование не принуждает, а в правовой норме — и в этом опять отличие права от нравственности — целое принуждает индивидуума или частную соборную личность, когда их самосвязывание остается бессознательным и неполным, например, — в случае непредвиденного индивидуумом следования данной нормы из другой, всецело принимаемой им. Правовые нормы обладают (в третьих) неодолимостью в силу принудительного их характера.

Итак право отличается от нравственности тем, что 1) связано непосредственно лишь с низшею сферою нравственности — с идеею справедливости, что оно 2) формально и охранительно, 3) нормативно и 4) обладает принудительным характером.

Определяющим и формулирующим право суб'ектом является сама симфоническая личность хотя и в соединении со своим религиозно-нравственным идеалом и Богом Без этого последнего условия право теряет принципиальную и абсолютную свою обоснованность и из права, обоснованного на справедливости, превращается в произвол, сохраняющий, в лучшем случае, лишь форму права, его мертвую оболочку. Так как соборная личность греховна и несовершенна, она может ошибаться в формулировании права и даже поддаваться своему произволу. Мы же знаем, что и без того сам акт формулированя неизбежно должен способствовать появлению ошибок. Поэтому во всяком положительном праве мы и найдем много противоречащего идее права и религиозно-нравственному идеалу. Отсюда вытекает практическая необходимсть — сохраняя идею и форму права, сделать их достаточно гибкими.

Соборность формулирующего права и им самого себя связывающего суб'екта устраняет неразумные вопли о насилии над индивидуумом, который ведь входит в состав этого суб'екта, как его живая и свободная индивидуация. На почве идеи соборности понятны существование и значение обычного права, процесс «правотворчества» и многое другое. Но указать на соборность и здесь остановиться значить остановиться на чем-то еще очень неопределенном. Надо уяснить, каким путем определяется право.

Мы знаем уже (§5), что симфоническое сознание и симфоническая воля находят себе преимущественное выражение в определенной социальной группе — в руководящем или правящем слое. Он же конкретно является и суб'ектом определяющим, формулирующим и санкционирующим положительное право. В силу органической связи своей с массами он в состоянии оформлять и, систематизировать инстинктивное и фрагментарное правотворчество, в силу преимущественного своего положения он сам способен к правотворчеству в духе культуры и к утверждению права. В органической же связи его с массами лежит гарантия того, что его правотворящая и правохранящая деятельность будет органическою, а не утопическою. В этой связи и в абсолютной обоснованности права заключается также и условие того, что сам правящий слой подчиняется праву, которое он только опознает и формулирует, но не «творит» в строгом смысле слова.

Обвинения евразийства в отрицании права и правового государства, причем всегда идея права незаконно смешивается с конкретным европейским правом, связайы с вопросом о «суб'ективных публичных правах»*). Выше (§§5,7) уже высказаны некоторые общие соображения и указана необходимость различать теорию права и государственное искусство, принцип и форму, с одной стороны, и материальное содержание формы, с другой (§§6,7). Полезно еще более отчетливо различать факт и его принципиальное обоснование, а равно учитывать и историческую обстановку, так как само собой разумеется, что вызванная революционной перестройкой общества неустойчивость социально-правовых отношений вовсе не представляется нам естественным или нормальным явлением. Здесь надо проводить четкое различие между революционным и переходным периодом, с одной стороны, и нормальным, «устоявшимся» порядком, с другой. В революционный и переходный период, когда новый правящий слой, новые формы государственности, сам идеологически-политический отбор только слагаются, когда возникают новая идеология и новое правосознание в обстановке катастрофической гибели всего старого, — действительно замолкают не только музы, а и право и прав-

*) Этот упрек обосновывают двумя рядами аргументов. — Одни выводят наше «отрицание» права из того, что мы защищаем сильную власть, и стремятся показать, что мы должны защищать произвол (а мы, вот, и не защищаем). Другие, построив *свою* теорию права отрицают нашу и только потому обвиняют нас в отрицании права. С тем же основанием всякий теоретик права может упрекать другого теоретика в проповеди бесправия. Но тогда вообще всякие разговоры о праве бесполезны.

да. Когда же установится нормальный порядок, сами собой исчезают эксцессы и болезненные явления. И сам переход от коммунистической партии к евразийскому отбору не связан необходимо с особенно болезненными явлениями. Дело совсем не в том, чтобы на место устойчивых отношений поставить неустойчивые, а в том, чтобы нормальную и необходимую устойчивость не абсолютировать в какой то раз на всегда Богом установленный порядок, жесткий и никаким изменениям не подлежащий, чтобы сохранить пластичность и гибкость форм и норм. Что же касается факта и его принципиального обоснования, так мы идем дальше наших противников, требуя не формальных только, а положительных свобод, самым решительным образом отвергая всякую попытку индивидуалистического их обоснования. Мы принимаем упрек, что наши суб'ективные права не являются абсолютными правами обособленного индивидуума. Но за то нас никто не сможет упрекнуть, что эти права остаются только формальными и на деле превращаются в удобные орудия для эксплуатации слабых сильными.

Всякий индивидуум (§3) существует и специфичен постольку, поскольку он специфически, по своему осуществляет целое (соборную личность). Он определяется двумя не отделимыми друг от друга моментами: своей специфичностью и своим отношением к целому. Без этих двух моментов индивидуума быть не может. Отбрасывая специфичность (а вовсе не просто нумерическую отличность), мы приходим к уничтожению индивидуума в абстрактно общем; отбрасывая отношение к целому — к разрушающему себя индивидуализму. Осуществление обоих моментов, как некоторого неразложимого двуединства, и составляет жизнь индивидуума. Оно — его цель, его долг, его обязанность. Возможность его — его право. Таким образом нет права без обязанности, и нет обязанности без права*). Притом право сопряжено с обязанностью уже в сфере самого индивидуального бытия, хотя их

*) Таким образом мы не согласны с *С. Л. Франком* (см. его статью в этом «Временнике»), выводящим право из обязанности; если, впрочем, здесь не чисто терминологическое недоразумение.

сопряженность и они сами определяются только чрез отношение индивидуума к целому и чрез раз'единенность целого на множество индивидуаций и индивидуумов. У индивидуума как такового, у «homo Hobbesicus» нет никакого права и никаких обязанностей. И ни то ни другие не могут даже возникнуть, если целое не есть нечто иное, чем сумма индивидуумов. У действительно существующего индивидуума, т. е. у индивидуума, как живого и свободного органа целого, есть зачаток права-обязанности. Но этот зачаток актуализуется только вместе с выходом индивидуума за границы суб'ективной сферы и становится правом-обязанностью эмпирического целого, внешне предстоя, как права-обязанности индивидуации по отношению к другим индивидуациям, единство которых и есть самое целое. Эти соображения применимы как к индивидууму, так и ко всякому частному целому, ко всякой соборной личности. И они должны найти себе закрепление в сфере политической, как в преимущественной сфере единства.

Иными словами, государство должно следить за тем, чтобы всякое суб'ективное право сочеталось с суб'ективной обязанностью, не выводя, однако, ни первого из второй, ни второй из первого, но — просто и ясно утверждая их неразрывность. Так как обязанность, в конце концов, есть обязанность по отношению к целому, эмпирически «олицетворенному» государством, утверждение необходимой связи ее с суб'ективным правом будет и утверждением функционального смысла всякого суб'ективного права. Такое утверждение отнюдь не делает его неустойчивым и произвольно от'емлемым: оно нерушимо и неприкосновенно постольку, поскольку суб'ект верен связанной с его правом обязанности. Более того — суб'ект «имеет право на право», поскольку он признает и приемлет свою обязанность*).

Таким образом положительное право должно быть гибким и меняться соответственно изменению жизни. Но в нормальных условиях оно должно быть устойчивым, ибо без такой устойчивости невозможны ни экономическое развитие ни политическая жизнь. С другой стороны, неизбежная изменчи-

*) Отсюда вытекают учения о *функциональной собственности* и о *регулирующей роли* государства в сфере торговли и промышленности. Первое кратко изложено в «Евразийстве. Опыт систематического изложения», подробнее развивается в данном «Временнике» *С. Л. Франком* и в подготовляемой к печати отдельной книжке; о втором см. ст. *П. Н. Савицкого*.

вость положительного права нисколько не умаляет самого принципа права, т. е. того, что право абсолютно обосновано и для развития культуры необходимо. Это выражается в том, что во всякий данный момент действующее право непреложно и должно быть осуществляемо, связывая и государство, которое его охраняет, и частные соборные личности и личности индивидуальные. Право изменяется не иначе, как в порядке изменения поддерживающей его симфонической воли, т. е. не иначе, как в установленной форме законодательствования, ибо право формально и в процессе своего раскрытия. Для охраны же действующего права, конечно, необходима здоровая организация суда, который его применяет. В независимости суда и получает выражение тот факт, что правом связано и само определяющее его государство.

12

Государство никогда не строится на голом месте и по заранее придуманному плану. Если и производятся когда нибудь попытки в таком духе, — они приводят к результатам только отрицательным. Развитие государственности является процессом органического ее роста, хотя бы иногда и протекающим в бурных формах революции. И государственное искусство заключается более всего в ясном понимании этого. Во всякой творческигосударственной работе надо исходить из уже данного и существующего и двигаться вперед не путем ломки и разрушения, а путем содействия тому, что здорово, и путем осторожных изменений и поправок. Такой здоровый реализм, такое признание факта, неудачно названное «фактопоклонством», являлись бы необходимыми даже в том случае, если бы организация современного русского государства оказалась преимущественно отрицательною. К счастью, дело обстоит существенно по иному. — За время революции органически создались (а не созданы коммунистами, которые были лишь плохими и бессознательными орудиями народной воли) основы новой русской государственности. Они нуждаются в дальнейшем развитии, в частичных улучшениях и поправках, в освобождении от пережитков старого, а среди этих пережитков прежде всего — от социалистического доктринерства всех видов и от тиранической коммунистической партии. Но все это — сфера органической работы, нуждающейся в уяснении принципов, исходящей из данного и в общем, удачно намеченного.

Наметившиеся основы новой русской государственности оправдываются нашими идеями. Она не потому приемлется нами, что мы просто признали факт, но потому, что факт в своем существе и в своих вероятных дальнейших возможностях совпадает с требованиями и выводами, вытекающими из нашей идеологии.

Основы соответствующего культуре России-Евразии государственного строя уже заложены. Этим облегчена задача нашего поколения, перед которым открывается не только борьба с коммунистическим засилием, искажающим создающееся, но и широкий простор свободной творческой работы. Россия выходит из стадии патурально-необходимых и стихийных процессов революции в стадию сознательного и свободного самоопределения. Признавая факт и учитывая его возможности, мы не считаем однако первого безусловно обеспеченным и вторых безусловно неизбежными. В этом ответственность нашего поколения, ведущего борьбу и против коммунизма и против других сил старой русской общественности за новое евразийско-русское государство. Мы не станем отрицать, что наша установка обусловлена верою — верою в Великую Россию; и мы знаем, что у верующего только один исход — или погибнуть или победить.

Л. П. Карсавин

Париж. 1927 Февраль.

СОВЕТСКИЙ ФЕДЕРАЛИЗМ

1

Среди многочисленных противоречий, которые обнаруживает государственное бытие современной России, едва ли не самым поразительным является противоречие между правительством *неоффициальным* — коммунистической партией — и *оффициальной* государственной властью советской республики, олицетворяемой ее многочисленными, не только обоснованными в законодательных текстах, но и в той или иной мере действительно существующими органами (как то С'езды Советов, Исполнительные комитеты, Советы комиссаров и т. п.). Как ни чужда теория ныне правящей в России партии положительному признанию государства, этого классового учреждения, предназначенного к неминуемой гибели в истинно коммунистическом строе, — однако практически коммунисты не могли обойтись без государственной организации, — и вот наперекор теории стихийно вырос в России советский строй с его во многих отношениях оригинальной структурой. Часто структуру эту считают просто ненужной декорацией, а истинное существо советского государства усматривают только в коммунистической диктатуре. Но сами коммунисты не могут обойтись без этой декорации, она стихийно вырастает из их рук, обнаруживает собственную природу, собственное лицо, собственные определяющие ее законы. Так постигается самостоятельная сила «идеологии» — и в частности государства, как «идеологического продукта» — в системе, которая всякую идеологию склонна считать простым рефлексом экономических отношений. И для людей, не стоящих на точке зрения марксизма, всего вреднее становиться «марксистами» и отрицать политические формы советского государства, утверждая, что в них ровно ничего нет, кроме коммунистической диктатуры.

Только принимая во внимание это основное противоречие советского государства можно правильно подойти и к проблеме советского федерализма. Если взглянуть на советский федерализм с точки зрения коммунистической диктатуры, то вопрос о его существе решается легко и даже просто снимается с обсуждения. — Советское государство управляется коммунистической партией, партия, как известно, построена чрезвычайно централистически, никаких федеральных или автономных частей у партии нет, нет никакого национального самоопределения, оффициальный язык у партии до последнего времени был даже русский, все в партии совершается по директивам центра, в центре стоит в качестве постоянного органа политбюро, — та «тройка» или «пятерка», которая управляет всем, — о каком же здесь федерализме можно еще говорить? Нет, Россия ныне самое унитарное и еще вдобавок самое централистическое государство. А все то, что советское правительство вещает о федерализме, о самоопределении народов, об автономии, — все это чистый обман, придуманный хитрыми людьми, для людей глупых. Однако, самая необходимость обманывать кого-то указывает на наличность известных физических и психических сил, с которыми коммунисты считаются тактически и стратегически, с которыми они ведут какую то дипломатическую игру и к которым как то приспособляются. Что же это за силы, с которыми нужно играть в федерализм? Причем играть и не всегда для коммунистов выгодно, ибо ясно, что при этой игре приходится уступать принцип международного рабочего интернационала принципу национальности, который в учении коммунизма никак идейно не содержится и который *из* него никак последовательно не выводится. И далее, так как эта игра результатом своим имела издание целого ряда норм и породила своеобразную административно-политическую организацию, то каковы же особенности названных установлений? Что догматически представляет собою советский федерализм с точки зрения действующего советского права? Похож-ли он на федерализм западный или нет? И может ли он вообще называться федерализмом? И, наконец, пожалуй самый интересный и животрепещущий вопрос: а что же, если коммунисты в силу тех или иных причин потеряют власть, их мероприятия, именуемые «федералистическими», падут вместе с ними. Ведь в настоящее время Россия получила новое административное деление, старые губернии в ней сохранились только частью, на место них возникли республики, автономные области и т. д. — что же все это должно исчезнуть по мановению ока нового правительства или даже без этого мановения, само собою? Или же всякое новое правительство принуждено будет считаться с мероприятиями коммунистов, как с фактом, принуждено будет принять этот факт за отправную точку своей новой политики? При этом должно ли оно будет совершенно не считаться с теми силами, с которыми считались коммунисты, или же и новому правительству придется также вырабатывать свою стратегию и тактику по отношению к этим фактам?

Иными словами по отношению к сумме тех явлений, которые называются «советским федерализмом», у всякого истинно реального политика, не закрывающего глаза на факты по той одной причине, что они ему не приятны и что он на них не желает смотреть, — возникают следующие три вопроса: 1) вопрос историко-социологический или вопрос о центростремительных и центробежных силах русской истории, обнаружившихся в течение революции 1917 г; 2) вопрос юридико-догматический или вопрос о содержании

тех норм и тех инстинктов, которые родились в процессе советского «федерального» устройства России и 3) вопрос политический или вопрос о ценности и целесообразности советского «федерализма» для возможного будущего правительства в России. Вопросы эти и будут предметом рассмотрения настоящей статьи.

2

Русская история слагалась из двух противоположных процессов, — центростремительного и центробежного, иначе, централизационного и децентрализационного. Справедливо указывают , что только первый привлекал преимущественное внимание историков, второй же до сих пор остался в тени, в качестве явления побежденного, служебного*). И только революция 1917 года снова вынесла децентрализационные процессы на поверхность русской общественной жизни. Между тем, процессы эти постоянно существовали, как скрытые, подземные , вулканические течения, нередко проявлявшиеся наружу и производившие немалые потрясения и смуты. Русское государство создалось колонизацией и завоеванием, — и было бы наивно думать, что население подвергнувшихся колонизации областей без всяких трений принимало русскую власть, и не питало самостийных стремлений. В эпоху Московской Руси, в тяжелые годы экономического кризиса конца XVI века даже само население Великороссии «брело розно», массами выселялось из центра и уходило в «дикое поле», на окраины. Тем более «розно брело» население колонизованных и покоренных Русскими областей. Дух местного сепаратизма долго жил у Татарского населения покоренного Поволжья; «мордва» и «черемисы» не раз пользовались случаем, чтобы поднять восстание против Московского правительства. Не раз с оружием в руках выступал против России и покоренный башкирский народ. Не без труда была покорена Сибирь с ее многочисленными инородцами. Присоединение Украины отнюдь не происходило гладко: украинская измена, «мазеповщина», была ведь выражением малороссийского сепаратизма. Польша в течение XIX века поднималась два раза против России. Сепаратистские мечты зрели и на покоренном Кавказе. Современники той эпохи Империи, в которую произошла ее стабилизация, привыкли судить об этих течениях в терминах оффициальных, петербургских настроений, считая их просто «крамолой», «смутой» и не придавая им серьезного значения. К сожалению, суждения эти и до сей поры в русской эмиграции являются широко распространенными и как бы самоочевидными. Российское единство принимается, как нечто само собою разумеющееся, а сепаратизм—как некоторая непонятная аномалия. Между тем, сколь ни досаден нам этот сепаратизм, он есть несомненный факт, с которым неразумно не считаться, говоря о будущих судьбах русского государства.

*) *Н. Н. Фирсов*, Исторические характеристики и эскизы, т. I, 1921 г. стр. 299.

Децентрализационные процессы русской истории иногда ощущались и правительством императорской России, которое обсуждало мероприятия, могущие предовратить их возможные в будущем и опасные для государства последствия. Так в проекте Государственной Уставной Грамоты 1820 года, предполагалось преодоление децентрализационных тенденций русской истории путем раздробления России на наместничества с тем, чтобы в число их превратить такие самостоятельные части Империи, как Финляндия и Польша. Это деление, по замыслу Уставной Грамоты, очень своеобразно отражалось и на составе верховных имперских органов: в числе их Государственный Сейм состоял из двух палат — из общегосударственного или общего Сейма и из Сеймов наместнических областей. Повидимому, проект не создавал особого федерального парламента, но сливал федеральное представительство с совокупностью наместнических Сеймов, противопоставляя их общегосударственному Сейму, как представителю Государственного единства *).

Но особое значение приобрел вопрос о децентрализационных силах России в истории революционного движения, начиная с декабристов. Декабристы выработали, как известно, два плана преобразования Империи, — унитарный и федералистический. На точке зрения унитаризма стояла «Русская Правда» Пестеля. Не вполне отличая федерализм от автономизма, Пестель указывал на слабость власти, как на основной недостаток государства федеративной природы. В особенности он считал невыгодным автономистический федерализм для России. «Что же в особенности касается до России —говорил он — «то, дабы в полной мере удостовериться, до какой степени федеративное образование государства было бы для нея пагубно, стоит вспомнить, из каких разнообразных частей сие огромное государство составлено. Области его не только различными учреждениями управляются, не только различными гражданскими законами судятся, но совсем различными языками говорят, совсем различные веры исповедуют; жители оных совсем различное происхождение имеют, к различным державам некогда принадлежали; и потому ежели сию разнородность еще более усилить через федеративное образование государства, то легко предвидеть можно, что сии разнородные области скоро от коренной России тогда отложатся, и она скоро потеряет тогда не только свое могущество, величие и силу, но даже может быть и бытие свое между большими и главными государствами. Она тогда снова испытает все бедствия и весь неизъяснимый вред нанесенный древней России удельною системою, которая также не что иное была, как род

*) *Г. В. Вернадский*. Государственная уставная грамота 1820 г. Прага 1925.

федеративного устройства государства» *). Исходя из этих соображений, конституционный проэкт Пестеля последовательно отрицал выражение федеративного начала в преобразованный по «Русской Правде» России. Во главе государства ставил он одну палату — *народное вече*, избранное окружными поместными собраниями и образующее единое всенародное представительство. Но вместе с тем по своему административному строению Россия, по проекту Пестеля, должна была развить систему широко построенного местного самоуправления на областной основе. Автор «Русской Правды» был последовательный защитник начала областного деления России, а не деления по принципу национальному**). Каждая область делилась у него на-округа, каждый округ на уезды, а уезды на волости. В каждой из этих трех последних территориальных единиц организовывались народные собрания, которые разделялись на *земские* и *наместные*. Первые созывались в волости и состояли из всех правоспособных граждан. Они обладали только избирательными функциями и расходились, избрав депутатов в волостные окружные и областные наместные собрания по особой пропорции. Последние же «занимались всеми делами, народному соучастию представленными». Как видно, области никаким особым представительством в верховных органах не обладали, что свидетельствует о боязни автора перед всякими признаками федерализма.

Федералистический проект государственного устройства был выработан Никитой Муравьевым. Согласно этому проекту, Россия делилась на области, приблизительно равные генерал-губернаторствам. Деление это также исходило не из национального, а из чисто территориального принципа.***). Области делились на уезды, уезды — на волости. Верховным законодательным учреждением было Народное Вече, состоящее из двух палат — из Верховной Думы и Палаты представителей. Первая выражала федеративное начало и состояла из депутатов от областных палат, по 3 от каждой. Вторая же была представительством общенациональным и состояла из депутатов, избранных по расчету: один представитель на 50.000 жителей. Таким образом в конституции этой явно выражено начало федеративное, обнаруживающееся в праве областей участвовать в законодательстве через своих представителей.

Несмотря на идейные расхождения этих проектов, оба они не возводят в принцип начало самоопределения национальностей и не связывают с ним вопроса о государственном устройстве России. Следует подчеркнуть, что подобное территориально-областническое направление в теории русского федерализма имело сторонников и в более позднюю эпоху истории русской интеллигенции. Один из виднейших деятелей украинского движения М. Драгоманов защищал идеи эти уже в конце 70, начале 80 годов прошлого столетия. По его мнению, излагаемому в проекте устава украинского Вольного Союза («Вільна Спілка»), Россия должна делиться на области «сообразно совокупности географических, экономических и этнографических условий»*) «Теперешние губернии», говорил он, «выкроенные для чисто административных целей и по канцелярским соображениям..., представляются единицами, совершенно неудобными для интересов земских». «Земская единица, средняя между уездом и государством, должна бы соединять в себе следующие условия: 1) обнимать собою края однородные по характеру земли и населения; 2) быть достаточно населенною, чтоб иметь средства для удовлетворения потребностей местных, но все же совершенно непосильных уезду; 3) достаточно обширною, чтобы ее представительство стояло в известном отдалении от более мелких дел уезда и в то же время, чтобы оно могло иметь вес перед Государством». Удовлетворяющей этим условиям земской единицей и является область**). Области должны делиться на уезды и волости. В каждой из этих единиц образуются думы и управы. Верховным законодательным органом являются Две Думы — Государственная и Союзная. Первая является общенациональным представительством, вторая выражает федеративное начало и состоит из депутатов, избранных областными Думами. Таким образом и здесь федеративное начало не соединено с принципом национального самоопределения, не смотря на то, что Драгоманов был убежденным сторонником украинской автономии. Но автономию эту он понимал,

*) *П. И. Пестель*, Русская Правда, СПБ, 1906, стр.

**) По проекту Пестеля, Россия разделялась на три «удела» (Столичный, Донской и Аральский) и на 10 областей — Чудскую (округа: Петроградский, Олонецкий, Гдовский, Вазский, Улеаборгский, Холмскую (округа Новгородский, Тверской, Псковский, Дерптский, Митавский), Северскую (округа Архангельский, Вологодский, Ярославский, Костромской, Пермский), Сибирскую (округа Тобольский, Томский, Иркутский, Якутский, Камчатский), Уральскую (округа Казанский Симбирский, Пензенский, Саратовский, Уфимский), Славянскую (округа Московский, Кляземпский, Рязанский, Тульский, Тамбовский), Вершинную (округа Калужский, Смоленский, Витебский, Черниговский, Орловский), Черноморскую (округа Киевский, Могилевский, Ясский, Херсонский, Одесский), Украинскую (округа Полтавский, Курский, Харьковский, Воронежский, Екатеринославский), Кавказскую (округа Астраханский, Георгиевский, Кавказский, Тифлисский, Дербентский). Столицу он предлагал перенести в Нижний Новгород — главный город столичного удела.

***) *М. В. Довнар-Запольский*, Мемуары декабристов, 1906, стр. 60

*) *М. Драгоманов*, Вольный Союз. Опыт украинской политико-социальной программы, Женева, 1884, стр. 9.

**) Ibid, стр. 45. Драгоманов предлагал разделить Россию на след. области: 1. Северная, 2. Озерная, 3. Балтийская, 4. Литовская, 5. Польская, 6. Белорусская, 7. Полесская, 8. Киевская, 9. Одесская, 10. Харьковская, 11. Московская, 12. Нижегородская, 13. Казанская, 14. Приуральская, 15. Саратовская (Нижневолжская) 16. Кавказская, 17. Западная Сибирь, 18. Восточная Сибирь, 19. Земля Казачья, 20. Области Среднеазиатския.

как культурное самоопределение в пределах территориальной экономически-географической единицы, составляющей естественную часть единого государства.

Принцип национального самоопределения, сколько мы знаем, был выставлен во всей его резкости впервые группой «Народной Воли», которая, однако не исходила из полного отрицания начала областного деления. «Народы» — говорится в программе этой партии — «насильственно присоединенные к русскому царству, вольны отделиться или остаться в обще-русском союзе»*). Вот лозунг, который сыграл огромную роль в идеологии революции 1917 г. Но в то же время, как утверждает программа, «русское государство, по характеру и условиям жизни населения, делится на области, самостоятельные во внутренних своих делах, но связанные в один общерусский союз. Внутренние дела областей ведаются Областными Управлениями; дела же обще-государственные — союзным правительством». Такова широкая и бессодержательная формула русского федерализма, этой основной заповеди русского революционного катехизиса.

С развитием революционного движения в России во второй четверти XIX в. и в первом пятилетии века XX принцип национального самоопределения начинает преобладать над принципом областничества. Русская революционная интеллигенция разных группировок начинает пробуждать и поддерживать децентрализационные силы русской истории, дремавшие в глубоких замиренных Империей настроениях различных вошедших в Россию народностей. «Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в состав государства» — таков один из основных пунктов программы, выставленной пожалуй наиболее популярным в России социалистическим течением СД**). Установление демократической республики «с широкой автономией областей и общин, как городских, так и сельских; возможно более широкое применение федеративных отношений между отдельными национальностями, признание за ними безусловного права на самоопределение» — таковы требования программы СР***). Не без влияния этих лозунгов создаются и чисто национальные революционные течения, которые питаются сепаратическим духом. Армянская партия Дашнакцутюн выставляет для Закавказья следующее требование в качестве программы minimum. — «Закавказье, в качестве демократической республики, является составною частью России — республики федеративной»****). Польская социалистическая партия (основанная в 1893 году), как говорится в ее программе, «стремится к созданию *независимой* демократической республики с целью осуществления социализма»*). Из других польских и литовских революционных партий «Социалдемократы в Польше и Литве» требовали не полного отделения, но широкой автономии, партия же «Пролетариат» считала отделение Польши только своей *позднейшей* задачей. «Литовская с. д. партия» хотела федеративного союза Литвы, Польши и России. Вообще в революционных кругах утвердился взгляд на Россию, как на «агломерат накраденных провинций»**), и спорили только о том, следует ли эти провинции просто отделить друг от друга или как то оставить соединенными. Еврейский «Бунд», который вовсе не предвидел особого блага от превращения Польши в самостоятельное государство, возражал против польских сепаратических тенденций, однако же не прочь был упразднить самое слово Россия. «Под именем Россия, говорил он — мы подразумеваем и те страны, которые русское правительство захватило в свои руки и в которых оно теперь хозяйничает»***). Сюда причислялись и Украина и Кавказ, и Курляндия, и Бессарабия — вообще все за исключением Великороссии. С теми или иными вариациями русские революционные партии высшим государственным идеалом считали тот строй, проект которого был начертан Брюссельским партейтагом с. д. в 1899 году и который об'являлся завершением полной демократизации государства». «Полную демократизацию — как сказал один из членов этого с'езда, Зелигер, — мы понимаем не только в том смысле, чтобы для каждой национально-территориальной области был создан законодательный корпус в малом масштабе, но также и в том, чтобы народ получил право выбирать своих чиновников и судей». Причем еще более совершенная демократия осуществляется тогда, когда государство превращается в сожительство совершенно автономных национальностей, независимо от их территории.

Таковы же формулы, которые господствовали в русском революционном сознании. Удивительно ли, что в момент революции соответствующие им процессы всплыли на поверхность жизни и стали актуальными силами русской истории начиная с 1917 года? Когда был произведен октябрьский переворот, перед большевиками стала труднейшая политическая проблема — вернее, клубок проблем: как наследники русской революции, они прежде всего были связаны лозунгом: «Россия — агломерат накраденных провинций»; в то же время им пришлось работать в среде, которая также была пропитана сходными настроениями и стремилась к разложению России; одновременно с этим большевики стали всероссийским правительством, которое стихийно не могло не принять точки зрения централизационной. Больше-

*) «Литература соц.-рев. партии Народная Воля», Женева, 1905, стр. 882.

**) См. Программа Р. С. Д. Р. Партии, принятая на 2-м С'езде, пункт. 9.

***) См. Программа, утвержденная первым С'ездом партий в 1905 г.

****) Программа Дашнакцутюна, Женева, 1908.

*) См. «П. П. С. о еврейском рабочем движении», Лондон, 1903, стр. 4.

**) Формулировка польской газеты Rabotnik, № 11, передовая статья.

***) П. П. С. о еврейском рабочем движении, стр. 10.

вики, как на это было не раз указано по программе своей вовсе не были сторонниками децентрализации и автономии*). Позиция классовой диктатуры толкала их скорее к централизму. Так перед правящей в России партией встала следующая запутанная и сложная задача: превратить агломерат накраденных провинций в союз «трудящихся и эксплатируемых» классов тех наций, которые входили в Империю, при условии соблюдения всех русских революционных традиций и проведения принципа большевистской диктатуры. Решением такой задачи и является учреждение политического образования, носящего имя СССР. В образовании этом многое родилось в результате осуществления сознательно поставленных целей, но многое появилось на свет, как продукт стихийных бессознательных массовых процессов, как продукт исторической и социальной необходимости. Многое из содеянного большевиками совершенно было бы любым правительством, если бы только оно в атмосфере 1917 года крепко стало у власти, но многое содеяно ими, как марксистами и коммунистами. Из этих двух наслоений сложился и советский федерализм.

3

Мы называем федеральным такое государство, отдельные части которого являются участниками в отправлении верховной государственной власти или суверенитета**). Таким образом верховным носителем власти в федеральном государстве необходимо должна быть коллегия, в которую части государства входят самостоятельными членами. Так Соединенные Штаты Америки являются государством федеральным, ибо во главе штатов стоит коллегия, именуемая конгрессом и состоящая не только из представителей всего населения (нижняя палата), но из представителей и отдельных штатов, избранных по два от каждого (Сенат). Так как законы в штатах издаются конгрессом, то в верховных законодательных функциях принимают участие через своих представителей не только американская нация, как целое, *но также и отдельные штаты Америки*, депутаты коих являются членами

*) См. мою статью в сборнике «Право советской России».

**) По выражению *Еллинека* в федеративном государстве «Государствам предоставлены права участия в осуществлении союзной государственной власти, так что отдельные государства повсюду являются органами союзной власти, что, по общему правилу, усиливает их политическое значение. Во всех республиканских союзных государствах одна из палат функционирует, как правительство государств.... В об'единении органов штатов в коллегиально организованный орган союзного государства выражается в частности его федеративный характер». Цитирую по имеющемуся у меня под руками русск. переводу: «Общее учение о государстве, СПБ., 1903, стр. 517.

Сената. Такое право участия штатов в верховных законодательных функциях и *делает государство федеральным*. Отсюда видно, что федерализм никак нельзя смешивать с децентрализацией или автономным самоуправлением. Государство может быть чрезвычайно централизованным, однако федеральным. Это означает, что отдельные части государства участвуют в отправлении суверенитета, однако в государстве не выделен никакой определенный круг вопросов, который бы решался самостоятельно частями, а не центром. И наоборот государство может быть построено на чрезвычайно широкой автономии частей и в то же время может быть не федеральным. Это значит, что громадные области государственного управления вынесены из центра на периферию, однако, составные части государства не являются самостоятельными соучастниками в образовании верховной воли или суверенитета*).

Обычно, особенно в новой европейской культуре, федеральные государства являются и государствами с широко развитой автономией, однако это вовсе не есть закон, а случайное стечение фактов. В действительности децентрализованный унитаризм так же возможен, как и централизованная федерация.

Поставим теперь вопрос о том, возможно ли Советское государство считать федеральным. Вопрос этот нельзя решить иначе, как утвердительно. Со времени учреждения Союза Советских Социалистических республик 30 декабря 1922 года и принятия текста союзной конституции 6-го июля 1923 года один из верховных органов Союза — Центральный Исполнительный Комитет — является составленным из двух палат: Союзного совета и Совета национальностей. Таким образом союзная конституция устанавливает нечто в роде двупалатной системы с тем, что одна из палат становится выразительницей обще-государственного принципа, другая — принципа федерального. Союзный совет избирается на всесоюзном С'езде Советов в пропорциональном отношении к населению союзных республик по особо установленным нормам. Совет же национальных республик, а также автономных областей и, именно, по пяти представителей от каждой из этих республик и по одному представителю от каждой области. Так как в промежуток сессий между Союзными С'ездами Советов верховная власть в республике пе-

*) Финляндия была напр., совершенно автономной частью Российской Империи. Она имела не только собственный законодательный орган, но и полную административную и культурную автономию-даже собственный язык. Об'единенными с Империей областями управления были только иностранные дела и военное командование. В сходном положении находились некоторые земли, входившие в Австрийскую Империю. Кроация имела собственный сейм, собственные суды, собственное право, собственную главу правительственной власти, собственный язык. Однако, никто не будет утверждать, что Финляндия или Кроатия находились в *федеративных* отношениях с Россией или Австро-Венгрией.

реходит к Центральному Исполнительному Комитету, то ясно, что участниками в образовании государственной воли являются в этот период времени отдельные части советского государства в лице членов Союзного Совета. Согласно советской конституции Союзный Центральный Исполнительный Комитет в лице двух его палат рассматривает и издает кодексы, декреты, постановления и распоряжения и об'единяет работу по законодательству и управлению. Ему, следовательно, присваиваются и законодательные и правительственные функции, причем конституция особо подчеркивает, что все декреты и постановления, определяющие общие нормы политической и экономической жизни Союза, а также вносящие коренные изменения в существующую практику его органов, обязательно должны восходить на рассмотрение и утверждение Комитета. Постановления, исходящие от Союзного Центрального Комитета имеют характер актов, обязательных на территории всего Союза. Равным образом, на всю территорию Союза простираются и широкие контрольные права Комитета, который может приостанавливать или отменять декреты, постановления и распоряжения всех органов союза, за исключением только постановлений Союзного С'езда Советов.

Таким образом, строение одного из главнейших органов советского государства неоспоримо имеет природу не унитарную, а федеративную. Во главе союза стоит коллегия, членами которой являются не только всесоюзные представители, но и *представители* отдельных частей Союза. Главнейшие государственные акты решаются совокупным участием целого и частей. Советская конституция ввела, стало быть, в государственную структуру России некоторое совершенно новое начало — начало участия отдельных частей Государства в образовании верховной государственной воли.

Мало того, подобное же чисто федеративное начало введено и в устройство другого высшего органа советского государства — именно, Президиума Центрального Комитета Союза. На этот орган, по советской конституции, переходят в промежутки между сессиями Центрального Исполнительного Комитета все права последнего. Он является таким образом в этот период времени высшим законодательным, исполнительным и распорядительным органом Союза. Он выбирается центральным комитетом из двадцати семи членов, причем так, что в него автоматически попадают президиумы, как Союзного Совета, так и Совета Национальностей. Таким образом мы снова видим, что части союза определенным образом участвуют в образовании верховной государственной воли через своих представителей, избранных в Президиум Союза Национальностей и являющихся членами Президиума Центрального Исполнительного Комитета Союза.

При наличии этих постановлений было бы несправедливым отрицать в Советском Государстве наличность федеративного начала*). Повторяем,

*) Как это делают *Н. С. Тимашев*, и *А. А. Боголепов*. Der Föderalismus in Sowjetrussland в номере «Archiv fur Rechts und Wirtschaftphilosophie» посвященном большевизму.

что мы утверждаем это, разбирая в данный момент вопрос о государственном строе Союза чисто догматически, с точки зрения положительного права и методологически удаляя с поля зрения вопрос о коммунистической диктатуре. С этими оговорками приходится сказать, что Советское Государство в своем писаном праве и в организации действующих по этому праву официальных государственных органов, утвердило начало федеративного устройства. Причем советский федерализм имеет совершенно особую природу, по сравнению с федерализмом западных государств, — природу обнаруживающуюся не только в самых принципах и способах об'единения советских республик, но и в особом отношении к началам централизма и децентрализации.

а) Если взять федерации, которые советское словоупотребление именует «буржуазными», то составными частями их всегда являются некоторые политические единицы определенные по национально-территориальному или просто по территориальному признаку, как, например, американские штаты или швейцарские кантоны или германские монархические государства, образовавшие Империю в 1871 году и т. д. Федерация и имеет целью своей «обеспечить внешнюю независимость этих государств», «поддерживать в них спокойствие», «улучшать экономическое положение» (Федеральная конституция Швейцарии 1874 г.), защищать союзную территорию и применяемое на ней право», «обеспечивать благосостояние народа» (Германская конституция 1871 г.) и т. п. Федеральное государство, в отличие от унитарного, стремится к выполнению этих целей путем допущения своих частей к осуществлению верховных государственных актов законодательства и, в некоторых случаях, управления. По внешней видимости и Советская федерация частями своими имеет такие же территориально-национальные политические единицы, — республики союзные, автономные и автономные области. Однако, это только внешнее сходство. Советское государство, по существу своему, не есть соединение государств, но соединение рабочего класса в них, — «трудящегося и эксплатируемого народа», как гласит советская терминология. Не государство, а класс — вот что является субъектом федерации. Поэтому в Советский Союз могут вступить только те политические единицы, в которых осуществлена «диктатура пролетариата» или вернее диктатура коммунистической партии. В федерации этой государство является не целью, но только средством для проведения некоторой другой, в сознании коммунистов более высшей цели, — освобождения угнетенных через диктатуру пролетариата. Не бытие государства само по себе, а наличность названной цели является принципом федерирования*). Если считать, что в основании системы коммунизма лежат некоторые, правда ложные, общественные идеалы

*) См. мою статью в «Праве Советской России, т. I

См. N. N. Alexejew, Die Entwicklung des russischen Standes in den Jahren 1923-1925, Jahrbuch des öffentlichen Rechts, Bd. XIV, 1926

(как то «борьба с угнетением и эксплуатацией», установление строя, в котором была бы обеспечена истинная, положительная свобода, в котором люди совершили бы «скачек из царства необходимости в царство свободы»), то основанием Советской федерации окажутся именно эти идеалы, а не интересы реально существующих политических единиц, вступающих друг с другом в федеральное единение. Советский союз есть таким образом союз, построенный на основе служения некоторым социальным принципам, которые все члены этого союза одинаково признают и принудительно осуществляют.

б) Входящие в союз федеративные части до последнего времени образованы были по национальному принципу. Здесь проявлялась широко проводимая коммунистической партией политика самоопределения национальностей, которую необходимо отличать от сходной с ней по лозунгам политики, вытекающей из известных принципов Вильсона. Для коммунистической партии нация, подобно государству, является средством, а не самоцелью. Не нацию, как таковую, стремятся освободить коммунисты, но «трудящихся» угнетенной нации. Национальное самоопределение служит таким образом целью для социального переворота. Национальные задачи каждого входящего в Советский Союз часто признаются только в той мере, в какой они соответствуют принципу освобождения трудящегося и эксплуатируемого народа. Принцип национальности, следовательно, ограничивается принципом социального идеала, который ставится выше нации и ее самостоятельного бытия. Таким образом правящая в России партия до сих пор осуществляла в широком размере политику самоопределения национальностей в пределах признания самоопределяющимися нациями коммунистического идеала. Впрочем, за последнее время в национальной политике коммунистов нельзя не заметить некоторого перелома. Создав в пределах Союза большое количество национальных республик и осуществляя в них национальное самоопределение вплоть до государственного признания местного языка, коммунисты таким образом, сами того не желая, способствовали пробуждению местного национализма, который не может не угрожать превращением в самостоятельную силу, иногда опасную самим началам коммунистической системы. Советская политика результатом своим имеет тот парадоксальный факт, что из рабочего интернационала родится самый настоящий, местный, провинциальный национализм. Ближайшие последствия его уже определились в жизни советского государства: самоопределившиеся народности, которые не всегда составляют большинство населения национальных республик, начинают проявлять национальный шовинизм, начинают угнетать, живущие в их пределах национальные меньшинства*). Это чрезвычайно

*) См. прения на 2-ой сессии союзного ЦИК'а третьего созыва в апреле 1926 года по поводу доклада Украинского Правительства. В своей речи по поводу доклада Ларин сообщил, что проф. Языковский приехал читать лекцию в Житомир на тему «Жил ли Христос», Ему не позволено было вывесить афиш, так как они были напечатаны по русски. Харьковский Исполком издал постановление, запрещающее в Харькове делопроизводство на русском языке между тем в Харькове 21, 5% украинцев и 50, 5% русских. «Я не боюсь за русскую культуру» — сказал Ларин — «Русская культура слишком могуча, чтобы она исчезла от запрета русской афиши в Житомире.. Я воюю за украинскую культуру. Я хочу, чтобы она была подлинно высокой культурой, а она будет не высока, если вы будете так терпимы к подобным выходкам»...

грозное явление, быть может одно из самых опасных для судеб не только Советского правительства, но и будущей России. Повидимому, учитывая создающуюся опасность, коммунисты в противовес своей национальной политике, выдумали систему нового районирования территории России. В результате районирования создаются крупные административные единицы уже не по национальному, но по экономически-географическому признаку, как то: Северно-Кавказский край, Сибирский край и т. д. Национальные, автономные области делаются простыми частями этих новых административных единиц. За последнее время в этой политике намечаются и новые тенденции. В октябре 1926 года декретом союзного Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров в пределах восточных владений образован Средне-азиатский Экономический Совет, которым объединены до известной степени в некоторое высшее целое Узбекская и Туркменская союзные республики с входящими в них автономными областями, а также и входящая в пределы Великороссии Киргизская автономная область. Постановление этого Совета в области экономической обязательны для государственных органов названных республик, поэтому в некотором смысле Совет стоит выше этих органов. Тем самым в устройство Союза вторгается новое начало, не нашедшее еще выражения в структуре высших союзных органов, однако же вносящее новый мотив во всю постройку Советской федерации*).

в) Из сказанного вытекают очень существенные последствия, касающиеся определения самого способа организаций Советского федерального строя. Всякое федеративное объединение государств требует некоторой однотипности государственного строя федеративных частей. Республики обычно федерируются с республиками, монархии с монархиями, — и это понятно, так как при разной природе государственного строя затруднительно провести начало соучастия государств в образовании верховной воли. Нелегко придумать такие верховные органы, в которых соучаствовали бы столь исторически противоположные начала, как монархическое и демократиче-

*) Отмечая этот факт, *Н. С. Тимашев* в статье напечатанной в газ. «Руль» в ноябре 1926 года, характерно противопоставляет: «Федерализация или районирование», предполагая, повидимому, что федерализация совпадает с национальным самоопределением, и исключая самоопределение областное. Конечно, это чистое недоразумение.

ки-республиканское. Однако однотипность политических форм отнюдь не исключает сравнительного разнообразия самих конституций у государственных членов. В Швейцарской федерации, конституции отдельных кантонов чрезвычайно разнообразны, так же, как разнообразны были монархические конституции Германской Империи, в которую даже вошли три государства-города республиканского типа (Гамбург, Бремен и Любек), так же как разнообразны конституции государств-членов современной республиканской Германии. Не то мы наблюдаем в Советской федерации. Здесь способ федерирования тесно связан с тем политическим строем, который, по мнению правящей партии, обеспечивает осуществление коммунистических принципов — именно борьбы с эксплуатацией и диктатуры пролетариата. Оттого государства-члены в советской федерации имеют не только однотипное, но и совершенно однородное, почти что тождественное политическое устройство. Советские конституционные тексты отличаются большим однообразием, все они построены по одному шаблону, который выработан был в Москве, в первой конституции РСФСР в 1918 году, служащей до сих пор трафаретом для всех других советских конституций. Точное усвоение известного политического устройства является необходимым условием советского способа федерирования государств: государства, вступающие в федерацию должны быть государствами советов и не могут иметь иных конституций, как конституций советских.

г) Далее, Советский федерализм есть федерализм ограниченный. Федеративное начало в Советском государстве умалено тем, что *над* «Советом Национальностей», как частью Центрального Исполнительного Комитета, стоит еще некоторый высший государственный орган, чисто унитарной природы. Это — Союзный С'езд Советов, иерархически наивысший орган Советской республики, избираемый на началах преедставительства всех советов, а не федеративных частей Союза. С'езд Советов утверждает на своем заседании избранный состав Совета национальностей и является конечной инстанцией для решения разногласий между Союзным Советом и Советом Национальностей. Это обстоятельство неоспоримо отличает Советский федерализм от федерализма американского или швейцарского, где выражающая федеративные интересы палата является органом, над которым не возвышается другой чисто унитарный орган*). Нужно, конечно, принять во внимание, что С'езд Советов фактически есть торжественное, весьма многочисленное собрание, которое по конституции собирается раз в год на несколько дней, а фактически много реже, никакой действительной работы не ведет и принимает общие резолюции. Декоративная власть Союзного С'езда фактически переходит к Центральному Исполнительному Комитету и его президиуму. Поэтому С'езд Советов несколько ограничивает федеративное начало в совет-

*) Но ни в коем случае не лишает советский строй федеральной природы, что повидимому, думает *А. А. Боголепов*.

ском государстве, но отнюдь его не отменяет. Фактическими деятелями в Союзе остаются Исполнительный Комитет и его Президиум, т. е. органы с явно выраженными федеративными началами. Можно таким образом, сказать, что Советский федерализм отличается тем, что в наиболее общих государственных вопросах общегосударственные интересы целого ставит впереди интересов его отдельных частей.

д) Не меньшими особенностями отличается и отношение Советского федерализма к проблеме автономии и децентрализации. Советский Союз являет собою как раз пример федерации, которая отнюдь не построена на широком самоуправлении отдельных, входящих в Советское государство частей*) Даже более, начало самоуправления вообще чуждо советской теории и советской практике, на что не раз указывали советские юристы. В Советском государстве нет такой области жизни, управление которой входило бы в компетенцию не государства, а каких то самостоятельных самоуправляющихся корпораций, каких то публично-правовых юридических лиц, как то земства, города, университеты, церковные организации и т. п. В административном устройстве Союза самоуправление совпадает с управлением. Городской или сельский совет, волостной, уездный или губернский исполнительный комитет не суть органы самоуправления, но такие же органы государства, как и любой центральный орган, напр. Союзный С'езд Советов или Союзный Совет Народных Комиссаров. Поэтому если вообще можно говорить в советском государстве о децентрализации, то только в смысле административного устройства, а не в смысле местной автономии. Можно ставить вопрос, какая система преобладает в Союзе — административный централизм или административный децентрализм, но говорить о «самоуправлении» в Советской России вообще нет смысла. Особенности административного устройства Советского Государства вытекают прежде всего из того начала «заступления» одного органа другим, на которых покоится весь советский государственный строй и которое резко противоречит принципу «разделения властей» или специализации функций. Отношение между центральными органами Союза, органами входящих в Союз республик и местными органами тех административных единиц, на которые разделены республики, строятся не на основе разделения компетенций, принадлежащих каждому из этих органов; напротив того, сфера компетенции союзных органов — чрезвычайно широка; в нее входят почти все вопросы государственной жизни, за исключением очень немногих специальных; но в то же время и область компетенции органов союзных и автономных республик также довольно широка, как широка и область компетенции органов местных. Доводя этот способ организации управления до парадокса, можно сказать,

*) О последующем смотри подробнее мою статью, посвященную характеристике деятельности местных органов СССР в последнем номере журнала «Вестник Самоуправления».

что, по крайней мере, в принципе, каждый сельский совет «обладает такой же властью», как, скажем С'езд Советов Союза. Конечно, на практике это не представляется осуществимым, и, волею неволею, Советская система принуждена прибегать к введению некоторой специализации функций, не проведенной, однако, столь последовательно, как это проводится в «буржуазных» государствах. Последствием описанного способа взаимоотношений между органами Советского целого и Советских частей является прежде всего, то, что центр обладает громадными возможностями в смысле издания общих правовых норм и установления общих начал политики. С этой стороны Советская система чрезвычайно централистична: нет такой области государственной жизни, на которую Союз не мог бы влиять своим законодательством. Местное законодательство допустимо только постольку, поскольку центр не выставляет общих норм и не устанавливает общих начал. А так как кроме того центральные органы союза имеют широкое право отмены постановлений, изданных всеми органами союзных республик, высшие же органы последних имеют в свою очередь право отмены постановлений всех местных органов, то централизм в области законодательства получается полный и завершенный. В то же время начало заступления допускает в сфере управления довольно широкую административную децентрализацию. В Советской системе какой нибудь губернский или уездный исполком не является слепым исполнителем выбравшего его С'езда Советов, но чрезвычайно сильной, наделенной в широкой мере свободным усмотрением властной единицей. Несколько вульгаризируя эти отношения можно сказать, что в области управления Советским государством широко действует следующая норма: каждый правительственный орган может делать все, что угодно, поскольку это не противоречит общим законам и общим принципам советской политики и поскольку эти акты не отменяются или не приостанавливаются постановлениями высших органов. Подобная норма значительно децентрализирует советский административный аппарат. И действительно, по сравнению с аппаратом Российской Империи его нельзя не признать децентрализованным. На месте губернаторов, которые являлись агентами министерства внутренних дел, в настоящее время действуют окружные и губернские исполкомы, компетенция которых шире и независимее губернаторской. Тем более это нужно отнести к уездным и районным властям: соответствующий исполком не сравним по своей компетенции со старым исправником. Шествуя по административному делению Советской России вверх, нельзя не наблюдать того же процесса: созданы самостоятельные центры власти в автономных областях и республиках и в республиках союзных. Россия по писаному праву не управляется из Москвы, как она ранее управлялась из Петербурга. Если Москва и продолжает быть центром, то в смысле *власти неофициальной* — диктатуры партии.

4

Мы переходим в заключение, к вопросу политическому, — к вопросу о ценности и целесообразности тех начал, которые отличают советский федерализм. Политически мы исходим из того постулата, что прежде всего в России должна прекратиться коммунистическая диктатура и на смену марксистской классовой политики должна придти политика, руководящаяся защитой справедливых интересов тех народов и социальных групп, которые исторически связаны совместною жизнью на географических пространствах материка, именуемого Россией*). Для такой политики отнюдь не обязательно отказаться от известного советского лозунга: «защита угнетенных и эксплуатируемых». Напротив, по нашему глубокому убеждению, этот лозунг всецело соответствует христианским идеалам русского народа и должен быть честно принят всяким будущим правительством России. Только при принятии этого лозунга можно расчитывать на широкое признание правительства со стороны народных масс. Правительство должно об'явить, что оно все силы свои положит на борьбу за этот идеал социальной правды и и справедливости, однако же в осуществлении его, решительно пойдет *иными путями, чем коммунизм*, не только не освобождающий людей, но несущий с собою еще более ужасное порабощение и гнет. Принимая этот лозунг, будущее русское правительство об'являет себя следовательно хранителем не только христианских идеалов, но и идеалов русской интеллигенции, боровшейся за угнетенных, начиная с эпохи декабристов. Правительство возлагает таким образом на себя великую русскую миссию, — миссию социальной справедливости и правды, во всем сознании ответственности этой задачи и трудности ее осуществления. И во имя этого идеала оно об'являет себя правительством тех народов, которые признали эти идеалы и об'единились в Союз для защиты угнетенных и эксплуатируемых. Таким образом сохраняется основа федерации народов России: их общее стремление к социальной правде (ср. пункт «а» предшествующего параграфа); но отбрасываются ложные, всем опротивевшие, принесшие столько зла теории марксизма, — теория классовой вражды и призрачного освобождения через присвоение орудий производства и земли единому хозяину — государству, деспотизмом своим превосходящего каждого капиталиста.

Тем самым решается вопрос об отношении будущего правительства и к национальной проблеме. Известный лозунг «самоопределения национальностей», как это показал опыт, менее всего несет с собой покой и мир. Напротив он раз'единяет, таит в себе глубокую и опасную стихию разложения и вражды. Увлеченные этим лозунгом народы, как в каком-то бреду, уничто-

*) Подробнее в моей брошюре.

жают истинные устои своего экономического существования, ставят себя в явно невыгодное положение и не считаются со своими реальными интересами. Вообще увлечение крайним , исключительным национализмом есть скорее злое, чем доброе дело. Не из крайнего-ли национализма проистекали зверства в период великой войны? Не таким-ли национализмом питается ненависть некоторых интеллигентных украинских кругов ко всему русскому? Нет, наша русская культура слишком велика, чтобы питать *такой* национализм.

Национальность есть великое дело, но отнюдь не высшая из ценностей. Особенно должны понять это мы — носители русской культуры, ибо русская культура и замечательна тем, что она была *более, чем национальна*. Говорится это, конечно, не в смысле учений современного интернационала, которые несут с собой столько же зла и столько же вражды, как их духовный отец — марксизм. Не «интернациональна» русская культура, но *сверх-национальна* и *«соборна»*. Велика она тем, что сумела воспитать в себе истинно «вселенское» начало,—сумела воспринять великие идеалы Востока и соединить с пониманием идеалов Запада. То, что Белинский говорил о Пушкине: что он «обладал мировою творческою силою», что ему «не довольно было своего отечества», что ему оставалась целая Европа, т. е. целое человечество»—все это можно отнести и к русской культуре вообще. А между тем, сколь, в то же время, «национален» был Пушкин. Русский национализм поэтому менее всего питает в себе национальный партикуляризм, и, конечно, русское государство менее всего призвано к тому, чтобы принцип национального эгоизма сделать основным принципом своей политики, иными словами, чтобы разжигать в душах других народов то, над чем русский народ поднялся и через что он перешагнул. Но сказанное в то же время не означает, что об'единенное одним идеалом русское Государство не должно признавать права других народов на самостоятельную национальную жизнь. В этом отношении будущее Русское правительство должно дать себе ясный отчет в ошибках самодержавия, которое вело часто политику ненужного и раздражающего обрусения. Входящие в Россию народы должны получить полную возможность развить свою индивидуальность и внести свой дар в общее союзное дело. Для русской культуры возникает благодарная задача принять в себя соборное богатство свободно развивающихся ценностей других союзных народов. Поэтому нормой русской политики должно быть следующее положение: полная культурная автономия народов России, но не разложение их на самостоятельные политические единства, враждебные друг другу и питающие дух национального партикуляризма и сепаратизма. Отсюда следует , что рациональная политика Советского Государства должна стремиться к постепенному преобразованию своего федерализма из национального в областной. Принципом федерации должна быть не национальность, но реальное географическое и экономическое целое в виде области или края. Конечно, такое целое необходимо должно быть или стать и *культурным* целым, во

многих же случаях совпадает с национальным. Но оно может быть и более широким, чем национальное. Совет Национальностей должен быть постепенно преобразован в Совет Национальностей и Областей (ср. пункт «б» предшествующего параграфа)*).

При способе федерирования на почве общего социально-политического идеала особо благоприятным явлением нужно считать ту однообразную политическую систему, которая проведена по всем частям Советского государства. Советы с их одинаковой архитектоникой являются мощным орудием об'единения национальных и территориальных частей, входящих в Советский Союз. Было бы прямым безумием отказаться от этого об'единяющего начала, составляющего как бы единую систему клеток всего государственного организма советской республики. Каждое правительство поставит себя перед бесконечным количеством новых и неожиданных затруднений, коль скоро попытается отменить систему советов, которая так или иначе уже стала привычной и которая к тому же вполне способна к усовершенствованиям в духе развития начал истинно народного самоуправления. Поэтому за однородность политического строения советов следует держаться , как за великое преимущество (см. пункт «в» предш. параграфа).

Что касается до внутренней структуры советского федерализма, то прежде всего, при уничтожении коммунистической диктатуры, федеративное начало Союза может получить гораздо более определенные выражения. То умаление федеративного начала, которое обусловлено первенством Союзного С'езда Советов, может быть легко исправлено при общем преобразовании советской конституции. С'езд Советов есть учреждение громоздкое, чисто декоративное, — и большой вопрос еще, сохранится ли в будущем практика созыва постоянных С'ездов. Если даже она сохранится, то во всяком случае С'езды не будут созываться ежегодно и компетенция их будет строго определена. Всего же вероятнее, что С'езд Советов превратится в учреждение чрезвычайное, созываемое в случаях особо важных. В таком качестве С'езд Советов мог бы заменять западно-европейскую практику референдума едва ли плодотворного при условиях русской государственной жизни. На обсуждение С'ездов ставились бы чрезвычайные вопросы в особом порядке инициативы. Такая эволюция С'ездов очень мало отражалась бы на проявлениях федеративного начала в Союзе. Само собою разумеется, что при указанной эволюции С'езд Советов уже не мог бы быть органом конституирующим Центральный Исполнительный Комитет. Этот последний должен был бы выбираться не С'ездом, а самими советами или их органами — и носить название Центрального Исполнительного Комитета *Союзной* в его двух палатах — общесоюзной и областной (ср. пункт «б» предш. параграфа).

Подходя , наконец, к вопросу об отношении советской системы к пробле-

*) Подобную политику совершенно резонно рекомендует *Крамарж*.

ме автономии и самоуправления, нельзя не вспомнить вышеприведенного мнения декабриста Пестеля. При громадных пространствах России и при чрезвычайном разнообразии населения широкое развитие автономности просто означало бы распадение государственного целого. Поэтому для России всего менее пригодна система крайней децентрализации, которая проповедывалась и даже осуществлялась нашей революционной интеллигенцией. Для целостности России нужен некоторый централизм, — и в этом смысле Советская система создала целый ряд условий, прививших централистическое начало охваченному революционным процессом русскому государству. Централизм этот был создан в сознании необходимости коммунистической диктатуры, однако он стихийно породил теперь государственную структуру, которая вовсе не вытекает из принципов марксизма. Некоторыми преимуществами ее не может не воспользоваться всякое будущее русское правительство. И в частности упорно проводимое коммунистами начало централизма в законодательстве и в установлении «общих принципов» политически является совершенно соответствующим условиям русской жизни. То, что коммунисты говорят и делают в интересах коммунизма, нужно говорить и делать в интересах России. Если правящая партия настаивает на правах Союза устанавливать «общие принципы» уголовного права или судоустройства, то спрашивается, какое же разумное правительство не настаивало бы на этом, если бы оно только не вело политику насаждения сепаратизма? Совершенно целесообразно также и введение той административной децентрализации, которая отличает советскую Россию от России императорской. России вообще нужна сильная власть на местах — в особенности же она нужна в революционную эпоху. Поэтому создание мощных центров власти на периферии государства является мероприятием вполне отвечающим государственным интересам. Остается общий вопрос о распределении компетенции между центральными и местными органами, так же как и между местными органами различного порядка. Общий советский прием, на основе которого отрицается специализация компетенций и утрируется система «заступления», едва ли может быть признан вполне удачным решением названной проблемы. Специализация функций стихийно родилась в Советской системе, несмотря на несовместность ее с марксистской теорией государства. По пути дальнейшего усиления этой специализации должно идти дальнейшее развитие Советского законодательного и административного аппарата. Каждому органу должна быть присвоена собственная сфера деятельности, строго определенная и строго очерченная законом, — порядок, который обезвредит ныне господствующий советский административный произвол и поставит советское государство на дорогу истинной закономерности и права*).

Таким образом приходится заключить, что при наличии децентрализа-

*) Подробнее см. в моей брошюре.

ционных процессов в России, особенно обнаружившихся в революции 1917 года, форма федерализма, которую можно назвать советской, обладает целым рядом преимуществ, не достаточно оцененных современной политикой. Политика эта при оценке советского федерализма, обычно, строит такого рода суждение: советский федерализм не похож на федерализм западный, а потому он вообще не может быть назван федерализмом и должен быть признан системой дефектной и ничего не стоящей. При этой оценке громадную роль играет скрытое допущение: западный федерализм и есть настоящий, нормальный, следовательно, то, что от него отступает, должно быть признано отступающим от нормы. Между тем условия политической жизни России и государств западной культуры — весьма различны, и нормальное для Запада, может быть совершенно не пригодным у нас. При наличии в России децентрализационных процессов было бы прямым безумием с ними не считаться, полагая, что их следует подавить просто оперативным путем. Оперативный путь пригоден только в крайностях, нормально же любые обнаружившиеся в государственной жизни процессы надлежит подвергать чисто органической обработке, приспособляясь к ним и вводя их таким путем в желаемое русло. Безумием было бы, если бы будущее правительство России повторило по отношению к децентрализационным процессам все ошибки самодержавия и все ошибки белого движения. Но не меньшим безумцем нужно считать и того, кто, придя в современную Россию, применяя в ней федералистическую программу в стиле старого российского радикализма — попытается перестроить Россию на манер Соединенных Штатов Америки, а то и еще более «передовым» образом, — на манер вышеупомянутых австрийских проектов. Для реальной политики за точку отправления следует принять не заветы отживших эпох и не радикальные бредни, но ту фактическую ситуацию, которая уже создалась, ту постройку, которая стихийно выросла. Извлекая положительные стороны стихийно создавшегося, мы приобретаем наиболее надежную опору для построения будущего здания Российского государства.

Н. Н. Алексеев

СОБСТВЕННОСТЬ И СОЦИАЛИЗМ

> У множества уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, но у всех было общее.
>
> Некоторый же муж, именем Анания ... продав имение утаил из цены ..., а некоторую часть принес и положил к ногам Апостолов. Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли. Чем ты владел, не твое ли было, и приобретенное продажей не в твоей ли власти находилось?
>
> Деян. Ап. 4,3,5,4.

1

Социалистический эксперимент, произведенный над Россией, жизненно-опытно доказал несостоятельность социализма и, следовательно, элементарно очевидную необходимость строя, основаннаго на частной собственности. Эта жизненная очевидность отныне — превыше всякой теории и всяких доказательств. Те немногочисленные упрямцы староверы, которые не хотят признать этой очевидности суть безнадежные педанты-книжники, которые не по фактам оценивают теории, а из тупого пристрастия к теории, ставшей для них священным догматом, не хотят видеть очевидных фактов — подобно тому, как некий схоластик, которому предложили через телескоп увидеть пятна на солнце, не захотел их видеть — потому что у Аристотеля ничего о них не сказано.

Но удостовериться в очевидном факте еще не значит все же тем самым и понять его, включить его в логическую согласованную систему понятий, открыть его внутреннее основание. И в душе современнаго человека, в особенности русскаго человека, неудержимо возникает вопрос: как понять этот факт, как согласовать его со всем нашим религиозно-нравственным и социально-философским мировоззрением. То, что выяснилось с полной очевидностью на злосчастном русском эксперименте, есть собственно элементарная экономическая необходимость частной собственности и гибельность принудительной социализации. Для экономиста или для людей, заинтересованных только в экономическом благосостоянии страны, легко, казалось бы, найти простое

и удовлетворительное об'яснение этому факту: оно состоит, повидимому, в том, что личная корысть собственника есть единственный живой и достаточно сильный двигатель для производительной и хозяйственно-организационной деятельности. Пусть каждый думает о своей личной выгоде и имеет уверенность, что ему никто не помешает наслаждаться плодами его работы — и работа закипит, и все будут сыты и довольны, или во всяком случае более сыты и довольны, чем когда государство принудительно заставляет каждого трудиться только для общего блага. Однако, и чистый экономист не может, с другой стороны, забыть об опыте, уже имевшемся у европейского человечества и заставившем всех умственно и нравственно беспристрастных людей признать, что и этот путь и лежащая в его основе система идей, принятые в чистом виде и не ограниченные тенденциями иного порядка, ведут к жесточайшим неправедливостям и величайшим хозяйственным бедствиям. Он не может забыть, что все европейские государства должны были от системы абсолютной свободы собственности перейти к системе ее ограничения в многообразном социальном законодательстве. Всякому экономисту должно быть ясно и то, что система абсолютной свободы и неприкосновенности собственности повинна уже в том, что своими недостатками она породила, в качестве реакции на себя, гибельное заблуждение социализма.

Еще труднее положение тех, кто вообще не может удовлетвориться одним утилитарно-экономическим оправданием принципа собственности и ищет для него, как и для всех своих социальных верований, религиозно-нравственнаго обоснования. Ужели совесть человеческая столь бессильна перед социализмом, что может сделать его защитникам только одно возражение: как ни прекрасны и ни праведны ваши мечты о социальной правде, они на практике приводят еще к худшему злу, ибо человек не рожден жить в правде; и как ни безнравственен и отвратителен холодный человеческий эгоизм, практически он еще единственная опора для сколько-нибудь сносной человеческой жизни. Если бы это было так, то социализм или, по крайней мере, опасность рецидива социализма были бы неустранимы. Ибо последней и подлинно прочной основой всякого строя может быть не личная корысть и не убеждение в его утилитарной нужности, а только глубокая, бескорыстная вера в его праведность, в его религиозно-нравственную ценность. И если в России частная собственность так легко, почти без сопротивления, была сметена вихрем социалистических страстей, то только потому, что слишком слаба была вера в п р а в д у частной собственности, и сами ограбляемые собственники, негодуя на грабителей по личным мотивам, в глубине души не верили в свое право, не сознавали его «священности», не чувствовали своей обязанности его защищать, более того — в тайне были убеждены в нравственной справедливости последних целей социалистов. Отсюда возникает жгучий и насущно-необходимый для совести вопрос: в чем же заключается настоящая, не утилитарная, а абсолютная, религиозно-нравственная правда принципа частной собственности.

В нынешней стихийной реакции от социализма в сторону принципа не-

прикосновенности частной собственности есть еще и другая идеологическая трудность. Принцип «священного и неприкосновенного права собственности» генетически и систематически связан с принципом «священных и неприкосновенных прав человека», т. е. миросозерцанием индивидуалистического либерализма. А между тем, в области политических идеалов и в общих воззрениях на существо и цели общественной жизни вера в принцип индивидуалистического либерализма потерпела такое поражение, столь основательно потухла в человеческих сердцах, что о ее воскресении теперь не может быть и речи. Сколько бы мы ни натерпелись от деспотизма социалистического государства, как бы ни томились мы, в состоянии полного бесправия, по охране личных наших прав, — никто отныне уже не может поверить, что государство должно быть лишь «ночным сторожем», охраняющим неприкосновенность прав граждан. Политическая свобода, как высшее и последнее благо общественной жизни, никого уже не соблазнит отныне. В мире пробудилась, напротив, тоска по творческой, смелой в своей инициативе государственной власти; идея солидарности, общего служения торжествует над индивидуалистической идеей «прав личности»; «фашизм» (в широком смысле этого слова) неудержимо побеждает всякий парламентаризм и демократию. В конечном счете это определено тем глубоким переворотом в общественном миросозерцании, в силу которого человек, как отдельная личность, изверился в непосредственной, самоочевидной «священности» своих индивидуальных притязаний, он ищет не прав, а обязанностей, и хочет отдать себя служению высшей, сверхчеловеческой и сверх'индивидуальной идее. И при этих условиях мы должны поверить в «священное и неприкосновенное право собственности» и, преодолев индивидуализм в политике и в целостном общественном мировоззрении, исповедывать тот же индивидуализм в социально экономической жизни? Такой дуализм, такой разлад в основных общественных понятиях требует преодоления и никоим образом не может быть просто увековечен. Необходимо дальнейшее углубление общественнаго миросозерцания, через которое могла бы быть восстановлена его цельность. Таким образом, и вся духовная атмосфера нашего времени не может удовлетвориться простым реставрационным провозглашением принципа священного и неприкосновенного права частной собственности, а требует нового синтетического обоснования начала собственности — и вместе с тем уяснения его границы—из универсалистического, органического общественного жизнепонимания.

2

Непосредственного нравственного оправдания право личной собственности не имеет. Требование, чтобы м о е оставалось при м н е, чтобы никто не мешал мне пользоваться моим достоянием и даже злоупотреблять им (jus utendi et abutendi), какое бы зло это ни причиняло другим — такое требование, как выражение чистой корысти и эгоизма, никоим образом не может претендовать именно на абсолютную нравственную авторитетность. Кто ищет правды и хочет мыслить по существу, без оглядки на то, «уместно» ли говорить правду и не пользует ли кто либо ее незаконно в своих интересах, — тот должен начать с открытого утверждения этой истины и не бояться признания, что в ней заключается — конечно, только чисто отрицательная — правда социалистической критики частной собственности. Но эту истину можно и должно выразить в более широкой форме: право частной собственности не имеет непосредственного морального основания, в конечном счете, потому, что никакое вообще человеческое право (в суб'ективном смысле) не имеет первичной, имманентной, моральной силы. Смысл человеческой жизни не может заключаться в эгоизме, в от'единении от других, в защите своих личных интересов, он заключается только в с л у ж е н и и Богу и людям.

Служение самой правде, абсолютному Добру и вытекающее из него любовное служение людям — единственные абсолютные оправдания человеческой жизни. Это не просто моральные предписания или увещания, нарушение которых хотя и заслуживало бы нравственного порицания, но непосредственно не отражалось бы на судьбе и жизни нарушителей; это — абсолютный божественный закон жизни, выражающий само существо человеческой жизни и служащий его единственным основанием, пренебрежение к которому карается разрушением, гибелью самой жизни. Вот почему это единственная незыблемая основа общественной жизни людей.

Отсюда вытекает, что человек, как отдельная личность, как природное существо, не имеет и не может иметь никаких вообще «прирожденных», «от'емлемых» и «священных» п р а в. Нравственное самопознание ведет к признанию о б я з а н н о с т е й, а не прав. Всякое суб'ективное право может быть нравственно оправдано только сведением его к о б я з а н н о с т и. В конечном счете, человек имеет одно единственное и подлинно «священное» право. (всякое право, поскольку оно есть истинное право, конечно, священно): п р а в о т р е б о в а т ь, ч т о б ы е м у д а н а б ы л а в о з м о ж н о с т ь н а и л у ч ш и м о б р а з о м и с п о л н и т ь е г о о б я з а н н о с т ь, ч т о б ы н и к т о н е п р е п я т с т в о в а л е м у в э т о м и с п о л н е н и и. Прямо или косвенно, к этому единственному праву сводятся все человеческие «права».

Но из этого следует, ближайшим образом, что и обратное, социалистическое требование дележа имущества, конфискации собственности одного в пользу другого и других, и вообще всякое социалистическое «право» на чужое достояние, на чужие услуги, — столь же мало непосредственно-нравственно обосновано, как и право личной собственности, или обосновано е щ е м е н е е. Если непосредственно совершенно не очевидно, почему право и государство должны мне обеспечивать «мое» достояние, защищать «мои» интересы от покушения других или — говоря общее — откуда берется мое право что

либо называть или считать «моим», — то еще гораздо менее обосновано мое или-чье либо право притязать на «чужое». Отрицание непосредственной нравственной обоснованности права личной собственности — права называть что либо «моим» и защищать от чужих покушений — очевидно, совсем не тождественно признанию за кем либо другим, и даже за обществом, как целым, права требовать для себя то, что я считал «моим». Известное шутливое определение различия между христианством и социализмом, состоящее в том, что христианство учит отдавать «свое» другому, а социализм — брать себе «чужое», имеет, конечно, совершенно серьезный смысл. Но оно еще не достаточно глубоко проникает в существо различия. Тогда как христианское или — что то же — подлинно нравственное, опирающееся на абсолютную правду, осмысление жизни должно отрицать непосредственно самодовлеющую правомерность всякого права собственности (как и всякого вообще суб'ективного — только «суб'ективного» — «права») и искать для него нравственного оправдания, социализм, напротив обусловлен чисто натуралистическим воззрением, для которого право человека на благополучие, наслаждения, довольство — самоочевидно; и именно во имя этого права — права каждого в принципе все считать «своим» — он отрицает частную собственность, как право человека считать «своим» некоторое определеное, частное достояние. Нравственно-психологически различие между идеей частной собственности и идеей социализма состоит поэтому не в том, что социализм отрицает правомерность личной корысти, а в том, что он делает эту корысть безграничной, оправдывая вытекающую из нее зависть, тогда как в идее частной собственности право на личную корысть ограничено обязанностью соблюдать неприкосновенность чужой корысти.

Социализм совсем не отрицает самого начала собственности; он отрицает лишь частную собственность, поскольку она выражает принцип разграничения и, следовательно, ограничения правомерных притязаний людей — во имя безграничной собственности, неограниченного права всех на все. Социализм — не отрицание, а, наоборот, высочайшее потенцирование начала корысти, утверждение безграничности и универсальности чисто природного человеческого домогательства на личное довольство. То, что социализм на практике, в своем осуществлении в порядке общественных мероприятий, необходимых при реализации его основного нравственного — в данном случае безнравственного — требования, ведет напротив, к безмерному и невыносимому ограничению личных прав, к системе, при которой никто вообще ничего не может назвать «своим» и считать за собой обеспеченным — это ничуть не противоречит по существу очевидности его основного замысла, а лишь указует на неосуществимость последнего и есть имманентная кара за него. Ведь сам социализм пытается утешить своих сторонников и свои жертвы утверждением, что принудительный аскетизм, к которому он ведет, есть лишь переходная стадия к состоянию, при котором каждому обеспечено безграничное удовлетворение его личных потребностей и вожделений.

Из этого предварительного сравнительного обзора обеих систем получается чисто отрицательный итог, но вместе с тем уясняется большая нравственная ценность начала частной собственности. Принцип частной собственности имеет, как мы видим, преимущество перед принципом общей собственности, в том, что он содержит ограничение индивидуальных притязаний признанием правомерности чужих притязаний. Ближайшим образом уясняющееся нравственное, а потому и культурно-воспитательное и историческое значение института частной собственности состоит не в том что он санкционирует личную корысть, а в том, что он напротив ее обуздывает; не в оправданности для меня моей корысти, а в моей обязанности не нарушать чужого достояния и уважать чужое право, не в культе моего права, а в сознании незыблемости моих обязанностей в отношении других заключается непосредственно очевидная нравственная ценность института частной собственности, как она выражена в восьмой и десятой заповеди. Ведь нигде не сказано: «береги свое и не допускай к нему ближнего твоего», но сказано «не укради» и «не желай дома ближнего твоего... и ничего, что у ближнего твоего».

Однако, эта нравственная ценность начала частной собственности, будучи для нас, в порядке рассмотрения вопроса, ближайшим образом очевидной, по существу, в порядке об'ективном, есть нечто явно производное. Это не есть, собственно нравственная ценность самого института частной собственности, а лишь нравственная ценность нашего поведения, основанного на признании его. Если бы сам институт частной собственности, как таковой не имел внутреннего оправдания, то, очевидно, на нас не лежала бы и обязанность блюдения чужой собственности. И, с другой стороны, общее нравственное требование воздержанности, умерения своих вожделений, миролюбия к ближнему и внимания к его нуждам сохраняет свою ценность и силу при всяком правовом строе и совершенно независимо от признания института частной собственности.

Предыдущие размышления, таким образом, лишь расчистили нам путь для принципиального рассмотрения вопроса, но еще не дали ничего для его разрешения.

3

Мы уже видели: абсолютного, нравственного смысла, имманентной и непосредственной «святости» или «священности» институт частной собственности не имеет — что, однако, совсем не значит, что такой смысл имеет его отрицание в принципе общей собственности. Никакое вообще право собственности — ни частное, ни общее — не обосновано непосредственно в нравственной жизни, в принципиальном смысле человеческой жизни, в высших, абсолютных началах, определяющих отношения человека к Богу и людям. Это вытекает из того простого и самоочевидного по-

ложения, что нравственная жизнь, как таковая, знает лишь обязанности человека, а не его права, что она есть по своему существу служение, а не самоудовлетворение, отдача себя высшему началу правды, а не присвоение чего либо себе самому, любовь к Богу и людям, а не забота о себе самом.

В абсолютном и первичном смысле никто на свете не является *собственником* какого либо достояния. Человек — не собственник, а лишь управитель достояния, доверенного ему Богом, а потому обязан распоряжаться им не в своих интересах, а ради осуществления Божией правды на земле. Эта очевидная религиозная истина, которую русский народ всегда сознавал и особенно остро в отношении основного своего материального блага — земли-кормилицы, — решительно противоречит заимствованному из языческого римского мировоззрения началу «священной собственности человека», но вместе с тем лишь по недоразумению, как мы уже видели, может быть отождествлена с идеей социализма. Роковое и гибельное смешение, в которое, по целому ряду исторических причин, впал в этом отношении русский народ не должно препятствовать нам ни в признании самой этой истины, единодушно исповеданной всеми отцами церкви, ни в усмотрении ее принципиальной противоположности *всякому* — будь то индивидуалистическому или социалистическому — правосознанию, опирающемуся на атеистическое мировоззрение и исходящему из начала самочинных прав человека или человечества. Если на этой общей принципиальной почве искать оснований для оправдания и осмысления права частной собственности, то для этого необходимо прежде всего уяснение смысла *права вообще*, как производной сферы бытия, необходимой в целях осуществления нравственной правды.

Право отличается *от нравственной жизни* (в узком смысле этого последняго понятия) двумя основными признаками (или комплексами признаков) 1) Оно направлено на определение *порядка* человеческой жизни, внешнего *поведения* людей в отношении друг друга, и потому выражается в рационально-определенных нормах, опирающихся на внешне-уловимые признаки (поскольку право, обращенное все же к воле человека, должно считаться с внутренним, душевным состоянием личности — как в вопросах об умысле, вменении и пр.—оно имеет в виду эти состояния с их наружной, обращенной во вне и направленной на мир стороны, а не их внутреннее существо): в силу этой внешней уловимости своего об'екта и рациональной определимости норм, право *может* воздействовать на волю путем внешнего, физического принуждения. 2) Оно утверждает общий порядок человеческой жизни путем разграничения *компетенции* отдельных участников этой жизни, в силу чего каждая личность обретает защищенную правом сферу своей жизни и деятельности; отсюда — то своеобразие права, что в нем обязанностям одних всегда соответствуют «суб'ективные права», т. е. правомерные притязания других.

Какое высшее нравственное основание имеет эта своеобразная сфера

нормативной жизни человека, для чего она вообще нужна и почему она должна существовать, как особая сфера, наряду с собственно-нравственной (в узком смысле слова) жизнью?

Русская общественно-философская мысль всегда, за редкими исключениями, страдала непониманием существа и смысла права. Она то отрицала его только за то, что оно не совпадает с подлинной, сущностной нравственной жизнью, и видела в нем только бессильную и ложную попытку извне и принудительно осуществить добро, которое на самом деле может быть осуществлено только извнутри и свободно (так мыслит толстовство и все, кто сознательно или бессознательно заражены его тенденцией) — то смешивало право (и соотносительное ему государство) с самой сущностной нравственностью и ставило ему задачей реальное осуществление добра теми внешними, механическими средствами, которые одни ему доступны (в этом состоит заблуждение не только социализма, но и всякого социально-политического фанатизма). В действительности, право имеет лишь производную и относительную функцию в области нравственной жизни, но именно в этой своей функции оно необходимо и осмысленно.

Цель и смысл права — в установлении, путем давления на волю, внешнего общего порядка жизни, наиболее благоприятного для внутренней сущности — нравственной жизни человека. Человек, будучи внутренне «образом и подобием Божьим» и имея своим последним назначением взращивание в себе субстанциального Добра, врастание в него, «обожение», — с другой стороны фактически извне и извнутри подвержен действиям хаотических сил падшего земного бытия. Борьба с этими силами идет и необходимо должна итти сразу двумя путями: извнутри, путем вытеснения их самим Добром и подлинного их преодоления и растворения силою добра, и извне — путем *их обуздания и ограждения от них* нравственной воли человека. Последнее и есть задача права. Право есть внесение космической упорядоченности в хаос земной человеческой природы. Поскольку мир есть нечто отличное от Бога, хотя он и сотворен Богом и держится лишь связью с Богом, постольку право имеет в человеческой жизни назначение, отличное от сущностной нравственности (которая есть именно непосредственная жизнь в Боге), хотя оно и утверждено в ней. Право — производная форма нравственности, приспособленная к мирской стороне человеческой жизни, приспособления его самого к целям внутренней нравственной жизни. Поэтому в интересах свободной, извнутри человека вырастающей нравственной жизни, человек, чтобы не быть задавленным силами хаотической животности, должен подчинять себя отвлеченно-общим, для всех одинаковым правилам, осуществление которых при этом не ожидает свободного нравственного согласия всех, а в отношении непокорных поддерживается внешней и даже чисто физической силой.

Но этот порядок не может быть наложен на человека извне: он сам сво-

бодно налагает его на себя. И так как с другой стороны цель этого порядка — создание внешних условий для свободной внутренней нравственной жизни, то этот порядок прежде всего направлен на ограждение свободы человека. Свобода человека есть и условие правового порядка, и его задача. Если свобода человека извнутри, в его духовной жизни, зависит только от него самого и вместе с тем определена лишь притоком к нему благодатных сил, то извне, в своем обнаружении и действии в мире, она наталкивается на земные препятствия и должна быть от них ограждена. И если в сфере сущностной нравственной жизни подлинная свобода человека есть не отрешимость его от других людей и замкнутость в себе, а, напротив, максимальная слитность и об'единенность со всеми людьми, то извне в своей телесно-космической природе человек есть отдельное существо, которое сталкивается с другими подобными ему существами и стесняется ими в своей свободе. Поэтому правовой порядок предполагает необходимое *разграничение* компетенций или сфер свободы между людьми, установление сотрудничества посредством обеспечения каждому меры и области его свободной деятельности. Этим определяется второй необходимый признак права, по которому порядок устанавливается через утверждение суб'ективных прав лица, ограждаемых соответствующими обязанностями всех других. Право в суб'ективном смысле не какое либо «прирожденное» достояние человека, которого он мог бы требовать и притом в своих собственных интересах; оно лишь *рефлекс обязанностей*, и оно устанавливается в интересах общей совместной человеческой жизни, в конечном счете в интересах осуществления об'ективной правды, как условие совместной свободы людей, необходимой для самого существования права и для осуществления нравственной жизни. Как уже сказано, всякое право человека, прямо или косвенно, сводится к обеспечению за ним возможности исполнять его обязанности. Всякое право человека есть его право на *служение*, и установлено не для него самого, и не потому, что он имел бы прирожденное, натурально ему самому присущее право на какие либо права, а потому, что наличность защищенной сферы свободы каждого необходима для осуществления об'ективной правды. Всякое суб'ективное право имеет, *функциональное, служебное значение*. Но вместе с тем, именно в этом своем служебном значении, как условии исполнения обязанности, оно необходимо и именно потому само облекается святостью и незыблемостью, присущей всякой обязанности.

Это отступление было нам необходимо для положительного обоснования права личной собственности. Идея собственности целиком принадлежит к области *права*, и вне ее не имеет никакой силы; поэтому не может быть и речи о прирожденном, абсолютном праве собственности. Но с другой стороны, право частной собственности настолько связано с возможностью самого права вообще, что не зависит ни от какого частного законодательства и потому в своем принципе и существе действительно является «естественным правом».

Защищенная правом сфера материальных благ или их источников, поставленная в форме «вещного права» или «владения» в непосредственную связь с человеческой личностью и предоставленная его нестесненному пользованию и распоряжению, есть *единственное условие реальной свободы личности*. Какими бы другими «правами», т. е. защищенными сферами обнаружения свободной воли, человек ни был одарен но если его питание, удовлетворение его элементарных материальных потребностей поставлено в зависимость от воли других людей — он неизбежно — в плане мирской жизни, т. е. при неизбежной общей подчиненности человека земным нуждам — становится рабом этих других людей. Эта мысль с особой силой утверждалась всегда именно социалистами, усмотревшими на опыте иллюзорность всяких политических и гражданских свобод, при потере «пролетарием» реальной свободы в виду отсутствия у него частной собственности. Но становится ли он при этом рабом капиталиста, или рабом социалистического государства, в обоих случаях он становится именно рабом. Более того: если капиталистический строй, поскольку он фактически лишает массу людей собственности, несомненное зло, — то он имеет однако то преимущество перед социалистическим строем, что он по крайней мере в принципе никого не лишает права частной собственности. Как бы то ни было, но право собственности — реальное условие осуществимости всяких вообще прав человека, т. е. условие свободы его действий. Тем самым оно — условие самого правопорядка. Вне права собственности невозможны свободное сотрудничество людей, совместная свобода людей, свободное нравственное строительство жизни. Вне права собственности существует лишь абсолютный деспотизм тех, кто фактически — несмотря на юридическую отмену собственности — распоряжаются источниками материальных благ, над абсолютно порабощенной массой людей, лишенных собственности.

Право частной собственности, однако, ни право на свободное удовлетворение личной корысти, ни право на материальную обеспеченность вообще. Первое вообще никому не может быть даровано, ибо оно противоправно по самому своему существу. Последнее же, с одной стороны, как известно, совсем не обеспечивается правом частной собственности и, с другой стороны, по крайней мере в принципе, могло бы быть представлено и при отсутствии права собственности, в лице права на государственный паек при социалистическом рабстве. Право если не на материальную обеспеченность, то на материальную возможность существования несомненно обосновано в нравственной обязанности государства заботиться о безработных, увечных и больных, стариках и сиротах, но оно не только не тождественно с правом частной собственности, а даже в некотором отношении противоположно ему и является необходимым коррективом к нему. Право же частной собственности есть по

существу право на свободу, на свободное самоопределение личности, вне которого нет реального «суб'екта права», а потому нет и правового порядка.

Суть дела заключается не в том, что собственность материально обеспечивает человека и тем его освобождает. Если опыт и свидетельствует, что институт собственности практически представляется необходимым и наиболее благоприятным условием для максимального материального благосостояния членов общества, то это есть лишь производное следствие этого института, а не его правовое основание. Суть дела состоит в том, что право частной собственности, создавая вокруг человека сферу материального мира, ему принадлежащего, с ним непосредственно связанного, тем самым ограждает его свободную личность. Личность человека не исчерпывается его душевно-телесным бытием; окружающий его мир не есть для него, как для животного, лишь источник потребления в узком смысле слова, т. е. отношение к вещам не исчерпывается для него мгновенным употреблением их для питания, включением их в свое тело, как у животного. Вещи и среда, необходимые для жизни человека, являются для него продолжением его душевно-телесной личности. Платье, жилище, орудие труда, место жизни, привычное и любимое дело, украшения — все это необходимая составная часть человеческой личности. Известно, что даже элементарные, телесные ощущения у человека локализируются не только в его собственном теле, но переносятся на вещи, с которыми он телесно связан: мы ощущаем конец трости, на которую опираемся, прикосновение пера к бумаге при писании, наше органическое самочувствие стоит в зависимости от платья, которое мы носим и т. п. Тем более это применимо к самосознанию человека: родной клочек земли, свой дом, обстановка комнаты, любимая книга, привычный труд — часть нашей личности. Право собственности является поэтому для человека правом на неприкосновенность личности — прежде всего на телесную неприкосновенность, поскольку вещи оказываются простым продолжением его тела (крайний пример: отнять у хромого или парализованного костыль, или у близорукого — очки — все равно, что отнять у здорового ногу или глаза), и затем на неприкосновенность душевную и духовную.

Другую аналогию права собственности можно найти в брачно-семейной жизни человека (собственность и семья, как известно, теснейшим образом между собой связаны). Как человеку недостаточно мимолетное половое общение, а необходима длительная телесно-душевная связь, при которой муж и жена становятся одной душой и одной плотью, как родительская любовь к детям делает детей частью существа родителей, и семья для каждого его члена есть его расширенное «я», так и человек становится одним живым единством с тем отрезком материального мира, который ему телесно и душевно необходим и с которым он сживается. Частная собственность — как бы брачно-семейная связь человека с животным, растительным и неорганическим миром, с которым он слился в своей жизни: лошадь и корова в крестьянском быту — суть члены семьи, цветы и деревья в саду — любимые существа; земля — мать-кормилица; портреты родных, вещи, связанные с детством, книги, в общении с которыми мы воспитывались, — неот'емлемые части нашего семейного единства.

Но именно потому, что вещи и вообще средства существования совсем не только механические средства, безразличные, заменимые части внешнего мира, с которым мы случайно и равнодушно соприкасаемся, а любимые индивидуальности и части или продолжения нашей собственной личности — именно поэтому нормальное наше отношение к ним не пользование, а «обладание», «владение» — то отношение, при котором вещи поставлены в интимную, внутреннюю, неот'емлемую связь с нашей личностью и подчинены нашей свободной воле. Именно это отношение прав обеспечивает в праве частной собственности, при котором свобода личности обеспечена защищенностью свободного распоряжения сферой материального мира, связанной с личностью и служащей ее естественным продолжением во вне.

Для того, чтобы человек мог существовать, как человек, — а не как животное, которое либо живет постоянным хищением, истреблением окружающей его жизни, либо питается кормом, который ему подают люди — он должен быть обеспечен в свободе и неприкосновенности своей личной человеческой связи с вещами, на которые распространяется его воля.

Социализм допускает в принципиале существование человека, только как животного, или — что то же самое — как голого человека; право личности не распространяется далее права на свое собственное тело. В противоположность этому должно быть утверждено право человека на всю полноту бытия, в силу которого он впервые становится человеческой личностью, право не голого человека, а человека одетого, имеющего жилище, клочек земли, личные материальные блага, орудия и средства внешнего своего обнаружения. Только при этом условии человек оказывается подлинным суб'ектом права. Право частной собственности не только первоначальный источник, но и постоянная основа бытия человека, как суб'екта права; и с другой стороны, человек, принципиально лишенный права собственности и «раб», т. е. человеческое существо непризнаваемое суб'ектом права, — тождественные понятия. Всякое иное суб'ективное право — кроме первичного права на личную неприкосновенность и свободу — есть дополнительное, производное право, наслояющееся на основное право человека на обеспеченность подлинно человеческого его бытия, т. е. на право быть «собственником».

Поэтому право, обеспечивая порядок совместной жизни путем разграничения и взаимной связи суб'ективных прав и обязанностей, т. е. путем создания системы отдельных носителей или суб'ектов права, необходимо должно опираться на право частной собственности.

Дальнейшее уяснение проблемы частной собственности, которое мы теперь свели к понятию свободной личности, требует анализа соотношения,

между личным и «соборным» началом в сфере нравственной жизни и права. Только этим путем мы можем подойти к обоснованию практических выводов в теории собственности.

5

Традиционное понимание частной собственности — как ее юридическая конструкция, так и ее социально-философское осмысление — опирается на индивидуалистический либерализм, который своими последними корнями укреплен в индивидуализме римского правосознания*). Согласно этому пониманию, последнее основание частной собственности лежит в абсолютной реальности индивидуального бытия, в самочинной, самодовлеющей, замкнутой в себе и отделенной от всего другого жизни человеческого индивида, отдельного «я». Общество при этом мыслится как производное, не имеющее в себе никакого первичного единства, никакой самобытной реальности, взаимодействие индивидуальных человеческих субстанций или «монад», которое осуществляется путем договора, путем рационального соглашения или согласования индивидуальных интересов и воль. Безграничное право частной собственности и столь же безграничная свобода договорных отношений представляется «естественным», онтологически первичным, до-правовым состоянием, которое лишь упорядочивается в праве; напротив, общественное единство, связь между людьми, сопринадлежность их к общественному целому мыслится как производное,—в рационалистическом индивидуализме всегда умышленное, в смягченных формах индивидуализма частичное и непроизвольное — об'единение, взаимное связывание того, что по существу всегда раздельно и обособлено — отдельных индивидов.

Все это понимание ложно в корне, в самом своем существе, а потому и в своих социально-философских выводах. Человеческий индивид, отдельное «я», не самодовлеющий, первичный носитель реальности, который лишь вторичным образом, по своему произволу или по внешней необходимости вступал бы в общение с другими людьми. Он не замкнутая в себе и отдельная реальность, субстанция, существующая в себе, и не опирающаяся в своем бытии ни на что другое. Напротив, всякое «я» с самого начала, искони приурочено к другому «я» — к «ты» или ко многим «ты». Уже генетически человек в биологическом отношении есть производное двух других существ — своих родителей, а психологически обретает конкретное содержание своего «я» через питание себя всей совокупностью психических и духовных реальностей, обращающейся в «среде», в обществе. Феноменологически и тем самым онтологически человек обретает свое самосознание, является как «я»

*) См. классическое изображение последнего у Иеринга в первых двух томах: «Geist des römischen Rechts».

только через противопоставление себя другому «я» — «ты», и является зависимым членом этого двуединства. В силу этого, отношение между «я» и «ты» не производно от независимого бытия отдельных «я», а, напротив, впервые его создает. Другими словами, «я» существует лишь в составе «мы», как исконного и неустранимого единства. Единство «мы» столь же первично, как и единство «я». Человеческая личность мыслима лишь, как член духовного организма общества.

Могло бы показаться, что на это органическое или соборное понимание отношения между личностью и обществом опирается мировоззрение, противоположное индивидуалистическому либерализму — социализм. Но это не так. Если социализм отчасти происходит от универсалистического мировоззрения Шеллинга, Гегеля, Ж. де Местра и Ог. Конта, то он исторически еще теснее связан с просветительским индивидуализмом XVIII века. Важнее, чем эта генетическая зависимость, само содержание социалистического общественного мировоззрения. Социализм требует создания из общества настоящего единого целого путем подавления свободы и самобытного существа индивида, личности. Он предполагает, следовательно, что личность, как таковая, в своем бытии противоположна общественному единству и не несет его в себе. Онтологически он так же индивидуалистичен, как и либерализм; общество до искусственной, умышленно введенной социалистической его формы он мыслит, как агрегат отдельных атомов, вне их внутренне не связанных между собой; можно даже сказать, что он еще более индивидуалистичен, ибо не допускает возможности даже производного об'единения людей через свободную самодеятельность индивидов, — той возможности, на которую рассчитывает либерализм; для социализма индивиды — атомы, которые в своем слепом, определенном исключительно индивидуальными, эгоистическими силами движении могут только сталкиваться между собой и отталкиваться друг от друга, но никак не об'единяться. И именно поэтому он требует, для возможности истинного общественного единства, их принудительного, внешне-государственного об'единения как бы сцепления атомов в одну массу, установления единства целого через устранение свободы индивидуального бытия. И в нем, следовательно, личность, как таковая, противоположна обществу, как единству и по своей исконной природе есть нечто замкнутое в себе и самодовлеющее.

Подлинное органическое воззрение поэтому столь же отлично от социализма, как и от индивидуализма. С одной стороны, оно утверждает исконную, онтологически незыблемую реальность общественного единства, которое поэтому совсем не нуждается для своего осуществления в искусственной социализации, а наличествует во всяком обществе, как таковом. И с другой стороны, это единство «мы» вовсе не противоречит столь же исконному единству «я», а внутренно связано с ним и ему соотносительно. Если отдельное «я» мыслимо только в составе целостного «мы», то, с другой стороны, и единство «мы» есть именно единство многих «я» и само исчезло бы при уничтоже-

нии последних. Ложно то стремление к свободе и самобытности личности, которое покупается ценой разрушения или ослабления органически-соборного единства общества, ибо бытие личности само питается этим единством и засыхает, как отрезанная ветвь, вне его, и максимальная свобода и самобытность личности достигается не отрешенностью ее от целого и замкнутостью в себе, а максимально-внутренним, интимным вбиранием в себя всех сил и всей реальности «общего». Но столь же ложно и стремление утвердить единство общества на подавлении свободы и самобытности личности; ибо единство общества именно соборное единство личностей, как единство организма — единство живых клеток, а не мертвая масса силошного вещества, не имеющего внутренней расчлененности. Борьба «я» против единства «мы», и борьба общественного единства «мы» против отдельных «я» не только вредна в том смысле, что дает незаконный перевес одному началу над другим, она гибельна и бессмысленна потому, что мнимые противники столь неразрывно связаны между собой, что пораженный в борьбе увлекает в своем падении победителя, и оба начала гибнут в этой борьбе совместно, как они совместно утверждаются в своей солидарности.

Онтологически эта органическая исконная взаимозависимость между «я» и «мы» может быть постигнута лишь как их общая сопринадлежность высшему целостному единству. Единство общества не единство, противостоящее множественности; последнее, подлинное его единство есть именно само единство единства и множественности, единство целого и его частей. Так же и логическое и онтологическое соотношение между «я» и «мы» не отношение субординации, а соотношение исконной координации. Подчинено здесь не одно из этих начал — другому; лишь оба они совместно, в своей неустранимой взаимозависимости, подчинены высшему, абсолютному единству. Личность и общество — не самодовлеющие, высшие инстанции: они суть лишь служебные инстанции и проводники высшего, абсолютного — Божественного Единства, которое в своей металогической природе превосходит рациональное различие между логическими понятиями единицы и множественности.

Из этой онтологической природы соотношения вытекает та деонтологическая, моральная истина, что ни личность, ни общественное единство не могут быть высшей целью общественной жизни и строительства. Таковой целью является лишь сама правда, само Божественное бытие, осуществление которого в человеческо-общественной жизни достигается через солидарное служение обоих начал, и, следовательно, через максимально-согласованное развитие и углубление их обоих в их исконной взаимозависимости. Цель общественной жизни — не интересы или самоутверждение отдельной личности, но и не интересы и самоутверждение общественного единства Цель ее — истинное и праведное бытие богочеловеческого единства. Подлинное всеединство, в котором максимальное развитие личной свободы совпадает с максимальной солидарностью и прочностью общественного единства.

Поскольку человеческая жизнь в своем внутреннем существе есть служение Правде, т. е. поскольку мы рассматриваем ее в той ее глубине, в которой она есть сущностная, нравственная жизнь,— не может быть и речи о каком либо соперничестве двух указанных начал — начала личности и начала общественного единства, а лишь о их гармоническом сотрудничестве. Более того: здесь этих начал, как обособленных, отдельно существующих, начал, вообще нет, а есть лишь их исконное единство. Личность в себе самой носит начало общественного единства, и всякое ее развитие, углубление, обогащение оказывается тем самым уже более глубоким, тесным и полным об'единением ее со всеми другими людьми, как это показывает пример личного духовного развития подвижника. И, с другой стороны, всякое углубление и укрепление общественного единства есть тем самым обогащение личной жизни и свободы: пример тому истинная любовь, которая не стесняет и не обедняет ее участников, а напротив их обогащает и внутренне освобождает. Коротко говоря, в области сущностной нравственной жизни, где единство есть любовь, а личная свобода есть жизнь в Боге, каждое из этих двух начал включает в себя другое и не соперничает с ним, а на нем утверждается и служит ему на пользу.

Иначе обстоит дело в области права. Здесь, в умаленной области мирского бытия, личная свобода формально противостоит общественному единству и государство вынуждено ограждать личную свободу от деспотизма принудительного об'единения, но и единство общественного порядка от произвола личных эгоистических вожделений. Согласование этих двух, здесь на своей поверхности противоборствующих начал протекает неизбежно в форме обуздания притязаний каждого из них, ограждения одного от другого и разграничения законных сфер того и другого. Здесь онтологическая необходимость личного бытия обеспечивается правовой охраной субъектов прав, утверждением общества, как системы взаимодействующих индивидов и их групп (того, что со времени Гегеля и Лоренца Штейна носит название «гражданского общества»). Онтологическая необходимость общественного единства ограждается здесь утверждением особой отдельной от гражданского общества, инстанции — государства, органа общественной воли — государственной власти. Эти две внешне-раздельных сферы, с одной стороны имеют тенденцию конкурировать между собой, расширяться одна за счет другой, и, с другой стороны, должны быть согласованы и примирены между собой в общественном порядке, утверждаемом правом. Отсюда непосредственно ясна ложность как либерально-анархической теории общества, стремящейся к уничтожению или максимальному ослаблению государственного начала, так и социалистической теории, стремящейся к совершенному уничтожению гражданского общества и растворению его в принудительном государственном единстве.

Но отсюда ясна и положительна задача права. Так как право служить Правде, есть система норм, имеющая своей целью ограждение сущностной

нравственной жизни и создание внешних условий, максимально ей благоприятствующих, то оно в своей производной и умаленной сфере должно выражать и отражать то органическое единство двух начал, которое присуще нравственной жизни. Его целью является ни личная свобода, ни общественное единство, а лишь соборность как единство и максимально согласованное развитие *того и другого совместно*. Это можно выразить и так: правовой строй должен быть проникнут идеей, что как государственный порядок, так и система частно-правовых отношений суть лишь взаимо-зависимые и служебные моменты одного цельного *соборного строя народной жизни*.

Отсюда вытекают два основных правовых принципа: 1) всякое ограждение и обеспечение личной сферы имеет своей целью воспитание индивидов к солидарности, к служению общему делу, 2) всякое принудительное об'единение и ограничение свободы имеет своей целью такое общественное благо, которое, в свою очередь, обеспечивает максимальное развитие личной свободы.

В области проблемы, нас интересующей, отсюда непосредственно следуют два аналогичных основных принципа: 1) частная собственность необходима, как условие личной свободы и истинно человеческого бытия индивидов; но она утверждается не в интересах собственников, а в интересах общества и необходимо ограничивается, поскольку им противоречит; 2) государственное единство и планомерность совместной жизни также необходимы и в принципе распространяются и на сферу имущественно-хозяйственную; но они утверждаются не для самих себя, не для создания абсолютного урегулированного мертвого механизма или покорного власти человеческого стада, а как необходимый корректив в личной свободе, имеющий своим последствием утверждение и ограждение ее самой там, где она в своей неограниченности приводит к своей противоположности — к рабству (таков смысл всякого социального законодательства); и государственное вмешательство в имущественные отношения ограничено необходимостью блюсти неприкосновенность системы свободных частно-правовых отношений.

Свобода собственности и имущественных отношений в принципе не противоречит общественному единству, а является, напротив, необходимым условием подлинно органического единства, основанного на свободной солидарности, и государственное вмешательство в хозяйственную жизнь и нормирование ее не противоречит в принципе свободе имущественных отношений, а есть, напротив, условие ее подлинной прочности, ограждение ее от опасности самоуничтожения, грозящей ей от ее безграничности. Здесь, как и всюду, свобода есть условие подлинной солидарности (тогда как, напротив, рабство, принудительно-насильственная механическая об'единенность ведет к озверению, к совершенной внутренней разобщенности), а солидарность и дисциплина — есть условие прочности самой свободы.

6.

Основной принцип, на котором, в согласии с вышеизложенным, должна быть построена система собственности, не принцип самодовлеющей и самоутвержденной частной собственности, но еще менее механически об'единенной, слитой в безразличное единство частной собственности, а лишь принцип соборности в той форме, в которой он возможен и правомерен в отраженной сфере правовой жизни. Так как ни права государственного единства, ни права частных лиц не утверждены сами в себе, а суть лишь функциональные выражения соборного служения, то и верховное право (непосредственно вытекающее из обязанности) в отношении имущественных благ принадлежит только соборному единству. Но это верховное право практически, в отражении сферы правовой жизни осуществимо лишь в *органическом двуединстве* государственного направления и надзора за системой собственности и частного владения индивидов. Народное хозяйство — организм, функционирующий через двуединство свободного взаимодействия клеток индивидуальных владельцев и непосредственных распорядителей — и контролирующее и оформляющее воздействие центрального, государственного органа народного единства. Частным лицам собственность принадлежит не как прирожденное и абсолютно-неот'емлемое право, а как право (основанное на обязанности) лично-свободного и нестесненного владения и управления долей общего достояния, в целях свободного, примиряющего личные интересы с общими благами, соучастия в народно-хозяйственном организме. Государству принадлежит право (и обязанность) об'единения и корректирования органического единства, непосредственного слагающегося из свободного взаимодействия частных суб'ектов хозяйствования. В порядке такого об'единения и корректирования государство может, вместе с тем, принять на себя обязанности и функции частного собственника в лице государственных монополий на некоторые отрасли производства или хозяйственной жизни). Народное хозяйство, именно в качестве живого организма, не может быть основано ни на чистом, универсально-действующем принципе умышленной организованности (планового хозяйства)—ибо такая организованность есть принцип механического об'единения, противоположного органическому единству, ни на чистом и столь же универсально действующем начале анархического взаимодействия обособленных общественных атомов, а только на живом взаимодействии индивидуально и общественно действующих сил, на единстве, сочетающем в себе начала единства и множественности. Частная собственность должна быть достаточно утверждена в своей свободе и неот'емлемости, чтобы обеспечить свободу и личную инициативу отдельных клеток общественного организма, но она вместе с тем должна быть проникнута идеей служения, иметь не абсолютное, а функциональное значение. И государство,

не претендуя на роль единственного собственника и не уничтожая, а укрепляя систему свободного взаимодействия частных собственников, имеет вместе с тем право и обязанность распространить силу государственного воздействия на сферу имущественно хозяйственных отношений и въ этой форме соучаствовать в хозяйственной жизни и пропитывать ее началом государственного единства, огосударствливать хозяйственную жизнь, не социализируя ее, т. е. не уничтожая той живой органической ткани, которую оно призвано оформлять.

Мы приходим таким образом к системе, равно далекой, как от либерально-индивидуалистического, так и от социалистического воззрения на собственность. Практически сила вещей уже давно заставила европейские общества вступить на этот средний, третий путь; недостает лишь философского принципиального его осмысления, которое показало бы, что это не путь беспринципного компромисса и эклектизма, а именно особый путь, проникнутый внутренним единством, имеющий свой единый стиль, несмотря на то, что это единство эмпирически осуществляется в двуединстве децентрализирующих и централизирующих, индивидуализирующих и об'единяющих сил. Не будет, быть может, слишком парадоксально сблизить эту третью систему, этот новый стиль с основной идеей феодального порядка (хотя, конечно, он совсем не его повторение). Близость состоит в том, что начало собственности, как свободного личного владения и распоряжения, и начало государственного служения, не конкурируют между собой, не вытесняют друг друга, как в системе индивидуализма и социализма, а органически соучаствуют, как неразрывно сплетенные между собой моменты, во всех проявлениях хозяйственной жизни и во всех областях правовых отношений. Частный собственник, оставаясь собственником и именно в качестве такового, при полной обеспеченности своих прав, тем самым сознает себя слугой государства, отправителем служебной функции в целостном организме народной жизни. Государственная власть, оставаясь инстанцией публично-правовой, имеет тем самым права и обязанности в сфере частно-правовых отношений, является в известном смысле высшим соучастником в народном имуществе, но осуществляет свое верховное право только через надзор и корректирование системы частно-владельческих отношений, через внутреннее, органическое их огосударствление и подчинение индивидуальных хозяйственных сил и замену их мертвым бюрократическим аппаратом.

Мы видели уже, что право частной собственности не может быть основано на правомерности чисто личной корысти. Даже фактически-психологически хозяйственная роль личной корысти значительно преувеличена в господствующей экономической доктрине, которая сама лишь отражает упадок общественно-хозяйственной нравственности. Нельзя же забыть, что в огромном большинстве случаев и теперь хозяйственная деятельность определена не чистым эгоизмом в узком смысле слова, а заботой о пропитании семьи, т. е. служением личности некоторой, хотя и ограниченной, общественной ячей-

ке; сюда же присоединяется могущественное влияние мотива честолюбия, стремления подняться и поднять своих детей на высшую ступень социальной лестницы, стремления заслужить репутацию дельного и умного человека и т. п. Нельзя забывать и о решающем моменте подлинно плодотворной хозяйственной деятельности—любви к самому делу, привычки к труду и сознания его святости, удовлетворения от его успешности, чувства ответственности за работу, предоставленную личной инициативе, сложного чувства радости от гармонии между об'ективным достижением и личной выгодой. Нельзя, наконец, забывать, что без навыка к честному исполнению обязательств, без доверия к контрагенту и чувства солидарности между своими и чужими интересами, без глубоко вкорененных общественных связей и сознания ответственности т. е. служения, фактически невозможны сколько нибудь прочные и длительные договорные отношения, постоянное свободное сотрудничество собственников. Если бы два чистых homines oeconomici, как они конструируются отвлеченной экономической теорией, руководимые т о л ь к о побуждением максимума прибыли и минимума затрат, и не ведающие никаких других побуждений, встретились между собой, то между ними никак не могла бы состояться никакая экономическая сделка, никакой договор. Каждый из них сделал бы попытку просто убить и ограбить другого, а если бы государство этому помешало в лице полицейского, то они разошлись бы за невозможностью осуществить единственное желание каждого — ограбить другого. Всякий договор есть с г о в о р, основанный на взаимном понимании и уважении друг к другу, т. е. на соборном начале взаимного служения. В основе всякой хозяйственной сделки лежит в известной мере момент «кредита», взаимного доверия; вне этого доверия покупатель боялся бы отдать деньги продавцу, из опасения, что тот положит их в карман и не выдаст товар, а продавец боялся бы допустить к своим товарам покупателя. По глубокой мысли Адама Мюллера, кредит есть самая душа народного хозяйства, сила его животворящая. Но всякое взаимное доверие, всякий обмен услуг уже предполагает внутреннее исконное наличие соборного начала, как всякая даже внешняя и случайная встреча двух сознаний «я» и «ты», предполагает их исконную сопринадлежность, их первичную внутреннюю об'единенность, вне которой «я» не могло бы даже заметить чужого «я», воспринять его как «ты», вступить с ним во взаимоотношение.

Если современный хозяйственный строй отличается недостаточным соучастием в нем мотивов соборного и нравственного порядка, то это своеобразный его дефект, который не может быть провозглашен вечным и единственным условием плодотворной хозяйственной деятельности. Тем более он не может получить правовой санкции.

Право собственности, как мы видели, не право на свободное удовлетворение корысти, а право на свободную и прочно-интимную связь человека с его делом и с необходимыми ему благами; а это последнее право, в свою оче-

редь, определено обязанностью свободного служения обществу и осуществления правды.

Отсюда следует, что основной момент в защите частной собственности есть защита собственника, как х о з я и н а и т р у ж е н и к а. Собственность, связанная с фактическим владением и хозяйственным использованием и находящаяся в длительном обладании, заслуживает обеспечения в первую очередь и в гораздо более безусловной форме, чем собственность абстрактная, например, на денежный капитал, лежащий в банке или вложенный в чужие предприятия, или на землю, целиком сдаваемую в долгосрочную аренду и необитаемую владельцем. Отсюда в свою очередь следует, с одной стороны, недопустимость, хозяйственная вредность и неправомерность общины с обязательными переделами, лишающими хозяина возможности свободно развить свое любовное отношение к обрабатываемой земле. Вред от неправомерности общинного порядка мог бы быть сравнен с недопустимостью принудительного периодического разрушения семьи и обмена ея членов. Но отсюда следует, с другой стороны, что из всех прав, связанных с собственностью, право на безграничное свободное ее отчуждение является наиболее спорным. Так как право собственности есть вместе с тем обязанность исполнять живые функции собственника и так как свободная отчуждаемость может привести к экспроприации, опасной для общественного порядка и благосостояния, то за государством остается бесспорное право ограничения свободной отчуждаемости собственности. Это, очевидно, не может иметь применения к тому роду собственности, в котором отчуждение является условием самого хозяйственного пользования, как при продаже продуктов труда, или при котором свободная отчуждаемость благоприятствует хозяйственной ценности имущества. Но это применимо к земельной собственности; и если, с одной стороны, в отчуждении земельной собственности может осуществляться стихийно органический, полезный обществу переход земли от нерадивого или неумелого хозяина к хозяину, призванному к этому служению, то, с другой стороны, ограждение прочности хозяйственного владения от слепой корыстной земельной спекуляции есть обязанность государства. Земля должна принадлежать хозяину, и должна принадлежать ему достаточно прочно, даже с правовым ограничением его собственной воли для ограждения его как от чужой корысти, так и от собственного легкомыслия. Наконец, из этого же принципа следует, что государство в известных случаях имеет право принудительно отчудить землю у собственника, по своей вине не исполняющего функцию хозяина, и передать ее более способному лицу, разумеется, с возмещением собственнику понесенного им ущерба и с учетом и здесь общего принципа правовой охраны собственности. Такого рода мера всегда должна рассматриваться, как исключительная и никогда не должна носить характера общей экспроприации целого класса, и вообще желания планомерно организовать хозяйственную жизнь только сверху, только в порядке государственного вмешательства.

Право чистой абстрактной собственности, поскольку она не связана с

фактическим владением и хозяйственным служением, как указано, далеко не столь бесспорное, как право хозяина — обосновывается на общем принципе, что свобода, нестесненность пользования суб'ективными правами по общему правилу есть постоянное условие плодотворного с л у ж е н и я, ибо защищенность суб'ективных прав есть вообще условие свободной нравственной жизни. Социализм, пытающийся принудить людей любить ближних и служить им, безнадежно спутывает функции права и нравственности и, уничтожая свободного суб'екта нравственной деятельности, тем самым губит основное условие нравственной жизни. Служение добру по самому своему существу предполагает свободу выбора между добром и злом, как это классически показано в евангельском рассказе о первохристианской жизни. Но, конечно, правовая свобода зла может быть только относительной, и ограничивается обязанностью права обуздывать те проявления зла, которые гибельны для самой возможности нравственной жизни. Поэтому признание принципиальной неприкосновенности частной собственности, как таковой, необходимо должно сочетаться с возможностью многообразных ее ограничений в интересах общего блага.

Особого упоминания заслуживает право наследования, как составной момент права собственности. Право наследования совсем не основано, как это пытался доказать Лассаль, исходя из римского права, на праве загробного распоряжения собственника своим имуществом, и вообще не есть выражение, — как это обычно допускается как большинством его сторонников, так и его противниками — максимальной нестесненности личного произвола в распоряжении собственностью. И потому свобода наследования по завещанию принципиально не может быть признана безграничной. Но наследственное право по своему существу покоится не на индивидуалистическом, а на чисто с о б о р н о м начале — на начале соборного единства последовательных поколений, на сверхвременном единстве общественного бытия. В особенности право наследования по закону есть выражение и в современном обществе неутраченности р о д о в о г о начала, сверхвременного единства социального места и социальной функции сменяющихся поколений. И социалистическая борьба против права наследования — одно из самых характерных обнаружений индивидуалистической, атомистической основы социалистического мировоззрения. В противоположность этому, принцип соборного единства должен быть утверждаем не только в порядке сверхвременного совместного бытия сегодняшнего поколения, но и в единстве сменяющихся во времени поколений. Право наследования выражает собою не личную прихоть собственника, а принцип единства наследственного социального служения, который, разумеется, должен сочетаться с правом личности на свободный выбор своего индивидуального служения.

В остальном — необходимая мера в конкретном согласовании моментов свободы и единства в общем принципе свободного соборного служения не может быть установлена раз навсегда из общих начал, а должна определяться

конкретными нуждами хозяйственной и политической жизни и общественно-педагогическими соображениями, зависимыми от данного культурного состояния общества и отдельных его слоев. Было бы бессмысленным педантизмом ставить в зависимость от жестких общих принципов меру государственного покровительства или свободу промышленности, меру социальной охраны трудящихся или их свободной инициативы в выборе условий труда, меру ограничения отчуждаемости земельной собственности для отдельных слоев собственников и свободы купли-продажи недвижимости. Здесь, как и всюду, общие принципы должны быть достаточно широкими и гибкими, чтобы дать простор непосредственной практической интуиции, учету индивидуально-неповторимых моментов живой действительности.

С. Франк

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОМ И ЧАСТНОМЪ НАЧАЛЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

(Россия XVIII — XX веков).

I

История русской промышленности за последние два с лишним века знает несколько поворотов от государственного хозяйствования к хозяйствованию частному и обратно.*) Знает она и моменты сосуществования соразмерных друг другу государственного и частного предпринимательств. В качестве примера возьмем, прежде всего, уральскую горную промышленность, в течение долгого времени игравшую необычайно значительную роль в истории русской промышленности**). К концу первого периода промышленного «включения» Урала, периода, ознаменовавшегося постройкой заводов, по преимуществу, на среднем Урале (первая треть XVIII в.), здесь насчитывалось (1734 г.) одиннадцать казенных заводов и семнадцать частных из них тринадцать принадлежало роду знаменитых горных заводчиков Демидовых***). Это были, главным образом, железоделательные и меденлавильные заводы. В названных отраслях, в этот момент, положение, как видим, отвечало формуле соразмерных друг другу государственного и частного предпринимательств. В том же 1734 г.

*) Более ранний термин «казенное хозяйствование» мы отождествляем с современным понятием «государственного хозяйствования». Это отнюдь не означает, что социальный смысл прежнего «казенного» и нынешнего «государственного» хозяйствования — один и тот же. Организационно же — это идентичные явления, оба они охватываются понятием «этатизма».

**) Очерк не претендует на исчерпывающий характер. Также и в дальнейшем будем, по преимуществу, останавливаться на примерах из истории горной и горнозаводской промышленности.

***) Четырнадцатый завод Демидовых (Колывано-Воскресенский) находился на Алтае.

начальником Башкирского края, охватывавшего ю ж н ы й Урал, был назначен крупный государственный челов[illegible] эпохи, обер-секретарь И. К. Кириллов, одной из целей которого являлось насаждение в Башкирии горной промышленности. Кириллов был сторонником государственного предпринимательства. И хотя его управление краем длилось только три года и сопровождалось восстанием башкир, он успел начать постройкой казенный «медный завод при крепости Табынске, на р. Белой, где уже находились соляные варницы.»*) Крупнейший из преемников Кириллова — Неплюев «совершенно другими глазами смотрел на горнозаводскую часть: по его мнению, успех этого дела только тогда мог быть прочен и благодетелен для края и всего государства, когда устройство заводов предоставлено будет предприимчивости частных лиц, а не казны». На эту точку зрения стал и тогдашний Сенат (указ от 13 окт. 1753 г.). На основе ч а с т н о г о предпринимательства произошло промышленное «включение» Башкирии, в течение, главным образом, 1750-х годов **). Это время было периодом упора на частное хозяйствование. В 1750-х годах, главным образом, в 1754 и 1755 гг. также значительные группы к а з е н н ы х заводов с р е д н е г о Урала были отданы частным лицам (П. И. Шувалову, И. Г. Чернышеву, М. И. Воронцову, А. Ф. Турчанинову, С. П. Ягужинскому и др.***)

*) В 1747 г., после открытия на Алтае богатых серебро-свинцовых руд, были «отобраны в казну» алтайские заводы Демидовых: Колыванско-Воскресенский (основанный в 1723 г.) и Барнаульский (осн. в 1739 г.).

**) В период времени с 1753 по 1763 г. на Урале было выстроено 68 заводов. Такую же роль, какую в промышленном «включении» среднего Урала и в начатках горнозаводского дела на Алтае играли (начиная с 1702 г.) Демидовы, — в промышленном «включении» Башкирии с'играл Т в е р д ы ш е в. «Нашелся и человек, сумевший своей деятельностью, знанием дела и честностью вполне оправдать мнение Неплюева. Это был сибирский купец Твердышев, занимавшийся поставкой провианта в Оренбург. Он просил, что бы ему разрешено было возобновить на свой счет начатый при Кириллове завод в Табынске, обязуясь заплатить казне истраченные на его устройство деньги. По ходатайству Неплюева завод в 1744 г. был сдан Твердышеву»..(В следующие десятилетия Твердышев (вместе с компаньоном своим, Мясниковым) основал не менее десяти заводов, (из которых около трети — медеплавильных, а остальные — «железные»; все на южном Урале).

***) Тогда же немаловажная, по тем временам, группа Л и п е ц к и х железных заводов (Воронежской, позднейшей Тамбовской губ.) «именным указом Императрицы Елизаветы Петровны» (1675 г.) была «пожалована кн. П. И. Репнину», «от которого оные (заводы) возвратно в казну проданы в 1769 г». Не беремся определить, в

Однако, уже через несколько лет некоторые из упомянутых заводов стали возвращаться в казну (1760-е, 1770-е, 1780-е годы*)). В частности еще в 1760-х годах (вскоре по вступлении на престол Екатерины II): были «взяты в казну» основанные Шуваловым Воткинский и Ижевский заводы (на р. Каме), а также переданные перед тем И. И. Шувалову заводы Горо-благодатского горного округа (окрестности знаменитой железорудными месторождениями горы Благодать); эти группы заводов с 1760-х годов и по настоящее время непрерывно оставались в владении казны; в то же время казною был куплен у гр. Сиверса, основанный в 1755 гг. Вознесенский медный завод (расположенный между Оренбургом и Уфою, на р. Белой). По сведениям, относящимся к началу 1770-х годов (Географический Лексикон Российского Государства, собранный ... Федором Полуниным. Москва 1773 г.) по всей Российской Империи числилось т р и д ц а т ь т р и казенных горных завода, из которых ч е т ы р н а д ц а т ь — «железных», с е м ь — комбинированных: «железных и медных», т р и — «медных», ч е т ы р е — «серебреных» и ч е т ы р е — «золотовымывальных» и «золотоплавильных». В рамках тогдашней не только русской, но и «м и р о в о й» горной промышленности эти тридцать три горных завода составляли значительную группу, отмеченную при этом своей принадлежностью казне... В 1780 г., одновременно с основанием города Перми, был «взят в казну» находившийся неподалеку Мотовилихинский медеплавильный завод, построенный казною в 1736-38 гг. и отданный в 1757 г. гр. М. И. Воронцову. Завод этот играл заметную роль в русском медеплавильном производстве конца XVIII — начала XIX в. По истощении руд, на том же месте был основан в 1863 г. Пермский казенный пушечный завод. Этот последний к началу XX в. являлся хорошо оборудованным и значительным предприятием.

Около того же времени (конец XVIII в.) были куплены в казну располо-

к а к о й м е р е раздача казенных заводов в частные руки в 1750-х годах должна быть определена, дать явление «фаворитизма» (раздачи казенного имущества фаворитам) и в какой — она восходит к теоретически-практическим соображениям о преимуществах частного хозяйствования. Во всяком случае за нею стояли также и общие соображения (см. выше о взглядах Неплюева).

*) Раздача казенных заводов в частные руки в 1750-х годах не всегда определялась их «бездоходностью». Так относительно Сысертского железного завода (в окрестностях Екатеринбурга) говорится: «был казенный, и один из прибыльнейших казенных заводов, но....» в 1755 г. отдан титулярному советнику Турчанинову.

женные на восточном склоне Урала «походящинские заводы» (названные так по имени основателя—верхотурского купца Максима Мих. Походящина). Эти заводы (в их числе — Богословский) являются наиболее выдвинутым на северо-восток аванпостом уральской промышленности.*) В 1811 г. от предпринимателя Кнауфа поступили в казну заводы Златоустовского горного округа.

Петр I делал попытки насадить горную промышленность также и в Олонецком крае. После него это дело заглохло. В 1763 г. на территории Петровского завода «французской компанией был выстроен... частный завод, на котором выделывались железо, подносы, посуда, самовары и пр». В 1774 г. здесь был основан к а з е н н ы й Александровский пушечно-снарядный завод. В общем соотношение государственного и частного начала в горной и горнозаводской (железоделательной медеплавильной) промышленности России второй половины XVIII в. можно изобразить в следующей таблице

	Уральск. край	*Воронеж. край*	*Олонецк. край*
I. Период упора на частное хозяйствование	Передача казен. заводов в частные руки;	Передача Липецких заводов П. И. Репнину (1755).	Появление французского частного завода (1763).
II. Период расширения казенного хозяйствования.	Частичное возвращение заводов в собственность казны	Обратная покупка казною Липецких заводов (1769)	Основание казенного Александровского завода (1774)*.

Алтайская промышленность, за исключением золотопромышленности последних предреволюционных десятилетий, была всецело к а з е н н о й. Центр тяжести этой промышленности лежал в добывании с е р е б р а. В 1750-х годах здесь выплавлялось ежегодно 300 пуд. серебра, что составляло около 1 % тогдашней мировой добычи; к 1770-м годам выплавка поднялась до 1100 пуд. или 3,3% мировой добычи; в 1800-х годах добыча держалась на том же уровне; тем самым, на долю Алтая приходилось около 2% мировой продукции серебра. В 1850-х г.г. добывалось все та же тысяча пуд. в год, что делало все те же 2% мировой добычи; и только к 1870-м годам доля алтайскаго производства серебра, упавшего до 560 пуд., снизилась до 0,5% мировой продукции... Наряду с сереброплавильным, были поставлены (с 1770-х годов) свинцеплавильные и железоделательные производства (для обслуживания нужд самих заводов и населения Сибири). Замечательна т е х н и ч е с к а я культура, получившая развитие на этих казенных заводах. Томский железоделательный завод впервые в России стал употреблять для промышленных целей каменный уголь (близлежащего — по новейшим данным, богатейшего в России — Кузнецкого каменноугольного бассейна). Следует отметить усовершенствования механика Фролова. «Им впервые, напр., были применены водяные колеса для выкачивания воды из рудников, а еще ранее механиком Ползуновым была изобретена первая, действующая паром, машина для воздухонадувных печей, но за последовавшей вскоре смертью этого предтечи Уайта самая машина и принцип ее устройства были забыты». Именно в этой, к а з е н н о й, а л т а й с к о й промышленности были, видимо, некоторые ростки промышленно-технической кон'юнктуры, подобные тем, которые, в конце XVIII — начале XIX века определили так наз. «промышленную революцию» в Англии, а вслед за нею

*) Для местностей северо-восточного Урала, расположенных около 59°-60° сев. шир. деятельность М.М. Походящина (три принадлежавших ему завода были основаны между 1757 и 1769 гг.) имела такое же значение, как деятельность Демидовых — для среднего, и деятельность Твердышева — для южного Урала. Только здесь казенное предпринимательство не предшествовало, но п о с л е д о в а л о частному. Однако и при основании заводов М. М. Походящин не обошелся без энергичного «содействия» казны. В. Полунин (op. cit.) пишет: «к... его же Походящина заводам приписано для работы из Чердынского (на з а п а д н о м склоне. ПНС.) уезда 4362 души крестьян, от чего хотя оным крестьянам великое есть утруждение, но в тамошних пустых странах есть ли не вовсе горную работу оставить, без сей помощи обойтися невозможно... покинуть не льзя же, потому что тамошняя руда... содержит золото, от чего казне впредь большая прибыль произрасти может». Это высказывание очень характерно для духа эпохи. Значительные золотые россыпи были открыты около Богословского завода только в 30-х годах XIX века, что на некоторый период оживило деятельность б. «походящинских» заводов (находившихся уже в собственности казны). Ф. Полунин предусмотрел это явление за 60-70 лет.

*) По сравнению с Уралом и Воронежским краем, рассматриваемые явления в О л о н е ц к о м к р а е наступали с некоторым о п о з д а н и е м. К сожалению, мы лишены возможности статистически «взвесить» (выразить в числовой прикидке) экономическую значительность р а с ш и р е н и я казенного хозяйствования в 1760-х—1770-х—1780-х годах. Наше наблюдение сводится к следующему: для периода 1750-х годов многочисленны указания о «взятии» заводов в казну и покупке заводов казною и н е т сведений об обратной раздаче заводов в частные руки.

и в других странах.*) На Алтае ростки эти не получили развития, т. к. здешняя промышленность была сосредоточена на добывании драгоценного металла, а для более громоздких продуктов (железа и угля) не было рынка: окружающая местность была пустынна. Позднейший упадок алтайской промышленности не устраняет того факта, что для своего времени (конец XVIII — начало XIX в.) казенная промышленность эта технически была передовою.**) Замечательны широкие мероприятия по изысканию руд, которые велись заводо-управлениями от середины XVIII по середину XIX века. Именно рабочие и мастеровые казенных алтайских заводов принесли русскую государственную власть в дикую, но во многих отношениях богатую дарами природы долину Бухтармы (южный Алтай). Они шли сюда по приказу горного начальства — искать руду и строить заводы. Здесь находятся: Зыряновский серебряный рудник, открытый в 1791 г. работником Герасимом Зыряновым, Снегиревский медный — открытый в 1792 г. Снегиревым и т. д. Подобно этому, на западной окраине Алтая, на границе горного массива в сторону Кулундинской степи, открывали медные и серебряные рудники демидовские рабочие (Змеиногорский рудник и др.): к тому времени русское горнозаводское дело не проникало еще в глубину южного Алтая (долина Бухтармы) и алтайские горные заводы еще не были «взяты в казну». В масштабах своей эпохи алтайская казенная промышленность XVIII-XIX вв., может, вероятно, равняться с чрезвычайно значительным (в любых), в том числе «мировых» (масштабах) «чудским» рудоплавильным делом.***) Не всегда известные нам даже по имени «чудские» народы Алтая, Урала и Киргизской горной страны были, повидимому, поставщиками металлов для кочевых империй Евразии. Особенно богата следами их деятельности именно Алтайская горная страна.****)

*) Эта революция выражалась, между прочим, в изобретении и распространении паровой машины, а также в применении каменного угля к промышленным целям.

**) Ежегодная прибыль казны от алтасских заводов уже в 1770-х годах превышала миллион руб., что по тому времени являлось значительной суммой.

***) На Урале и в Сибири обычное словоупотребление приписывает «чуди» все памятники человеческой культуры, происхождение которых неизвестно. Эту «чудь» отнюдь нельзя смешивать с чудью, упоминаемой в древне-русской летописи (финским народом северо-западной России).

****) Немало следов этой деятельности на Урале, а также в Киргизской горной стране.

Есть указания, что чудские народы, как ни как, лучше знали рудные богатства Алтая, чем знают их современные рудоискатели. На Алтае почти нет рудников, открытых не по «чудским» шурфам.*) Но отнюдь нельзя ручаться, что нет «чудских» рудников, все еще неизвестных современным рудоискателям...**)

До последних десятилетий XIX в. также алтайская золотопромышленность была в значительной степени государственной. Так в 1859 г. на казенных рудниках и приисках Алтая было добыто 13 пуд. золота — против 32 пуд., добытых на частных приисках.

Что касается золотопромышленности Урала, то здесь можно заметить следующее.

До 1812 г. добывание золота являлось монополией казны; разработка частных приисков началась с 1819 г. Параллельно усилилась золотодобывающая деятельность казны; с 1830 по 1845 г. казной добывалось ежегодно в Уральском районе, в среднем, по 139 пуд. золота; прииски же, работавшие за счет частных лиц, давали ежегодно по 164 пуда. Уральская государственная золотопромышленность была в этот период «соразмерна» частной. Обе вместе давали, по масштабам 1830-х годов, около 25% мировой продукции золота. Эту долю в мировой добыче нельзя не признать *значительной*...

Приблизительно одновременно с передачей казенных заводов в частные руки, происходившей в 1750-х годах (см. выше), — во вновь осваиваемом Оренбургском крае было обследовано Илецкое месторождение каменной соли. Месторождение это было взято в казенное управление. Оно оставалось в ведении казны более века (1754-1868 гг.). В некоторые моменты — Илецкое месторождение служило основой широкого государственного предпринимательства. Так, возникновение г. Стерлитамака (ныне столицы Башкирской республики) связывается с развитием соляного промысла при Илецкой защите. В 1766 г. (т. е. почти одновременно со «взятием в казну» целого ряда

*) Упомянутый выше Зыряновский, Снегиревский и Змеиногорский рудники открыты по «чудским» выработкам. На снегиревском руднике «чудские» копи, особенно обширны: здесь почти целая гора прорыта с северной части до южной, причем один из ходов необыкновенно длинен». В качестве редкого примера рудника, в котором «чудский» рудоискатель не предшествовал современному, можно назвать Мурашковский рудник, в бассейне р. Бухтармы открытый штейгером Мурашковым в 1863 г.

**) То же относится к рудным залежам Киргизской горной страны.

заводов П. Н. С.) коллежский советник Тетюшинов (бывший сибирский купец), представил правительству проэкт о доставке илецкой соли в Нижний Новгород, а оттуда и в столицы. Проэкт был найден удовлетворительным и осуществление его было предоставлено самому Тетюшинову. Он выбрал место при слияния речек Стерли и Ашкадара в нескольких верстах от р. Белой и устроил здесь пристань. Сюда начали доставлять соль на подводах, а потом грузили на барки и славляли на р. Белую, а этой рекой на Каму и далее на Волгу...*)

Также и разработка самосадочного озера Эльтона (в сев. части быв. Астраханской губ.) связана с историей государственного предпринимательства. Основание Николаевской слободы на Волге «относится к концу XVIII в., когда здесь поселены были малороссы для вывоза соли з озера Эльтона. В Николаевской слободе была соляная контора и склад эльтонской соли...**) Поселенцы слободы «Красный Яр» (Камышинского уезда) «были выкуплены казной (у Нарышкина)... когда в начале XIX в. потребовались возчики для перевоза соли с озера Эльтона в Николаевскую слободу...» Красноярцы освобождены были на 12 лет «от податей и рекрутской повинности, за что обязаны были... возить соль».

В XVIII в. также и солеварни г. Бахмута (позднейшей Екатеринославской губ.) состояли в ведении сначала казны, а потом уделов (закрылись в 1782 г.).

Сложной (в смысле сочетания государственного и частного хозяйствования) историей отмечено соледобывание в г. Славянске (Харьковской губ.) Уже в XVII в. здесь существовал «государев соляной завод» (сохранилось его описание, относящееся к 1665 г.). «Впоследствии стали отдавать варку соли на откуп частным лицам... В 1710 г. соляные варницы были обращены в собственность казны... в 1732 г. добывание соли было отдано откупу». В довоенные десятилетия в Славянске действовали частные солеварни.

Казна была пионером металлургической промышленности на юге. Здесь нужно, в особенности, отметить работу Луганско-

*) Главный склад соли, привозимый с Эльтонского озера, был устроен в половине XVIII в. в г. Дмитриевске, позднейшим Камышине.

**) В 1773 г. Илецкая защита была занята Пугачевым. «Заготовленная соль была разграблена... Пугачев остался весьма недоволен этим грабежом, считая его разорением казны».

го завода. Завод это был основан в 1796 г., к нему были приписаны переселенные с Урала и из Липецка рабочие... Деятельность его пошла успешно и особого расцвета достигла в 1820-30 годах.*)

2

Государственные предприятия, создававшиеся и удерживавшиеся в течение XVIII и первой половины XIX в. — в значительном числе нашли свой конец в 1860-х и 70-х годах. Это время было периодом наибольшего, в новейшей истории России, торжества промышленного либерализма. Несмотря на прогресс в одних отраслях и возрастание абсолютных цыфр продукции и в некоторых других, этот период был эпохой наибольшей за последние века относительной промышленной отсталости России.**) (даже для уральских железных дорог рельсы в этот период привозились «из за границы»). Самый культ «за-границы», как чего то недосягаемо высшего, получил в экономической области свое окончательное оформление и популяризацию именно в эту эпоху (для этой эпохи — по многим промышленным отраслям — вполне обоснованно). В обывательских представлениях и в ходячих шаблонах экономической литературы «заграничепоклонство» в полной силе наблюдалось и позже, когда реальное соотношение явлений снова стало иным (промышленный подъем России конца XIX в. начала XX века). В эпоху большой и строгого стиля русской государственности XVIII-го века и первой половины XIX в. «заграницепоклонство» в экономической области сказывалось слабее (об этом ярко свидетельствует различие общего тона экономической литературы одного и другого периода.) В 1860-х — 70-х годах выявился давно подготовлявшийся уклад идей и навыков русского государственного хозяйствования. В этом отношении поучительна история Лисичанского (Екатеринославской губ., недалеко от Луганска) казенного металлургического завода. Лисичанский завод был построен в 1866-1870 г.г. все с той же целью — насадить металлургическое производство на юге, ви

*) Прекрасный образец изделий этого завода (1843 г.) имеется в Константинополе, в виде художественно выполненных чугунных ворот Российского Посольства.

**) Оставляем в стороне период коммунистического хозяйства (начиная с 1918-го года).

«не оправдал возлагавшихся на него надежд... уголь оказался плохо коксующимся, а руда, вследствие ее отдаленности, слишком дорогой... Одно высокопоставленное лицо, получившее в подарок статуэтку, отлитую на Лисичанском заводе из своего чугуна, показывало ее всегда, как драгоценность, так как она представляла почти единственное изделие завода, стоившего правительству несколько сот тысяч рублей».

Началу русского государственного хозяйствования служили (в течение одного лишь XVIII в.) такие люди, как Клементий Матвеевич Чулков, организатор государственного Тульского оружейного завода (1711-1715 гг.) знаменитый «строгой своей исполнительностью;*). де Генин — устроитель казенных екатеринбургских и пермских заводов (1720-е годы) и главный начальник оружейного производства (1730-е годы);**) его предшественник, сотрудник и преемник по Уралу (в качестве начальника уральских и сибирских заводов) — Татищев (в литературе известный, как историк); ряд одаренных создателей и администраторов алтайских заводов; устроитель доставки илецкой соли Тетюшинов и др. К середине XIX в. принципы русского государственного хозяйствования, которому служили все эти люди, явно теряли в действенности и силе. В 1860-70 г. г. руководители казенных предприятий не проявляют способности овладеть новыми условиями дела (при отпадении крепостного труда). В некоторых случаях разрушение государственных предприятий происходит, повидимому, в силу идеи промышленного либерализма — без реальной к тому необходимости.***)

Как бы то ни было, в 1860-х годах потеряла значение эльтонская соляная контора, и добыча самосадочной соли в низовьях Волги перешла, по преиму-

*) По его имени, одна из Тульских пригородных слобод, обитаемая ружейными мастерами, доныне носит название Чулковской.

**) В то же время — друг и советник одного из величайших промышленных гениев России, Акинфия Никитича Демидова, создателя значительной части уральской и алтайской промышленности.

***) Упадок казенного хозяйствования и отмена крепостного права связаны друг с другом сложной «связью явлений». Казенное хозяйствование пришло в упадок, потому что было отменено крепостное право. А крепостное право было отменено, потому что пережило себя в качестве организационного принципа. Несоответствие крепостного права условиям времени сказывалось ранее его отмены — между прочим, в начинаемся захудании казенного хозяйствования (при процветании и развитии ряда отраслей частной промышленности, пользовавшихся вольнонаемным трудом). — Повторяем, упадок казенного хозяйствования подготовлялся постепенно; и с отменой крепостного права связан двусторонней связью.

ществу, на озеро Баскунчак, где получила частно-хозяйственную организацию, на основе отдачи участков озера для разработки в аренду частным лицам. 1868-й год был последним годом казенной выработки соли в Илецком месторождении: «разработка соли производилась казной до 1868 г., когда оно было сдано в аренду частным лицам». В 1868 г. было добыто здесь 2,5 милл. пуд. соли, в 1869 г. — около миллиона; (добыча 1913 г. равнялась все тем же 2,5 мил. пуд., в 1920 г. было добыто 7507 пуд.).

Добыча золота казной на Урале с 1846 г. по 1858 г. стояла на одном уровне (по 130 пуд. в год); эта стабильность означала большой относительный упадок, при необычайно быстром за этот период росте мировой продукции (от 1200 пуд. ежегодно в 1830-х годах до 3300 пуд. в 1840-х годах и 12000 пуд. в 1850-х годах: десятикратное увеличение за двадцать лет.)*) С 1859 г. началось падение также и абсолютных цифр: добыча золота казной дошла до 13 пуд. в 1877 г. (за двадцать лет десятикратное уменьшение абсолютного размера добычи). Это был последний год золотодобывающей деятельности казны на Урале; с этого момента вся золотопромышленность Урала перешла в частные руки. Отрасль государственного предпринимательства, дававшая в 1830-х годах более 10% мировой продукции, закончила свое существование...

Такой же упадок, начиная с 1860-х годов, замечался и в казенной золотопромышленности Алтая. Добыча казенных рудников и приисков с 43 пуд. в 1859 г. спустилась до 10 пуд. в конце века...

Явление не только относительного, но и *абсолютного* упадка продукции наблюдалось и в алтайской казенной горной промышленности, в целом: как только истощились заготовленные в 1850-х годах громадные запасы заводских материалов, понизилась и самая выплавка металлов (с 1869 г.). «Томский завод должен был закрыться еще в 1864 г., и железоделательное производство, несмотря на увеличивавшийся спрос на железные изделия, сосредоточилось на одном Гурьевском заводе».

«Ликвидаторство» сказалось и в казенных горных заводах Урала. В 1867 г. Ижевский казенный оружейный и сталеделательный завод был отдан в аренду в частные руки.**) С 1860-х годов, за долги казне, частные заводы

*) Это увеличение было связано с открытием в конце 1840-х годов богатых золотых россыпей в Калифорнии и Австралии и с поступившей там «золотой горячкой».

**) Также и в «ликвидаторский» период 1750-х годов заводы не только «жаловались» частным лицам, но и отдавались в аренду. Так,

не поступали в казенное управление, как то делалось раньше, — но из одних частных рук продавались в другие (ряд примеров в уральской промышленности). В 1875 г. б. походящинские заводы (Богословского горного округа), «по бездоходности», были проданы казной в частные руки. Купила их казна в конце XVIII в. за 2.500 тыс. руб., а продала за 2.050 тыс.*)

Со временем государственно-хозяйственный «стиль» эпохи стал снова понемногу крепнуть. Ижевский завод в 1884 г. снова поступил из арендного в казенное управление. Около того же времени был полностью переоборудован стоявший накануне закрытия казенный Александровский завод в Петрозаводске. На месте закрывшагося Луганского металлургического завода в 1895 г. был построен казенный патронный завод. Когда в 1902 г. был признан несостоятельным владелец Холуницкого (Вятской губ.) железоделательного и литейного завода, конкурсное управление В ы с о ч а й ш и м п о в е л е н и е м было о б я з а н о продолжать работы...

Таких примеров можно было бы набрать немало. Затрагивая во всех частях очерка только небольшую часть возможного материала, мы и здесь ограничимся сказанным. Отметим только, что ослабление, а затем снова «крепчание» хозяйственного стиля русской государственности сказалось также в истории таможенных тарифов и железнодорожной политики. Отно-

---

с отдачей в аренду Ижевского завода в 1867 г. можно сопоставить отдачу в 1758 г. в аренду гр. Ягужинскому построенного незадолго перед тем казной Утканского чугуноплавильного и железоделательного завода (на р. Чусовой).

*) Государственно-хозяйственный «стиль» эпохи (60-х и 70-х годов) можно обрисовать еще двумя характерными «продажами»:

В эти времена один из морских министров продал в частные руки территорию старого петербургского адмиралтейства — а именно, участок по Неве, протянувшийся между двумя выходящими к реке флигелями Захаровского (по имени зодчего) адмиралтейства. Этот участок был застроен зданиями отвратительного «стилесмесительного» пошиба и закрыл вид с реки на произведение Захарова, с его башней и знаменитой «игрою». Тогда же были проданы «на алебастр» многие скульптуры, украшавшие здание, одни из лучших созданий русского ваяния;

В 1867 г. была продана (и притом за бесценок) С. А. Соединенным Штатам русская Америка (Аляска), приобретенная для России усилиями целого ряда одаренных предпринимателей (руководителей Российско-Американской Компании конца XVIII в. и начала XIX в.). Умение у с т у п а т ь т е р р и т о р и ю — в некоторых случаях служит отличием власти большого размаха, но э т а «продажа», нужно думать, являлась знаком сущностного (онтологического) повреждения государственного «стиля» и чутья.

сительно «либеральные» таможенные тарифы, действовавшие в 1860-х и 70-х годах, — с конца 70-х годов стали сменяться тарифами «покровительственными». Предоставление в железнодорожном деле, почти неограниченного простора частной инициативе — стало сменяться государственным регулированием и широким развитием также и государственного железнодорожного строительства. (С. Ю. Витте)...

Нужно заметить, что не все отрасли и предприятия «дореформенного» государственного промышленного хозяйствования сошли на нет в 1860-х 70-х годах. Предыдущий очерк сосредотачивался преимущественно на горнодобывающей и горнозаводской промышленности, но и ее охватывал далеко не всецело. Из других (нередко — весьма разнородных) областей казенного хозяйствования, носящих промышленный характер, можно назвать некоторые специальные отрасли: как известно пионером и видным представителем весьма тонкой в техническом и художественном отношении ф а р ф о р о в о й и н д у с т р и и являлся И м п е р а т о р с к и й фарфоровый завод, работавший непрерывно от середины XVIII в. до времен революции.*) Он существовал не на коммерческих основаниях, и обслуживал, по преимуществу, нужды Императорского двора. На таких же или подобных основаниях существовали: Петергофская гранильная фабрика (с 1775 г.), а также Екатеринбургская (с 1765 г.) и Колыванская (с конца XVIII в. — на Алтае) гранильные фабрики. Нужно отметить к у л ь т у р у ц е н н о г о к а м н я, созданную Императорской Россией. Каждому из трех средоточий ценных каменных пород России: «беломорско-балтийскому кристаллическому щиту» (Финляндия и Прионежье), Уральскому хребту и Алтаю отвечает одно из названных И м п е р а т о р с к и х шлифовальных заведений.**) Напомним о русском г о с у д а р с т в е н н о м к о р а б л е с т р о е н и и каспийском, сосредотачивавшемся сначала в Казани (1718-1826)***), затем в Астрахани (1826-1867), донском (постройка азовского и черноморского флотов), которое велось: с 1695 г. — в Воронеже, с 1700 г. — в Таврове (около слияния Воронежа с Доном), а с 1768 г. — у места впадения р. Осереда в Дон (г. Павловск); донское кораблестроение производилось особенно энер-

---

*) В виде Г о с у д а р с т в е н н о г о фарфорового завода предприятие это сохранилось и в революционных потрясениях.

**) В настоящее время делает попытку поддержать эту культуру пропагандою русских «самоцветов» один из замечательных русских геохимиков А. Е. Ферсман.

***) Всего за это время было построено 242 судна.

гично при Петре 1-ом, затем во время войны с Турцией в 1730-х и 1740-х годах и в последний раз — в 1760-х и 1770-х годах, во время первой турецкой войны при Екатерине II. Наконец, назовем днепровское казенное кораблестроение, начатое в 1778 г. в Херсоне.*) Непрерывный ряд казенных предприятий и верфей соединяет начатки казенного кораблестроения в Николаеве (основан для нужд адмиралтейства на Бугском лимане в 1788 г.) со здешними казенными кораблестроительными предприятиями — левиафанами начала XX века... Такой же ряд ведет от верфи, заложенной Петром I в СПБ., с которой в 1704 г. была спущена на воду первая бригантина, к грандиозному С.-Петербургскому судостроительному и механическому заводу морского министерства начала XX века...

Положение казенной промышленности Петербурга в этот последний период, описывалось в нижеследующих словах: (1900 г.):

«Производительность... обрабатывающих металл казенных заводов... достигает весьма солидной цифры. Так, Александровский сталеделательный завод вырабатывает, вместе с сортовой и листовой сталью, различных стальных изделий на сумму около 4 милл. руб. Адмиралтейские Ижорские заводы в Колпине... принадлежащие Морскому ведомству, славятся особенно производством цепей (в год до 30 тыс. пудов)... Обуховский сталелитейный завод главной специальностью своей имеет предметы военного вооружения и для частной потребности работает немного. Казенные заказы для удовлетворения нужд Военного и Морского ведомства в хирургических инструментах исполняет Инструментальный завод военно-врачебных заготовлений (в Петербурге). Казенный завод в Кронштадте изготовляет проволочные канаты и кабели

*) Перенос южного кораблестроения с Дона на Днепр, происшедший в течение 1770-х годов, знаменовал собою крупный поворот в русском кораблестроении вообще и даже в истории России. Не говоря уже о стратегических удобствах расположений новых верфей, нужно отметить, что в условиях тогдашней деревянной техники, донскому кораблестроению ставила предел незначительность лесных рессурсов в бассейне Дона: здесь имеются только: бор на песчаных надлуговых террасах и степные дубравы — потому то и приходилось исключительным образом беречь здешние «корабельные рощи». Кораблестроение же низовьев Днепра опиралось, несмотря на существование порогов, (они не составляют преграды для сплава), на рессурсы обширной лесной области верхнего Днепра и его верхних потоков (Полесье). К этому присоединяется сплав по южному Бугу — в соседний Бугский лиман, из лесо-степных районов его верхнего и среднего течения.

для потребностей Морского Министерства. Наконец, Сестрорецкий оружейный завод, основанный еще Петром... в 1721 г., приготовляет в год около 70 тыс. винтовок». (В. В. Морачевский).

В это же время в Олонецком крае выплавка чугуна производилась почти исключительно на казенных заводах, приписанных к Александровскому пушечно-снарядному заводу в Петрозаводске (см. выше). Также в предреволюционные десятилетия существовали значительные металлургические и металлообрабатывающие казенные заводы в Приуралье (Гороблагодатский округ, Пермский, Златоустовский, Воткинский, Ижевский заводы). Заводы эти частично работали на нужды вольного рынка. Крупным предприятием являлся Казанский пороховой завод (основанный в 1787 г.)*) По размерам, стоял на уровне этого века и Тульский оружейный завод; и т. д. и т. п.**)

Как видим, в большинстве случаев государственные заводы предреволюционного времени так или иначе были связаны с вопросами военного снабжения. В этой области они несомненно сослужили свою службу. Это видно хотя бы из нижеследующей таблицы заготовительных цен на предметы военного снаряжения на частных и казенных заводах в 1916 г. (Э. К. Гермониус. Война и промышленность, Нильзен, 1925):***)

	Средние цены	
Наименование изделий	*Частн. зав.*	*Казен. зав.*
3" шрапнель	15 р. 32 к.	9 р. 83 к.
3" граната	12 р. 13 к.	9 р.
48"' бомба	45 р. 58 к.	30 р.
42"' шрапнель	35 р.	15 р.
6" гаубичная бомба	70 р.	48 р.
6" » шрапнель	60 р.	36 р.

*) Его переоборудование на основах современного механического производства относится к 1888 г. Порох с этого завода шел также для нужд частного рынка.

**) Было бы интересно проследить историю казенного строительства (строительного дела). Временами оно приобретало весьма широкие размеры. «Ликвидаторство» 1860-х годов сказалось также и на нем.

***) «При сличении цен надо принять во внимание, что казенные заводы не облагаются налогами, и что в счет стоимости изделий казенных заводов следовало бы добавить содержание части Главного Артиллерийского Управления, ведающей казенными заводами, что составит небольшую долю процента».

Наименование изделий	Средние цены: Частн. зав	Казен. зав.
6" пушечная бомба	70 р.	42 р.
Взрыватель 3 Г. Т.	10 р. 55 к.	8 р. 42 к.
» 4. Г. Т.	12 р. 50 к.	11 р. 11 к.
Дистанционная трубка, 22-х секунд.	7 р.	5 р. 50 к.
Капсюльная втулка	1 р.	45 к.
Бездымный порох	100 р.	72 р.

Следуя данным Э. К. Гермониуса и А. А. Маниковского («Боевое снабжение», 1923), приведем некоторые сведения о роли казенных заводов в снабжении русской армии во время войны 1914-17 годов:

«Винтовки до войны и во время войны изготовлялись только нашими казенными заводами; их было у нас три: Тульский, Ижевский и Сестрорецкий. Эти три завода были расчитаны на максимальную производительность в 525.000 винтовок в год. Непосредственно перед войной производительность всех трех заводов была использована так: в 1911 году 36.967 винтовок, в 1912 году 47.157 и в 1913 году 65.044 винтовки. Несмотря на всю трудность быстрого поднятия производительности, заводы подняли свой выход к январю месяцу 1917 года до 133.000 винтовок в месяц, что превысило в два раза годовой выход 1913 года (65.044 винтовки). Иными словами, производительность увеличилась более, чем в 20 раз.

Чтобы оценить этот успех, необходимо иметь хотя бы элементарное представление о сложности этого производства. Во всяком случае, исполнявшие работы по нашим заказам заграничные заводы, располагая громадными средствами, все же отстали в своем производстве от наших казенных заводов. Завод Ремингтона, который должен был окончить свой заказ на 1.500.000 винтовок с ноября 1915 года по март 1917 года, фактически сдал к апрелю 1917 года лишь 131.443 винтовки, т. е. 9% всего заказа. Завод Вестингауза, который должен был начать поставку тоже с ноября 1915 года и окончить весь наряд (1.800.000 винтовок) в марте 1917 года, сдал к апрелю 1917 года лишь 226.255 винтовок, т. е. 12 % всего заказа.

Еще рельефнее выделилась блестящая работа наших техников на производстве пулеметов. Ко времени об'явления мобилизации в июле 1914 года в армии состояло всего 4.157 пулеметов. До мая 1915 года требования на пулеметы сверх запасов мирного времени были случайны и ничтожны, и

казенный Тульский завод, единственный в России завод, изготовлявший пулеметы, покрывал эти требования. Но в августе месяце 1915 года Ставкой было заявлено требование на 12.000 пулеметов сверх имевшихся, а затем, в сентябре того же года, норма снабжения армии была еще увеличена и доведена до 31.170 пулеметов, с обязательством выполнить заказ до середины января 1917 года. Производительность Тульского завода до войны была, в соответствии с прежними довоенными требованиями, 700 пулеметов в год, т. е. 58 в месяц. Фактически же Тульский завод изготовил:

в 1914 году	1.184	пулемета,
» 1915 »	4.251	»
» 1916 »	11.072	»
» 1917 »	11.420	»
Всего	27.927	пулеметов.

Для усиления производства пулеметов в России был приглашен из Америки большой знаток-специалист по пулеметному производству инженер Беккер. Ему было предоставлено ознакомиться с постановкой пулеметного дела на Тульском заводе. Вернувшись из Тулы в Петроград, Беккер официально заявил военному министру генералу Поливанову, что он поражен всем виденным, что ничего подобного он не ожидал увидеть в России, что и в Америке такой завод, как Тульский, считался бы исключительным и что ему «положительно нечему учить русских», а потому ему остается только вернуться в Америку...»

«...Построенный перед самой войной Самарский Трубочный завод был проэктирован на производство 5000 дистанционных трубок в сутки; во время самой войны он был расширен приблизительно вдвое, но производство увеличилось не вдвое, а вшестеро, и дошло до 30.000 трубок в сутки».

В исполнении военных заказов (кроме химических), наиболее сложные изделия, как то: винтовки, пулеметы, дистанционные трубки, выполнялись казенными заводами. «Эта группа» (казенных заводов, в их отличие от частных) — «наиболее сильная, ранее других развернула свои работы, несмотря на то, что непосредственно перед войной она имела ничтожные заказы. Эта же группа выделила значительное число инструкторов на русские частные и на заграничные заводы».

Именно казенные заводы явились в России проводниками методов «массового производства»*).

«Со времени начала войны метод массовой работы распространился на всю нашу металлообрабатывающую промышленность.. Начальник Главного Артиллерийского Управления генерал А. А. Маниковский имел целый ряд заявлений от правлений заводов с благодарностью за те толчки по пути технического прогресса, которые были даны выполнением военных заказов.

Характерно заявление начальника тяги Юго-Западных железных дорог инженера Нефедьева, который отметил большое воспитательное значение исполнения военных заказов на состав мастерских и поставил в прямую связь пройденную при этом «школу» с происшедшим резким улучшением в ремонте паровозов в названных мастерских, в которых до того времени не имели понятия о той точности работы, которая требовалась при производстве военных изделий».

Что касается химического снабжения, то «готовые продукты — пороха и взрывчатые вещества изготовлялись главным образом на казенных заводах — Охтенском, Казанском, Томиловском и Шлиссельбургском».

Связь с вопросами военного снабжения отнюдь не умаляет экономического значения только что рассмотренных явлений государственного хозяйствования. Область военного снабжения чрезвычайно широка. Также, напр., текстильная промышленность имеет прямое касательство к этой области, поскольку она поставляет, скажем, сукна для нужд военного ведомства. А при современном характере войны и при распространительном толковании, вся промышленность может быть отнесена к области военного снабжения...**) Существование в России в довоенное время значительной казенной промышленности являлось одним из признаков своеобразия России-Евразии, т. к. во многих других странах соответствующие потребности удовлетворялись частными, а не государственными заводами.*)

*) «Сущность массового производства состоит в изготовлении изделий строго стандартного типа, в разделении труда при фабрикации на ряд простейших операций, доступных для исполнения малоопытным рабочим, в постоянной проверке размеров изделий лекалами и шаблонами по мере их изготовления и в применении таких приспособлений для удерживания изделий и инструментов в работающих станках, которые автоматически способствуют точной работе и чрезвычайно упрощают и ускоряют правильную установку обрабатываемых изделий и инструментов в станках. Благодаря методу массовой работы изделия получаются дешевыми и точными по размерам, причем числа изделий, изготовляемых одним станком и одним рабочим, резко увеличиваются».

**) Ср., напр., в цитированной выше работе Э. К. Гермониуса очерк «промышленности Великобритании во время войны».

*) Так, напр., в Англии существовал до войны только один (хотя и оборудованный по всем отраслям военной промышленности) Вульвичский Арсенал — «назначение которого в мирное время было не столько снабжать армию, сколько регулировать цены на предметы вооружения».

В широкой исторической перспективе, явления об'емлющего промышленного государственного хозяйствования свойственны истории целого ряда стран (напр., — по части добычи драгоценных металлов). Однако, в истории какой-либо другой страны или континента нелегко найти такую совокупность фактов по государственному предпринимательству, какую являет промышленная история России-Евразии XVIII-XX веков.

В отраслях горнодобывающей и горнозаводской промышленности важными явлениями последних предреволюционных десятилетий были, между прочим, следующие:

1) развитие металлургической промышленности на юге,

2) развитие золотопромышленности в восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Следует подчеркнуть, что оба названные процесса, в смысле соотношения в них государственного и частного хозяйствования, существенно разнились от более ранних процессов развития русской металлургии и золотопромышленности (XVIII-ый и первая половина XIX века). Если более ранние процессы, как видно из предыдущего, представляли сочетание, в соразмерных друг другу масштабах государственного и частного начала, как бы знаменовали особую государственно-частную систему, то недавние процессы основывались исключительно на частно-хозяйственной предприимчивости, хотя при государственном «покровительстве» и «поощрении» (не принимавшем, однако, форм государственного хозяйствования). В этом смысле, названные выше относительно недавние процессы отличались, повторяем, по своему хозяйственному стилю, от исторического стиля развития этих отраслей русской промышленности. А происшедшая в 1918-м и последующих годах «национализация» этих отраслей представляет собою, в исторической перспективе, шаржировку (с явным «преувеличением» государственного начала) тех принципов, которые сказывались и в историческом развитии русской промышленности. В некотором смысле, коммунистическая «национализация»

воспроизводит в усиленном виде те «взятия в казну», многочисленные примеры которых приведены в предыдущем. Конечно, никогда не бывало такого огульного нарушения частно-хозяйственных интересов, (прямого о г р а б л е н и я собственников), какое произошло в период коммунистической революции. Однако, напр., и прежние горнозаводчики весьма опасались «взятия в казну» их заводов, которое бывало связано, напр,, с открытием там заводской территории золота. Тем менее «взятия в казну» сопровождались насилиями над личностью предпринимателей, насилиями, которые повсеместны в период коммунистической диктатуры (частичное и с т р е б л е н и е предпринимательских кадров). И все таки: рассматривая соотношение государственного и частного начала в русской промышленности, старое «казенное хозяйствованиие» можно и нужно сопоставлять с «режимом» «национализованной» промышленности. Старое казенное хозяйствование охватывало только определенные отрасли, «национализация» охватила более или менее всю крупную промышленность. Это различие, — количественное, а не качественное. Напомним, к тому же, что при Алексее Михайловиче был заведен государев «бархатный двор», и при Петре I существовала в Москве Казенная парусная, а в Казани казенная суконная фабрика.

Устойчивость «этатизма» (государственного хозяйствования) в условиях России-Евразии нельзя признать с л у ч а й н ы м я в л е н и е м. Страна эта, помещенная между нередко враждебными ей странами Европы и Азии, с сухопутной границей огромного протяжения, которую не легко защищать, принужденная бороться с большими трудностями экономического развития (суровая зима, огромные растояния) может жить и развиваться только при наличии сильной и жесткой власти, принудительно организующей страну в целях социальных, хозяйственных и военных. Государственное регулирование, контроль и выполнение государством хозяйственных функций, хотя и в различных формах, неизбежно выступает в течение русской истории: торговые операции первоначальных князей, государственное предпринимательство московского периода, такое же предпринимательство и об'емлющее регулирование хозяйственной жизни в Императорский период... явления эти теснейшим образом связаны с совокупностью русских условий и выражают собой необходимости русского месторазвития, т. е. русской социально-исторической среды, рассматриваемой неотрывно от условий занятой ею территории. Россия-Евразия, как сухопутный массив, представляет собою целостный материк, имею-

щий весьма немногие соприкосновения с берегами океана-моря и в общем отрезанный от него. Этим затрудняется конкуренция, господствующая в мире океанического хозяйства*) и выдвигается начало монополии, с неизбежностью приводящее с собой государственное вмешательство. К этому присоединяется связанное с условиями обстановки общее мощное развитие государственного центра (см. выше), увеличивающее значимость такого вмешательства.**)

3

Сила приведенных соображений увеличивается тем, что «государственное хозяйствование» приобрело в современности новый с о ц и а л ь н ы й с м ы с л, которого не имело старое «казенное хозяйствование». Государство выступает, как отстаиватель интересов рабочих и «государственное хозяйствование» есть система, которая должна обеспечивать эти интересы.

Никак не случайно то сопряжение государственно-политического и социального момента, которое у ж е произошло в России: государственная власть перешла в руки тех, которые п о и м е н и отстаивают интересы рабочих. Коммунисты не могут почитаться н а с т о я щ и м и отстаивателями этих интересов. Но самое сочетание не случайно и не-п р е х о д я щ е: с о ц и а л ь н ы й м о м е н т д е л а е т с я ф о р м у ю щ и м м о м е н т о м г о с у д а р с т в е н н о й в л а с т и.

В этих условиях может ли государство быть пассивным в экономической области? Может ли перейти на роль «ночного сторожа» и устроителя тех или иных прикладных задач? — Государство новой социальной эпохи может как угодно резко понимать и осознавать недостатки «бюрократизма, волокиты и бесхозяйственности», присущие казенному хозяйствованию; может отдавать себе отчет в том, что в борьбе с этими недостатками возможны только у л у ч ш е н и я и н е в о з м о ж н о полное их и с к о р е н е н и е. Все таки оно не оставит государственного хозяйствования и этой борьбы, т. е. в этом хозяйствовании и в этой борьбе оно видит свое п р и з в а н и е.

---

*) Напр., при перевозках по морю происходит конкуренция между судовладельцами, железнодорожная же кампания является естественной монополисткой.

**) «Евразийская Хроника», вып. IX.

Государство новой социальной эпохи должно в каждый момент представлять, чего может оно достигнуть в экономической области и что оно может дать рабочим, действуя своими средствами...

Тот режим, который удастся обеспечить на государственных предприятиях, становится как бы мерилом, которое прилагается социальным законодательством к частным предприятиям. Без об'емлющего всестороннего и непрерывного опыта государственной промышленности социальное законодательство лишается базы. Социальное законодательство должно быть гибким и приспособленным к условиям момента.

Но как достичь такой гибкости, не имея показаний об «условиях момента» в опыте самой же государственной промышленности?...

Дело идет не об изучении положения промышленности, не об определении себестоимости изделий... Подобные задачи разрешимы просто комиссией экспертов; для этого не требуется существования государственной промышленности. Дело идет об обеспечении государству инициативы в социально-экономической области, о вооружении государства в сфере социальной политики. Для этого необходима государственная промышленность...

Режим частного хозяйствования представляет собою режим «автоматизма»*), в котором «недочеты бюрократизма, волокиты, бесхозяйственности устранены автоматически (сами собой)». Устранить частное хозяйство — это значит — устранить наиболее созидательную стихию производственно-хозяйственной области (в непонимании этого обстоятельства заключается экономическое безумие коммунистов). Но и частное хозяйствование имеет свои недостатки. В нем только в отдельных случаях, а не в качестве общего порядка — достижима та социальная направленность и «отсутствие личной корысти», которые осуществимы в сносно поставленном казенном хозяйстве.**) Коммунисты и социалисты требуют: одного (государственного хозяйствования); либералы и консерваторы утверждают другое (частное хозяйство). Евразийцы берут и

*) Термин принадлежит П. П. Холмскому.

**) Это выражается и в том, что применительно к государственному хозяйствованию для соборного (общественного) сознания в большей степени установимо, на какие цели употреблены те «положительные ценностные разности», которые реализованы в процессе хозяйствования, чем это установимо относительно частного хозяйства.

одно и другое. Их система есть своеобразная государственно-частная система — несколько аналогичная той, которой, в ряде промышленных отраслей, придерживалась русская государственная власть в XVIII-ом и первой половине XIX века.*) Формула евразийцев есть формула соразмерных друг другу государственного и частного предпринимательств.

К вопросу можно подойти с другой стороны. Евразийцы признают частное хозяйствование за наиболее активного двигателя и наилучшего технического усовершителя хозяйственной сферы. Но они настаивают на том, что ради основных социальных целей современности, должно существовать постороннее частному хозяйствованию мерило его социальной добротности — и мерило это видят в соразмерном частному государственном предпринимательстве. По другим признакам, это отношение обратимо. Так, в смысле техническом и организационном, частное предпринимательство должно быть мерилом добротности и бичем, неустанно подстегивающим казенное хозяйствование... На этом основано взаимодействие между государственным и частным предпринимательством, благодаря которому сосуществование их — не есть аггрегат, но органическая система.**)

От существующего положения вперед — русский процесс идет в сторону усиления частно-хозяйственного начала. История русской промышленности знает неоднократные усиления и ослабления частно-хозяйственного начала. В этой принципиально новой обстановке, которая создана социальным духом современности, усиление частно-хозяйственного начала не может переродиться в «ликвидаторство», подобное, напр., тому, которое наблюдалось в 1860-х и 70 годах. Государственное хозяйствование должно оставаться обширным и многосторонним. Задача сводится к тому, чтобы и за-

*) В конце XIX-го — начале XX-го века, напр., железнодорожное дело являло туже государственно-частную систему.

**) В условиях социальной направленности государственной политики облегчается и стимулируется появление частных хозяев, отдающих свое внимание и силы вопросам социального устроения. Это соотношение подобно тому, которым, в чисто производственной области, появление Демидовых было стимулировано государственным предпринимательством Петра.

ряду с существующей и подлежащей развитию государственной промышленностию, создать никак не менее развитую и мощную промышленность частную.*)

Не случайно то обстоятельство, что периоды наибольшей, за последние века, относительной промышленной отсталости России приходятся на господство, с одной стороны промышленного «либерализма», с другой — коммунизма: на 60-70-е годы XIX в. и на время, начиная с 1918 г. Ни либерализм, ни коммунизм не отвечают природе России. Образ русской промышленности есть образ особый, государственно-частной системы промышленности.

Петр Н. Савицкий

---

*) В зависимости от обстоятельств, граница между государственной и частной промышленностью может быть подвижной и гибкой — однако же, при непременном условии обеспеченности существующей въ настоящее время и имеющей создаваться впредь промышленной собственности.

Каталог книг Евразийского Книгоиздательства.

ЕВРАЗИЙСКОЕ КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО основанное в 1923 г. — обслуживает евразийское движение.

Движение это целиком определено задачами и проблемами новой России а также осознанием современного кризиса европейской культуры. Ставя перед собой историософскую проблему России и Европы евразийство видит в России особый и культурный — евразийский мир, мир раскрывающейся православной культуры равно отличной от европейской и азиатских центральное и руководящее значение которой евразийство видит в будущей уже начавшейся исторической эпохе.

Исходя из факта — из той России которая выходит из революции евразийство выделяет и раскрывает те стороны русской современности которые обращены в будущее и развитию их хочет всемерно содействовать. Во имя новой России-Евразии новой русской культуры и мощи и новой руководящей идеологии евразийство ведет решительную борьбу и с коммунизмом и с дореволюционными идеалами реставраторов, сочетая в себе традиции подлинно исторического русского охранения с подвижностью и практичностью современного политического действия. Органические основы культуры и государственности, разложение Европы, евразийско-русский культурный мир, Церковь и государство, смысл русской революции, преодоление революции, будущее устройство России — вот основной круг интересов и проблем евразийства.

Цена.

ИСХОД К ВОСТОКУ. Предчувствия и Свершения. Утверждение Евразийцев (распродано).

НА ПУТЯХ. Утверждение Евразийцев. Книга Вторая. Содержание: П. Савицкий «Два Мира»; А. Карташев — «Реформа, реформация и исполнение Церкви»; П. Сувчинский — «Вечный Устой», «Знамение Былого» (О Лествице); «Типы творчества» (памяти Блока); Кн. Н. С. Трубецкой — «Религия Индии и Христианство»; Г. В. Флоровский — «О патриотизме праведном и греховном»; Кн. Н. С. Трубецкой «Русская Проблема»; П. М. Бицилли — «Восток и Запад в истории старого света»; П. Савицкий — «Степь и Оседлость». Изд. 1922 года. 356 стр. 1.25

	Долл.
ЕВРАЗИЙСКИЙ ВРЕМЕННИК. Книга Третья. Содержание: П. Савицкий — «Подданство идеи»; Кн. Н. С. Трубецкой — «У дверей (Реакция? Революция?)»; П. Сувчинский — «К преодолению революции»; Н. Арсеньев — «Живые Камни»; М. Шахматов — «Подвиг власти»; П. Сувчинский — «Инобытие русской религиозности»; Кн. Н. С. Трубецкой — «Вавилонская башня и смешение языков»; П. Савицкий — «Производительные силы России»; Я. Садовский — «Оппонентам евразийства». Изд. 1923 г. 174 стр.	0.70
ЕВРАЗИЙСКИЙ ВРЕМЕННИК. Книга Четвертая. Содержание: П. Савицкий — «Евразийство»; П. Сувчинский — «Идея и методы»; Кн. Н. Трубецкой — «Мы и другие»; Л. Карсавин — «Уроки отреченной веры»; В. Ильин — «Столб злобы богопротивной»; В. Сеземан — «Сократ и проблема самопознания»; М. Шахматов — «Государство правды»; В. Ильинъ — «К взаимоотношению права и нравственности»; Г. Вернадский — «Два подвига Св. Александра Невского»; Кн. Д. Святополк-Мирский — «О Московской литературе и протопопе Аввакуме»; Кн. Н. Трубецкой — «О туранском элементе в русской культуре»; Я. Садовский — «Из дневника Евразийца»; П. Савицкий — «Хозяин и Хозяйство». Изд. 1925 г. 445 стр.	1.25
Кн. Н. С. ТРУБЕЦКОЙ — ЕВРОПА И ЧЕЛОВѢЧЕСТВО. Изд. 1920 г. (Распродано).	
РОССИЯ И ЛАТИНСТВО. Сборник статей. Содержание: П. Савицкий — «Россия и Латинство»; П. Сувчинский — «Страсти и Опасность»; П. Бицилли — «Католичество и Римская Церковь»; Г. Вернадский — «Соединение Церквей в исторической действительности»; Кн. Н. С. Трубецкой — «Соблазны Единения»; А. Карташев — «Пути Единения»; Г. Флоровский — «Два Завета»; В. Ильин — «К проблеме литургики в Православии и Католицизме». Изд. 1923 г. 219 стр.	0.50
А. С. ХОМЯКОВ. — О Церкви. (С примечаниями и предисловием Л. П. Карсавина). Издание 1926 г. 89 стр.	0.45
С. Л. ФРАНК. Религия и Наука. Изд. 1925 года. 24 стр. (Нов. орфогр.)	0.25
П. Р. — Наследие Чингисхана. Взгляд на русскую историю не с Запада, а с Востока. 60 стр. (Новая орфогр.)	0.45
Л. П. КАРСАВИН. — О сомнении, науке и вере. Три беседы. Изд. 1925 г. 32 стр. (Нов. орфогр.)	0.25
С. Л. ФРАНК. — Основы Марксизма. Изд. 1926 г. 50 стр. (Нов. орфогр.)	0.25
КОМПЛЕКТОВАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ. 78 стр.	0.45
ЕВРАЗИЙСТВО. Опыт Систематического Изложения. Изд. 1926 г. 74 стр. (Нов. орфогр.)	0.30
ЕВРАЗИЙСКАЯ ХРОНИКА Выпуск VI. Издан. 1926 года. 50 стр.	0.25
П. САВИЦКИЙ. — Россия Особый Географический Мир. Изд. 1927 г. 68 стр. (Нов. орфогр.)	0.35
Н. Н. АЛЕКСЕЕВ. — «На пути к будущей России»	0.45
Кн. Н. С. ТРУБЕЦКОЙ — «К проблеме русского самопознания». (Сборник статей).	0.45

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Вступление	5
К познанию современности. П. П. Сувчинского	7
Феноменология революции. Л. П. Карсавина	28
Иран, Туран и Россия. В. П. Никитина	75
Россия и Европа в историческом прошлом. С. Пушкарева.	121
Монгольское иго в русской истории. Г. Вернадского	153
К Украинской проблеме. Кн. Н. С. Трубецкого	165
Основы политики. Л. П. Карсавина	185
Советский федерализмъ Н. Н. Алексеева	240
Собственность и социализм. С. Франка	262
К вопросу о государственном и частном начале промышленности. Петра П. Савицкого	285